

PG
3476.1
.N713
083
1997

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

НАУМ НИМ

ОСТАВЬ
НАДЕЖДУ
ИЛИ ДУШУ



НАУМ НИМ

ОСТАВЬ
НАДЕЖДУ
ИЛИ ДУШУ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Москва 1997

УДК 82/89
ББК-44
Н67

Художник А. Симанчук

ISBN 5-85275-147-2

© ТОО «Совершенно секретно», 1997 г.

Родился давно — в 1951-м. Писать всерьез начал достаточно поздно, ибо, к удовольствию читающей публики, долгое время усмирять это желание необходимо переписывать (перепечатывать, ксерить, фотографировать и тиражировать иным способом) уже написанные, но от публики захороненные произведения отечественной словесности. Здесь удалось в сравнительно короткий срок успеть многое. Читатели, в том числе и читатели-следователи, были и на самом деле довольны.

Собственные опусы (маленькие по объему и неопределенные по жанру) начали как-то случайно попадать на бумагу в начале 80-х. Где-то среди бумаг они и терялись. Однако совсем затеряться им не удалось. Их отыскали следователи, которые и стали первыми взыскательными критиками. Взыскали по совокупности заслуг по статье 190¹ УК РСФСР (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный строй). После этого те пробы пера затерялись навсегда.

В 1989—91-м годах переписывать чужие шедевры уже не требовалось, кроме того, я как-то растерял всю свою, очень мне дорогую, библиотеку. Чтение начало требовать каких-то специальных усилий (пойти-купить-взять-отдать). Вот тогда я за неимением под рукою чужих книг (ну и, наверное, от скуки) занялся написанием своих.

Мне кажется, получается хорошо — но читать это не надо — по крайней мере, я сам читать бы не стал. Видимо, по этой причине хлопоты по напечатанию написанного мне не очень удавались.

Я называю свои опусы рассказами, хотя по объему — это, скорее, повести.

«Звезда светлая и утренняя» впервые была опубликована в журнале «Континент» в номерах 65 и 66. В 1990 году она вышла на немецком языке в берлинском издательстве «Verlag Volk&Welt». Повесть «До петушиного крика» публиковалась в журнале «Знамя» в 1992 году.

ДО ПЕТУШИНОГО КРИКА

Вадим стоял в плотной толпе перед сплошной решеткой, ощущая с брезгливым отвращением залипшую потную рубашку и прикосновение чужих разгоряченных тел. Перед ним, за второй решеткой, бесновались обезьяны, которым наплевать было на расплавляющее землю солнце, на многолюдную толпу и даже друг на друга. Обезьяний визгливый гомон сливался с лающим хохотом перед клеткой и никуда не уходил, отталкивался и небом, и землей, оставаясь тут же, в резком запахе истекающих потом обезьян и совсем недалеко, за двойную решетку только, ушедших от них потомков. Сами эти ржавые решетки так напоминали Вадиму что-то невероятное, до тошноты неправильное, что он попятился, но мохнатые руки цеплялись за его кремовую рубашку, не давая выбраться из толпы. «Позвольте... Извините», — лепетал Вадим, допрагиваясь, протискиваясь, проталкивая себя прочь, а перед ним раздвигались, но тут же хватали его сзади волосатые пальцы, и, обернувшись, с уже останавливающимся дыханием, он видел только огромные оскаленные зубы на обезьяньих мордах. Ослабели ноги, стучало в висках. На последнем усилии Вадим обнаружил, что он выбирается не туда — решетка была впереди, а он внутри клетки, и вообще со всех сторон частоколом — решетки, и везде носятся разномастные обезьяны — большинство в платьях и костюмах, но есть и одетые только в собственную шерсть. Внезапная тишина заставила Вадима посмотреть туда, в вольер неодетых: беззвучно разевал пасть тощий самец, пытаясь встать с переломившейся доски. В изломе защемили его причиндалы, и с каждым рывком затягивался случайный капкан. В уши выстрелил пронзительный вопль, тонкой иглой прошедший че-

рез хохотогам роняющих слюну распахнутых ртов. От этого включенного вдруг звука сердце Вадима ухнуло в бездонную яму, ноги подкосились, и он бы упал, если бы не ветка, в которую он успел вцепиться, и увидел тут же, что из кремового манжета — его манжета — высовывается мохнатая цепкая обезьянья лапа — его лапа, а на ветке сидит вылинявший какой-то петух с очень скорбным лицом, знакомым каким-то лицом, и неуверенно говорит «куруку», заискивающе вглядываясь в Вадима. И себя всего увидел Вадим петушачьим взглядом: оскаленная затравленная волосатая морда, выпирающая из кремового воротника густая шерсть и крик — именно увиденный крик, — выхлестывающий из его чужого тела и забиваемый всем окружающим ужасом обратно внутрь. Уже на черте смертельного безумия Вадим услышал отдаленный железный лязг и увидел Свету, отпирающую маленькую калитку в огромной — до неба — решетке...

Вадим проснулся от грохнувшей дверцы автомобиля. Он лежал в духоте красного своего «жигуленка», и каждым толчком крови изгонялся из тела ужас сновидения. В окошко било слепящее солнце, и Светкины волосы вспыхивали короной, которую она осторожно несла к реке, неуверенно раздвигая высокую траву. Вадим понимал, что надо бы встать или по крайней мере открыть окно — сиденья автомобиля были влажными и липкими, и все тело его было липким от духоты и пережитого страха; надо бы встать, тем более что оттуда, куда скользила тоненькая и голенья Света, доносился плеск, мужской гомон, раздраженное бормотание; надо бы встать, но не было сил пошевелиться, и лучше было сразу представить, как сейчас вот вернется эта голенья его случайная находка и можно будет прижаться к прохладному в речных блестках телу... Но сначала она принесет воду, глоток холодной воды, а потом уж скользнет к нему, приникнет прохладным ручейком, вымывая остатки всех ужасов, подрагивающих еще где-то в желудке. И хорошо бы еще убрать солнце, острой болью вламывающееся через веки в тяжелую голову, хорошо бы — ночь, и чтобы голосов и возни этой плескающейся не было. Крохотный уголок разложенного сиденья темнел в тени, и Вадим перевалил туда голову, видя теперь одним только глазом яркую зелень утра за окном. Где-то в этой зелени затерялась тоненькая Света, и от этого его покручивало беспокойство, которое в придачу к разламывающейся

голове и застывающей пустоте недавнего ужаса теребило его, не давая расслабиться и в полную силу радоваться тому, что то вот, недавно пережитое и невозможное, было только во сне. Светка как-то совсем незаметно вскользнула в машину, приникла, обвиваясь вокруг него, но прохлады не принесла — все оставалось таким же душным и влажным — впрочем, и не нужна уже была Вадиму эта прохлада: изнутри напирала, заслоняя все остальные ощущения, горячая кровь, пульсируя в каждой клеточке, вырываясь наружу урчащим сладостным стоном. Тут же ударил в уши мужичий хохот — «те самые, из того плеска», — догадался Вадим, затихнув враз и поглядывая косящим глазом в окно. Несколько десятков мужчин, хохоча и улюлюкая, неслись мимо «жигуленка», гоня впереди себя жалкого выщипанного петуха. «Только бы не заметили», — замерло все внутри, и Вадим даже зажмурился, но и с закрытыми глазами продолжал видеть шумную ораву, чем-то очень знакомую. Петух смешно подпрыгивал, пытаясь взлететь, хлопал крыльями и попискивал слабенькое «куреку», а из настигающей гремящей своры потрепанных мужиков выкрикивалось хрипло: «Не так, не так». Снова все существо опустошил парализующий страх, и тут Вадима заметили, как он ни жмурился; заметили и несутся прямо к нему, а петух впереди, глядя подобострастно и заискивающе. Крылья его шумно хлопают, а из глаз вот-вот выкатится по огромной капле, которые еле держатся на длинных ресницах. Петух изловчился выщипанным крылом открыть дверь машины, и Вадим тут же выкатился в другую, слыша, как громко хлопает она позади него, и проваливаясь в разинутую пасть оврага...

Вадим проснулся, но продолжал лежать, не открывая глаз; в каком-то уголке, дремлющем еще, теплилась наивная, детская, напрасная надежда, что это — тоже очередной сон и, если не открывать глаза, то можно будет проснуться окончательно. Сердце колотилось, резонируя стуком в висках, ресницы слиплись выдавленными этим новым, реальным ужасом слезами, и душа, конечно же, душа — что же еще могло так ныть — корчилась, с болью утесняясь в теле арестанта.

Начинался еще один совершенно лишний день новой, долгой, бесконечной, ненужной жизни. Жизнь эта уже гремела, била по ушам, окутывала вонью из завешенного матрасовкой

угла, цеплялась за длинные ноги, которые вылезали из прохода между трехъярусными секциями коек («шконок» — с трудом переводил Вадим, так и не научившийся еще беглому употреблению слов этой своей жизни). Вадим сел на полу в проходе, где на ночь разворачивал свой вонючий матрац.

Прошло всего несколько минут после подъема, и в открытой «кормушке» все еще торчали, тесня друг друга, головы двух надзирателей («дубаков» — опять с запозданием перевел Вадим). На верхней шконке, ближайшей к окну, уткнув бледно-синее лицо в толстую решетку, вытягивая не выбритую, а выщипанную тонкую шею, камерный «петух» Танька бульчал жалобное «куреку» в толстенный железный лист, которым снаружи было заварено почти все окно. Танька хлопал себя руками по костистым бедрам и старался, напрягая жалкое морщинистое горло, но из воя и гогота, плотно заполнивших весь душный объем камеры, несло: «Не так, не так», и потеха продолжалась. Не было разницы между разинутыми ртами арестантов и надзирателей, а уловив косящий Танькин ненавидящий взгляд, Вадим и вовсе отвернулся, опустил голову и прикрыл глаза. Не было ему никакого дела до всех этих людей, населяющих его нынешнюю жизнь, да и в жизни этой не было ему места, и ничто не отозвалось в нем ни на смех сокамерников, ни на Танькину ненависть: он отвернулся от чужого, чтобы не расплескалось без надобности все, что только вот... сейчас вот он пережил.

Между ним и реальностью сохранялась мягкая, не слишком проницаемая перегородка; иногда она становилась тонкой, почти прозрачной, иногда превращалась в совсем непробиваемую стену, и не волновало его совсем, когда из-за стены доносились нелестные эпитеты в его адрес, когда его окликали «заторможенный» или похуже, когда там за стеной сгущалось даже что-то враждебное, как несколько месяцев назад еще в подследственной камере, из-за треклятой этой обуви. Правда, при угрозе из-за стены, при вспышках ненависти перегородка истончалась и делалась прозрачной, но и в таком виде невероятно искривляла реальность, и Вадима охватывала паника — холодный ужас перекручивал живот, и ни следа не оставалось от его невозмутимости, от его отдельности ото всех, что как-то непостижимо утишало враждебность сокамерников — слишком уж извивался Вадим, слишком просто было

его в такие минуты унижить. Впрочем, больших унижений, чем эти его извивания, причинить ему нельзя было, а изменить его камерный статус без определенной провинности, достаточно значительной для такого изменения, никто не решался, так как само такое изменение было уже достаточно значительной провинностью того, кто бы на это решился.

Вот в таком весьма неустойчивом равновесии и пребывал Вадим в нашей «девять-восемь», осужденке, рассчитанной тюремными проектировщиками на двадцать «мразей» (так они нас называют), перерассчитанной на тридцать (навариванием на двухъярусных шконках третьего яруса) и вмещающей сейчас вот шестьдесят пять преступников, вступающих в очередную день своей исправительной жизни.

Я по-прежнему лежал на своем месте, на самой верхотуре под яркой лампой, держа перед собой раскрытый расползающийся том Лескова, но уже не читал. Случайно перехваченный больной взгляд Вадима выбил меня из расслабленного благодущия еще одного спокойного дня. Загнанность и обреченность беззвучным воплем резанули душу, казалось, что его напрочь отвергающее все окружающее существо переместилось в мое тело и заныло, застучало кровью в висках, не уместаясь никак, не соглашаясь и не принимая того, что видели глаза, слышали уши, ощущали нос, язык, каждая клеточка...

Нет, не Вадимово существо переместилось в меня — мое собственное, забитое мною же в неподвижность и глухоту, запечатанное до каких-то иных времен, сейчас неудержимо высвобождалось из крепких пут, наваливалось на тот крохотный огрызок меня, которым я здесь выживал и балансировал в своем иллюзорном равновесии... наваливалось и подминало, раздавливало потной на ощупь безысходностью.

Ни гроша не стоят мои снисходительные поглядывания на Вадима и на его неумелые метания в здешней жизни. Всей кожей отталкивается он от теперешнего своего существования, всеми остатками сил тянется к одному только: переползти эту черную дыру, эту тухлую яму, эту не-жизнь. Так и ползет, уже сейчас не желая видеть и слышать хриплые испарения сегодняшнего своего дня, не желая знать и помнить эти дни, надеясь на той стороне ямы плотненько сшить две половинки своей жизни, воображая, что никакой помехи не будет от незаметного шва, фантазируя, что даже память его вскриком

боли не наткнется на уродливый шрам, — только бы пере-
ползти...

Ну а я сам? Зачем я тяну себя через эти мертвые дни?

С самых первых шагов здешними коридорами я втиснул себя в нагловатую маску всезнайки «Матвеича», которую высокомерно и напористо выставляю вперед и вместо всего себя. Все мои самые живые клеточки, все пульсирующие в них воспоминания и понимания, все надежды на какую-то жизнь за этими каменными стенами — все это наглухо увязано тугим узлом. Только выпусти из заплота это увязанное биение, только дай ему сцепиться с тем огрызком, которым я здесь существую, — сразу же вспенится вся невозможность нынешней нелюдской жизни, взметнется на первую же царапину каменных стен, расшибая всего целиком в кровь и в гибельный размет...

Зачем же я не расшибаюсь? Зачем все еще дышу и выживаю? Ведь выживание здесь не пример жизненной стойкости, а демонстрация гибкости, изворотливости, подлости — черт те чего, но того гнусного, что в истине о живом псе, о том, что живой — пес, червяк, паук, не важно кто — живой лучше потому, что выжил и, значит, победил... Извернулся выжить. Научился быть доглядчиво гибким: зрением, слухом, самими костями научился умненько выскальзывать из переходов, где пропускают «без последнего», не зацепился даже звуком за хрипы этих «последних» и выскользнул, выжил, победил... Господи! Видишь ли ты, какие мы умные и верткие обезьяны?!

А может, всего важнее держаться в эту вот минуту? Держаться, пока не подступило еще к самому горлу, пока ты жив и не изуродован усилиями выжить, — держаться и улыбаться, пока ты на глазах и на тебя смотрят...

Понадобилось несколько минут на изгнание бунтующего клубка надежд, воспоминаний, желаний, обид, упреков, озлобления, страха, и вновь я мог расслабиться, счастливо уместаясь в своем маленьком и радостном мире: заправленная шконка, книга, светло; можно будет целый день читать, или думать, или спать; впереди еще все дневные кормежки и прогулка, пока еще есть курево; почти невероятны сегодня, в пятницу, неприятные сюрпризы — «кумовья» и прочая братия более настроены на предстоящие выходные, чем на наше воспитание; побольше бы во всей будущей жизни таких дней (и мысленно сплунуть через плечо, и мысленно помолиться).

Я поправил книгу, затолкав выползающие изжеванные страницы обратно под обложку, глянул на скорчившегося в проходе напротив Вадима — голова в коленях, только клочками выстриженная макушка торчит наружу — и камера, да и вся тюрьма качнулась, отступая; шумная утренняя возня, раздражение стесненных в духоте людей — все отодвинулось, превращаясь в однородный, совсем не мешающий гомон где-то там, далеко, за обложкой истерзанного Лескова (еще бы закурить, но сигарет мало, и лучше попозже). «Событие, рассказ о котором ниже предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России». (Нет, все же стоит закурить сейчас.)

...Вадим разматывал пульсирующую ткань предутреннего своего кошмара, цеплялся за паутинки путаного сновидения, оживляя яркость и чистоту ощущений, стараясь не приближаться к тем из них, которые резонировали в душе холодным ужасом. Главным для него было выделить в красочной фантазии сна, отделить от всего остального то, что на самом деле было с ним, то, что он благополучно забыл, заглушил в суетливой гонке своей жизни, оборвавшейся несколько месяцев назад, когда чужие руки распахнули дверцы его красного «жигуленка», притормозившего у светофора, и резкий голос выдохнул в салон: «Оружие есть?» (Какое оружие? Идиоты, почему им вечно мерещится оружие? Опасности? Погони и перестрелки? Насмотрелись сами же своих выдумок о себе по телевизорам до перепуга...)

Зоопарк был, и толпа у клетки была, и потная кремовая рубашка, и несчастный крик шимпанзе, попавшего в неожиданный капкан. Вадиму хотелось закрыть уши, чтобы не ввинчивался в них этот тоненький, детский визг, но он был на глазах — он умел владеть собой и не мог позволить себе необдуманных жестов. Со снисходительной улыбкой, стараясь не смотреть в клетку, где обезумевшее существо рвалось в визге, измазывая кровью проклятую доску, с приклеенной своей улыбочкой Вадим вежливо и решительно выбирался из плотной толпы. Сейчас он никак не мог вспомнить, по каким делам занесло его тогда в зоопарк, впрочем, это не важно.

— Эй, Саламандра.

Вадим осознал, что окликают его, но голову поднимал медленно, будто бы всплывал на поверхность со дна тепло-го бассейна, успевая припрятать скаречно и укротно отогре-тые дыханием осколочки сновидений, сцепленные уже с вос-поминаниями.

С самой верхней шконки противоположного ряда на него глядел Матвейч, политик, человек странный и опасный, пред-лагая ему — ошибиться в этом жесте было невозможно, — предлагая именно ему сигарету. Матвейч еще раз затянулся и метко бросил сигарету в Вадимов проход прямо тому на колени, отвернувшись тут же, уткнувшись сразу в свою неиз-менную книгу и благодарной ответной улыбки не приняв.

Вадим уцепил сигаретку подрагивающей щепоткой, боясь услышать неотвратимое «Саламандра, покурим» — обычные слова, но при обращении к нему они никогда не звучали воп-росом или предложением, а ударили всегда по издерганным нервам грубым приказом, и никогда не хватало у него решим-ости отрезать, выдохнуть в ответ свое несогласие.

Закружилась голова от сладостной затяжки, зыбко качну-лись стены, колыхнулась внутри теплая волна и отступила, унося напирющую на виски тяжесть и подступающий к гор-лу тоскливый вой.

Таньку согнали уже с верхней шконки, так и не добившись от него звонкого петушиного крика, и сейчас в вонючей темно-те завешанного тряпьем второго яруса занимаются с ним тош-нотными утренними забавами. Где-то в глубине коридоров залязгали, загремели «баландеры», и самые нетерпеливые в камере зашевелились, засуетились, взвинчивая себя ожида-нием дневной хлебной пайки и скудного завтрака. Если бы не сигарета, Вадим тоже начал бы уже маяться, сталкиваясь в узком проходе между двумя трехъярусными рядами с такими же, как и он сам, вялыми, покрытыми испариной, брезгливо передергиваясь от прикосновения почти голых нечистых тел...

Загремела кормушка и захлопнулась, не открывшись даже, выплкнув в духоту камеры вместе с тоненькой свежей струй-кой коридорного воздуха фамилию дежурного.

— Саламандра, покурим, — хлестануло сбоку.

— Угм, — мыкнул Вадим, затягиваясь.

Он подумал, что надо бы не забыть умыться сегодня, но

опять возле унитаза и раковины толпились сокамерники в грязных трусах, и вообще весь этот угол был настолько грязным, что не хотелось даже приближаться к нему. Сейчас все расступились, пропуская Таньку, и он склонился к брызжущему крану, отдраивая свои черные зубы.

— Эх-ба-бу-бы, — громко простонал в углу у окна Митяй, и вся секция шконок задрожала от его хрустких потягиваний. — Танька, — рявкнул он, — а ну, бегом!

— Не могу больше, — заскулил Танька, оборачиваясь от раковины, — ей-Богу, не могу, — его старческое и одновременно детское личико сморщилось предплачно, — будь человеком, Берет, — скулы болят.

— Я те их счас совсем сверну, — загремел сверху Митяй, он же Берет, прозванный так за свою лихую службу в Афганистане. — Нюх потерял! Стоило свое забыл!.. — заводил себя десантник, и под этими криками, как под ударами бича, Танька потянулся на хозяйский голос.

— Ну хоть сигаретку, — долетел из глубины второго яруса ноющий Танькин полуплач.

— Ладно, будет с ларька, — заурчал Берет.

Засипел натужно кран, выдавливая последние — теперь до вечера — капли воды.

— И че тусуются, че тусуются, черти? — В проход свесил громадную свою башку повторник Пеца, иссиненный до самого горла змеями, свастиками, куполами и всякой иной изобразительной чертовщиной.

— Ну вот скажи ты, хмырь беременный.

Тощий мужичонка со смешно нависающим мешочком живота на черных длинных трусах заискивающе смотрел вверх на Пецу.

— Я, что ли?

— Ты-ты. — Пеца сегодня был настроен благодушно, и мужичонка подхихикнул тихонечко. — Ну чего ты ерзаешь по ходу? — Пеца поманил мужичонку пальцем. — Тебя как звать-то?

— Меня? Меня — Василем звать.

— Киселем, говоришь? Ну так что тебе, Кисель, не сидится? Что ты проход занимаешь, так что человеку по нужде не пройти? А ежели человек, к примеру, пойдет по нужде и за твое кисельное брюхо споткнется? И родишь тут невзначай — так человеку отвечать за тебя, а?

Несколько голосов преданно захохотали.

— И вот чего в толк не возьму, — Пеце явно понравилось рассуждать, и он не хотел остановиться, пока слова так вот гладко выкатывались из-под гибкого языка, — ведь все одно жратву вам, чертилам, последними получать, так что вв-вы... — Он начал злиться, и язык уже деревенел, и слова не выкатывались, а застревали, непроговоренно наполняя рот, и это приводило Пецу в ярость. — А н-ну ч-ч-чтоб и в-в-видно не не не... — Пеца замотал головой, и проход начал освобождаться: потные люди заползали в свои грязные, влажные еще с ночного сна норы. — В-в-шивота! — рывкнул вслед Пеца, мотнув башкой.

— Что ж ты, падло, сигарету закурал? — Над Вадимом нависал Ворона, Воронов — тощий плоский юнец, с выпирающими во все стороны костями и всегда подергивающимися длинными руками-ногами. — Я ж тебя по-человечьи спросил, что ж ты, кусочник занюханый, а?

Вадим растерянно держал в горсточке докуренный до обжиг губ чинарик.

— Что ты мне тянешь? Нет, мужики, — закипал Ворона праведным гневом, размахивая мослатыми руками. — Я ж его как человека, а он...

— Уймись, Ворона, — бросил сверху Матвейч, — я ему всего пару затяжек оставил.

— Так я ж ничего, Матвейч... Он же мог сказать, что ж он «оставлю, оставлю», а там и оставлять нечего...

Руки Вадима подрагивали, и он медленно собирал себя из растерянной паники, неожиданно разметавшей тихую радость сигареты. Матвейч снова уткнулся в книгу и признавательного Вадимова взгляда не видел. Непонятный он человек, лежит почти все время у себя наверху с книгой и изредка только вмешивается в дела камеры; относятся к нему опасно, стараясь держаться подальше — кум и вся его свора при каждом случае выпрашивают и выпытывают про него, а кому нужны лишние неприятности? Однако слово его в набухающих камерных спорах, вспыхивающих стычках и разгорающихся время от времени выяснениях далеко не самое последнее. Сторонятся его все, хотя и обращаются к нему по самым разным надобностям, а вот он — при том, что и не отказывает никому, — точно всех сторонится, и когда даже предлагал ему Пеца авторитетное место, отказался, остался

на своей верхотуре; и самое в нем опасное — цепляется с тюремщиками по любому поводу, даже когда и бесполезно совсем: свяжешься с таким — сам не рад будешь.

Вадим и вовсе предпочитал держаться подальше от Матвеича, побаиваясь его едких слов, которые долго потом саднятся в груди и трудно выковыриваются, как занозы, — выдавить невозможно и забыть не получается — даром что редкие. Примерно месяц назад, по приходе в эту камеру после суда, начал как-то Вадим вспоминать свою жизнь, доказывая не окружающим даже, а самому себе, что уж он-то — слава Богу — пожил, погулял — даже и умирать не обидно было бы: машина, рестораны, девицы, дачи... Его слушали, а Вадим вспоминал и вспоминал, растравливая себя, раскручивал перед грязными и недоразвитыми своими нынешними товарищами красочный калейдоскоп оргий и развлечений, создавая из всей своей прошлой жизни ослепительный фейерверк непрекращающегося праздника: и — закончил, выдохшись в описании очередного ресторанного кутежа, тоскливым охом: «Еще бы недельку хоть... Недельку одну — я бы такой бенц закатил! — потом хоть «стенку» накручивай, не жалко». Тогда вот в тишине завистливой, в паузе, плотно утрамбованной сожалениями о невозможном, несбыточном, и толкнул голос Матвеича, тихий и даже с ленцой: «И что бы ты устроил за бенц? накрутил еще пару тысяч на спидометр? схавал еще несколько пудов калорийной жратвы? выпил сколько-то там литров разной крепости пошла? трахнул пусть и десяток новеньких — для тебя новеньких — «телок»? И из-за этого к стенке?.. Мера всей жизни — сколько-то там пудов питья, жратвы и не очень чистых тел? Забавно...» И все, и отвернулся снова к книжке своей, и забыл даже, а Вадим сник, будто из него весь воздух выпустили, будто шарик яркий прокололи (он помнил себя маленьким на давней древней демонстрации с голубым шариком в руке, когда какой-то дылда ткнул папироской и вроде в ушах что-то лопнуло — так было больно) — потух Вадим сразу и утянулся в свой проход; только беззвучной злобой клокотало в нем еще долго «а у тебя не пудами измеряется?», «а у тебя пуды чего?», «а ты, а ты...».

Загремела под дверью баландерская телега, и вся камера пришла в движение: спешно натягивались на взмокшие тела пропотевшие тряпки, в отгрохнувшую кормушку дежурный уже

принимал пайки хлеба с белоснежным холмиком сахара на каждой. Вадим стоял в незастегнутой рубашке и зорко следил из прохода за разложенными на деревянном столе («общаке») хлебными кусками — вот забрали свой хлеб камерные авторитеты и пристроили на маленьких железных полках на стене («телевизор»), вот они отошли от общака («Матвейч, я твой хлеб убрал, к завтраку-то спустишься?») — «Спасибо, Голуба, ты же знаешь, я уху не ем, а после к кипяточку...»), вот дежурный забрал свою пайку и кивнул: «Мужики, ослобоняй общак».

Вадим старался сохранять достоинство и не ломиться, не расталкивать, не пробиваться, но очень уж хотелось завладеть высмотренной издали горбушечкой, тем более что два раза уже приходилось высматривать следующую; но если так деликатно, то опять останется пайка-недомерок. Вадим оттер плечом хлипкого мужичка и ухватил-таки, успел присмотренную, уже обласканную взглядом пайку прикрыть рукой.

Дежурный выставлял миски с ухой; кто-то ему помогал, а он тесненько, одну к другой ставил миски («шлюмки») на общак, считая вслух вслед за баландером.

— Мужики, разбирай уху, — скомандовал дежурный, и общак плотно обступили, стараясь не толкаться, чтобы не расплескать мутную похлебку с серебром чешуи поверху.

Дежурный сам совал в руки каждому миску и торопил, торопил, освобождая общак и оставляя на нем с десятков порций, на глаз выбирая поплотнее. Когда все уползли со своими мисками на привычные места, дежурный позвал: «Эй, люди, завтрак», — и не спеша потянулись к общаку, слезая с самых удобных и почетных шконок, те, кто знал, что этим вот «эй, люди» позвали именно их.

— Матвейч, кому уху? — спросил Берет, выбирая себе ложку («весло») почище.

— Пусть Голуба ест — молодой, растет еще.

— Спасибо, Матвейч, мне от своих костей не отплеваться, — хохотнул Голуба.

— Тогда пусть Саламандра берет — испереживался весь, светиться перестал, а там вроде фосфор.

Дежурный подошел раздавать ложки, которые остались на столе после того, как сидящие за ним выбрали себе что почище.

— Давай шлюмку, — остановился он в проходе перед Ва-

димом с ложками в одной и миской Матвейча в другой руке.

Вадим ел медленно, поглядывая на лежащую сверху свернутого матраца пайку хлеба с ослепительно белой горкой сахара. Есть ложкой со спиленным под самый край черенком Вадим так и не научился, вернее, не научился есть так, чтобы не окунать пальцы в еду, и поэтому приходилось почти после каждой ложки их облизывать. Сидел он на том же свернутом матраце, рядом с пайкой, и, наученный уже горестным опытом, старался не шевелиться, чтобы не опрокинуть хлеб, чтобы не просыпался драгоценный песок белым ручейком. (Много в своей жизни терял Вадим разных ценностей, даже перстень с бриллиантом посеял как-то в угаре загула, но ни о чем так не скорбела, ни о чем так не свербила душа, как о просыпанном десять дней назад сахаре.) Рыбные чешуйки Вадим не сплевывал, а аккуратно снимал пальцем с губ, чтобы точно уж только чешуйка эта пошла в отходы, а все остальное, как он с удивлением открыл для себя, было вполне съедобным, потому что хребтинки у странной этой килькообразной рыбы, которую в неведомом мутном водоеме ловили тюремные снабженцы, были даже вкусные и уж вне всякого сомнения — весьма полезные.

Снова лягнула кормушка, и дежурный подскочил с бачком для питья («фанычем»). Через жестяную лейку из кормушки в бачок хлынул кипяток.

— Эй-эй, — заорал дежурный в открытую кормушку. — Тут шестьдесят человек, гони еще ведро...

Кормушка громыгнула, закрываясь, и дежурный заколотил миской в железную дверь, завопил на весь коридор («продол»):

— Недоносок козлячий, гони кипяток! зови командира! зови старшего! — Он вопил и долбил, колотил железной миской в железную дверь, а Вадим продолжал размеренно глотать мутную жижицу, удивляясь сам себе, удивляясь тому, что ничто его не волнует сейчас, кроме вот этой порции и этой вот пайки хлеба.

Его волнения начались, когда отставлена была пустая миска и надо было решать, что делать с хлебом и где его запрятать и сколько оставить — опыт не давал самого правильного ответа, — пока что Вадим осторожно слизывал сахар и заодно влизывал его сладким слоем в горбушку. Вообще-то должно было быть у Вадима полновесных полбуханки хлеба, но держал он в руках такой осколок, что если это —

половина, на всю было бы больно смотреть, потому и называл он эту пайку горбушкой. Время от времени в камере поднимали шум, отказывались от пищи — прибежали кумовья, их подручные, начальство повыше; кого-то уводили в карцер, кого-то вели в весовую, отмеряя при нем положенные 450 грамм, и на несколько дней пайка увеличивалась, но потом полбуханки снова превращались в горбушку, и когда уже хлебoreзы нагтели до невозможности, да если выпадало какое-нибудь особо нервное утро — все начиналось сначала. Матвейч призывал шуметь каждый день, но редко остальным хотелось такой нервотрепки: накормят ведь только к ужину после всех выяснений — и побеждала всеобщая уверенность, что «им ничего не докажешь», а Матвейч со своим «чтобы доказать, надо идти до конца» оставался в одиночестве. (Зато уж не упускал он ни одного случая, где мог шуметь сам по себе и сам за себя, где не требовалась поддержка сокамерников.)

Вадим слышал суету и ругань у двери: лязгала кормушка, прибежал кто-то из надзирателей, наконец-то снова загремело у двери ведро с кипятком, и фаныч наполнили доверху (зачем им в такую жару кипятком?), — но как бы и не слышал, распарившись совсем от еды и удовлетворившись на сегодня решением припрятать хлеб в свернутый матрац. Завершение завтрака прозвенело скинутыми стопкой у двери мисками, и теперь снова можно было раздеться до трусов — по камерным правилам пить кипяток можно было и в трусах, если, конечно, не сидишь за общаком, куда в трусах вообще ходу не было.

Насытившись, но не доверяя ощущению довольства, Вадим опасливо вслушался в себя: непереносимым мучением оставались для него неизбежные походы на унитаз («толкан») — так и не приучился он за свои долгие месяцы тюремной жизни к тому, что все это можно совершать прилюдно; а совсем тяжкими были для него спешка и толчея раннего утра — те два часа после подъема, когда шла вода. Сливная труба из раковины тянулась к толкану, и по камерным правилам при любом пользовании толканом необходимо было включать воду, откручивая кран над раковиной, чтобы вода непрерывно лилась в унитаз; из-за того же, что целый день воды не было, правила требовали определенной сдержанности в пользовании толканом в дневные часы. В этих условиях самые сильные неприятности сули-

ло какое-нибудь расстройство желудка, что Вадим испытал уже сполна; сейчас, к счастью, избалованный в предыдущей жизни его желудок не бунтовал и вроде бы даже благосклонно принял (в качестве еды) «двойную уху». (Вадим даже хмыкнул, осознав, что тройная порция ухи для него сейчас куда желанней, чем знаменитая «тройная уха» родимого «интуристовского» ресторана в прошлой жизни.) Особо гордился Вадим тем, как удалось ему извернуться, избежать большей части всех этих ежедневных переживаний: он приучил себя просыпаться под утро и в тишине спящей камеры (хотя всегда было человек двадцать, тарасившихся на него или скользивших почти бесплотно среди смрада, сапа и храпа), в этой почти тишине, без помех и спешки освобождать себя от необходимости утренних терзаний. А в наивно придуманной молитве, которую Вадим не забывал прошептать перед любым сном, несколько месяцев назад появился дополнительный вопль: «...и пусть желудок работает всегда как часы».

Плотный воздух камеры подрагивал, смягчая редкие движения и жесты арестантов, а поближе к окну и вовсе причудливо выгибал в плавных колебаниях лица и даже голоса. Тонкие золотистые иглы, которыми солнце проникало сквозь насверленные в наморднике отверстия, прошивали задымленную гущу, налитую внутрь каменного куба. Яркая, давящая круглосуточно на глаза лампочка не могла пробить толщину смрадного воздуха и высвечивала только самый верх, а внизу, куда стекал плотный сумрак, лишь эти игольчатые солнечные струйки пытались взмешать непригодную для дыхания густоту. Раскаленный намордник начинал свою адскую работу: плавил все, с ним соприкасающееся, в однородное марево. Это марево толчками продвигалось к двери, а навстречу ему пульсировали волны вязкой вони из угла.

— Эй, мужики, кипятик кто еще будет? — Слова дежурного медленно поплыли по камере вперемежку с хрипом дыхания (слово — вздох, слово — вздох), а сам он блестящей рыбиной извивался возле фаныча. — Ну, тогда я помою... пока силы есть.

— Очумел... — остановил его Голуба. — Загнемся тут... Наоборот, вытри все, чтобы ни капли влажной нигде, сваримся к чертям в испарениях. Ночью помоешь.

Дежурный, чертыхаясь и охая, выливал кипятик в толкан. Плеск, бормотания, охи — все это оставалось там же в углу,

не распространяясь, как учили в школе, равномерно по всем направлениям с одной скоростью; да и вообще все эти школьные законы и правила тут не работали — в этом мире все жило по своим законам.

Голоса затихли, только хриплое дыхание, только труд вогнуть, втянуть густую массу воздуха внутрь.

Вадим знал, что скоро тело его примирится с невозможностью жить в печи, расслабится и даже как бы растворяться начнет; и от этого могло бы стать легче, если бы намордник не накалялся адской сковородкой и дальше. Главное сейчас — дожить до прогулки, когда откроется дверь и холодным душем хлынет в камеру свежий коридорный воздух...

Вадим сидел на полу в своем проходе, спиной упиравшись в свернутый впритык к стене матрац, уткнув голову в колени. Долго так сидеть он не мог — выпирающие кости начинали болеть. По этим вот признакам — по неудобству сидеть, лежать — острее всего ощущалось, как он сдал, и сейчас вот единственно духота мешала ему упиться снова болезненной жалостью к своему исхудавшему телу. Он пересел на матрац, откинувшись спиной на изгаженную штукатурку стены. Попытался окунуться в припрятанные с утра впечатления от сна, размотать их заново, но утренние размышления были запечатаны наглухо, и мысли его, тупо ворочаясь, только ткнулись глухо в слово «зверинец», не отозвавшись никаким чувством.

— Шаньпаньского бы сейчас со льда, — выполз сверху тянучей змейкой мечтательный вздох Берета, да так и свернулся над ним. — Эй, Саламандра, приколлот бы чего, а? Шоркни, как ты в ванну с шаньпаньским девок кунал...

— Да он спит, — отозвался слева от Вадима услужливый голос молоденького пухленького юнца, у которого на гладких щечках не росло еще ни волосинки и всех жизненных воспоминаний — единственная история о том, как он пытался взять ларек, так Ларьком и прозванного.

— Большое дело — спит, — лениво вступил Ворона, — толкни.

— Не-а, — отказался Ларек, — сон в тюрьме — святое.

Ларек этот, никогда не унывающий, услужливо готовый всем помочь, сохранял какую-то неистребимую детскую наивность, оберегавшую его от крупных неприятностей. Неприятности же грозили именно из-за этой его услужливости, жела-

ния угодить и чтобы все вокруг было хорошо и радостно. Он не различал, где необходимая помощь, а где унижительные поручения типа «подай-принеси», и всегда готов был бежать, нести, подавать и помогать. Если бы не покровительство Матвеича, быть бы ему давно камерной «шестеркой».

Вадим представил, как он в этом вот отрепье, в этих трусах одних сидит за своим столиком и пьет из бокала холодное полусладкое. Увидел грязные пальцы и старающуюся улизнуть из них тоненькую ножку бокала, увидел презрительную губу вышколенного официанта Саши и неловкость сидящей напротив Светы; впрочем, нет, Света будет глядеть посмеиваясь и жалостливо приговаривать: «Бедненькой обезьянке жарко, бедненькой обезьянке плохо».

По этой приговорке, по звуку голоса мысли легко соскользнули в недостижимый еще минуту назад след утренних сновидений, которые Вадиму удалось благополучно сохранить, не расплескать в продолжающемся кошмаре нынешней невозможной жизни.

Скрывая снисходительной улыбочкой стыд от того, что он оказался в толпе зевак, получивших неожиданное развлечение, Вадим выбирался в прохладу тенистых дорожек зоопарка. Радость от паузы в хлопотливом дне уже испарилась. (А как возникла пауза? Несостоявшееся свидание? Точно. Вадим приобрел случайно партию дешевой бумаги, в зоопарке должен был встретиться с покупателем, но тот не пришел.) Хотелось добраться побыстрее до машины, и если уж выпало в знойный день барахтаться в городе, то окунуться в искусственную прохладу привычного уголка в ресторане «Интурист».

На краю асфальтовой дорожки стоял мольберт, мимо которого сновали расплавленные жарой страдальцы с неугомонными детишками. Мольберт был поставлен неудобно, именно так, что любой проходящий оказывался между ним и натурой. Хозяйка деревянного сооружения устроилась босиком на траве газона. Такое расположение живописных принадлежностей не только мешало писать с природы (а может, она вовсе и не с природы?), но и не давало возможности заглянуть в картину или что там у нее. Вадим с усмешкой подумал, что, может, и не картина там вовсе, а стоит себе эта особа, разложив перед собой столик, и вкушает прохладительные напитки; так нелепа была эта мысль, что Вадим не

поленился вернуться и пройти обратно, нагло попирая ногами траву газона и вместе с ней общественный порядок.

Увы, на мольберте была картина (чудес не бывает), и Вадим почувствовал обиду, будто его обманули, будто ему обещали что-то и потом посмеялись, а он, дурачок, поверил. Он мазанул взглядом по яркому пятну на плотном листе и прошел бы мимо, если бы не зацепился за одно пятнышко в неразличимом издали фантастическом многоцветии.

Девушка не заметила приближения зрителя, погруженная даже не в работу, а, скорее, в себя. Вадим глядел из-за ее плеча, чувствуя подступающую тошноту и не в силах оторваться.

На картине бесновались, орали, заседали друг на друга полчища маленьких обезьян в ярких летних платьях и костюмах. Вадим глянул на толпу у клетки — по крайней мере цветное пятно на картинке соответствовало тому, что было перед ним. Он прищурился от слепящего солнца и в прищуре увидел, что сумасшедший рисунок более соответствует реальности, чем можно было бы подумать. Лист бумаги приковывал глаз, не позволяя ему, посмеиваясь, увильнуть в сторону. Но и не этот даже взгляд на окружающий мир, не этот прищур молоденькой рисовальщицы, случайно повторенный Вадимом, обстолбенил его — в центре цветастого пятна на листе, в центре клетки рвалась в беззвучном вопле на волю маленькая обезьянка в кремовой пижонской рубашке. Мордочка ее была стянута в левую сторону, будто кто-то жестокой пятерней ухватил ее за левую щеку и сжимал неумолимо, скручивая болью всю голову. Это было невероятно: это ведь его, Вадимово, это он так перекашивается от боли всегда, с детства еще; в сравнении с этим сходство рубашек было уже и излишним...

— Так вы и видите всех нас — смешными, глупыми обезьянками? — Девушка смотрела на Вадима, даже не слушая его, просто смотрела, склонив голову к плечу и покусывая кончик кисти (когда она его заметила? Может, она и все время так смотрела на него?). — Вот так вы — единственный человек в этом зверинце — и видите всех нас?

— Почти так. — Она не заулыбалась ответно на натужную любезную улыбочку Вадима, а, повернувшись, ткнула кончиком кисти в голубое пятнышко с краю листа.

Там же, на листе, в легких голубых брючках стояла за мольбертом симпатичная обезьянка.

— Тогда не страшно, — держался Вадим привычной интонации. — Если вместе с вами, то я согласен и в зверинце.

Его несло: главным для него стало сейчас пробиться сквозь грустно-снисходительный прищур тоненькой рисовальщицы, хоть совсем и не в его вкусе была эта девушка, хоть и не ко времени было ему это новое знакомство (куда-то надо было еще успеть, но куда?).

— Кстати, — Вадим наседал, — вам не кажется, что пришла пора кормить зверей? Слышите, какой шум в тигрятнике? Может, и мы вкусим, от звериных радостей, тем более что другие с вашей точки зрения нам недоступны?..

И вот уже они сидят за Вадимовым угловым столиком (значит, она согласилась), и невозмутимый Саша наставляет и наставляет перед ними все новые блюда.

— Звери должны хорошо питаться, — Вадим залпом выпивает бокал ледяного полусладкого, но никакого облегчения: та же жара и та же жажда. — Ну а как у нас, у обезьян, принято? Имена у нас есть? — Он не дает ей и рта раскрыть и говорит, говорит, с одним желанием увлечь, поразить, завоевать... — Вас, вероятно, зовут Света, впрочем, достаточно, что я буду вас звать Света... Так вот, скажите, Света, как вы относитесь к такому еще бытующему мнению, что люди сотворены Богом, а не произошли от обезьяны? Или вам ближе идея, что люди действительно не произошли от обезьяны, все еще не произошли от нее, все еще пытаются произойти, но не могут?..

— Бедненькая, голодненькая обезьянка. — Света смеется, сдувая падающую на глаза прядь. — Ну зачем вам Бог? Разве вам приелись уже обычные обезьяньи радости?

— Ну знаете ли... — Вадим растерялся даже, но нашел в себе силы засмеяться, — скучно как-то, если без Бога.

— Ах, ему скучно, — сердито рявкнул над самым ухом официант Саша и впрыгнул на свободный стул, ловко перебросив фалды фрака через спинку. — Все мы под Богом ходим, макака ты несчастная. Вот у нас ревизия была...

— Саша, не волнуйтесь, — Света протянула длиннющую руку и почесала официанту под манишкой (Вадим тут же сообразил, чего ему не хватает, и, перехватив в левую руку котлету по-киевски, правой принялся расчесывать живот под резинкой трусов), — сейчас я все объясню. — Света задрала к лепному потолку свою симпатичную мордочку. — Бог — это

вся Земля, вся-вся, и когда Земля себя сделала на загляденье, то и захотела кого-нибудь осчастливить, чтобы кто-то оценил, как все здорово, а не просто, чтобы бродили по ней, жевали и размножались. Вот она и выбрала одно обезьянье племя, предположив, что оно способно будет оценить, и, воздействовав как-то там радиацией или еще чем, добилась мутации — ведь время для Земли совсем другое, чем для нас: нам — сотни лет, а ей — минута, может. Ну а обезьяны они и остались обезьянами — всех-то изменений, что научились обезьянность свою прикрывать тряпками да словами разными... Теперь-то Земля пытается от этой пакости, ею же созданной, избавиться, пока саму ее эти ее создания не взорвали или еще как не изуродовали неисправимо...

— Глупый какой-то у вас Бог.

— Ну, представьте: построили вы великолепный дом и захотелось порадовать кого-нибудь — пригласили кучу знакомых, чтобы жили они и радовались, а они на ковры гадят, подрались — стекло разбили... Что делать?

— Выгнать.

— Некуда.

— Поссорить, чтобы жизнь невмоготу стала, чтобы перебили друг друга.

— Могут во время ссоры и дом поджечь.

— Значит, заразить чем-нибудь, чтобы сами передохли.

— Может, и возникнет что-то, чего лечить не успеют научиться.

— А вас вши не мучают?

— Мыться надо, макака паршивая, — снова загремел Саша. — И искаться не лениться каждый день. — Оказывается, он во все время разговора с ошеломительной скоростью ел, и теперь на столе только обглоданные кости наполнили дорогую посуду. — А чесаться за столом неприлично. — Саша выхватил из руки Вадима котлету по-киевски и впился в нее длинными желтыми зубами. — Тем более чесаться при даме, — прочавкал он.

— Так если чешется, — обиженно протянул Вадим. — Света, скажите ему.

— Да не ори ты на него... — Почему-то Света заговорила голосом Матвейча, но это было уже не важно, так как, получив разрешение, Вадим сладострастно начал терзать пальцами низ живота.

Он сполз с матраца и тут же вскинулся, оглядываясь пустым и отсутствующим взглядом.

— Что ты к нему прицепился, — втолковывал Матвейч кому-то вниз. — То, что Голуба наплел, вполне можно считать гипотезой, и она ничуть не хуже всяких других.

— Лучше бы он не ломал голову всякой чушью, а в Афган пошел...

— А я не хочу в Афган, — взревел, выскакивая в проход, всегда добродушный Голуба, — мне незачем быть ничьим тюремщиком...

— Так я, по-твоему, тюремщик, — Берет тоже выскочил в проход, — так ребята наши, в Афгане помирающие, — тюремщики!! Почему они должны за тебя помирать?

Они стояли друг против друга, готовые вцепиться друг другу в глотку и грызть, рвать, бить до смерти, взвинтив себя смертной ненавистью мгновенно, как это всегда и бывает среди арестантов.

— Мне наплевать, за что они там помирают, и я не прятался в погребе! Я в рожи их сказал, что в Афган не пойду, — за то и срок тяну, ясно тебе?! И каждый мог отказаться! И ты мог отказаться! Так что за меня никто не помирает! Вас чеками соблазнили, да сказочкой по ушам шоркнули, что, мол, правое дело, чтобы убивать не стыдно было — так вон тех, что на вышках с автоматами, тоже сказками пичкают, какие мы здесь мрази...

— Ты меня с ними не равняй! Я Родину защищал и тебя, паскуду трусливую, вошь вонючую, пока ты в своих институтах мозги сворачивал!..

— Родину?! А может, ты еще и в Иран какой-нибудь пойдешь? Может, у тебя и там Родина? Защитничек... Таких защитников захватчиками везде зовут... В Афгане у него Родина...

— Ах ты...

— Хорош, — рявкнул Матвейч, что бывало с ним редко, и готовые уже сцепиться Берет с Голубой затихли, тяжело дыша и не отходя друг от друга, не поворачиваясь один к другому спиной. — Что разорались на весь продол? Кумовьев захотелось потешить?!

— И то дело, — подал голос Пеца. — Разбазарились, глотки луженые. И чего орать, — ворчал он, — кулаков, что ли, нету...

Вадим передвинулся на своем матраце с уже пропотевшего места на краешек, пощупав заодно сверток с пайкой.

Проход снова был свободен, а шконки качались, принимая опять в свой душный смрад Берета и Голубу, ярость которых так же мгновенно схлынула, как и накатила на них минуту назад. Только недовольное бурчание лопалось где-то справа от Вадима, там, где умащивался Берет.

— А был бы ты, Голуба, умнее: отслужил бы тихонечко свои два — и дома, — не спеша выпускал слова, выбираясь из своей норы, Кадра — обвисший весь складками, грушеобразный хозяйственник, получивший десятку (два «андропа», по-здешнему) за целый букет каких-то невразумительных статей, злоупотреблений, где самым понятным камерному человеку было взяточничество. Кадрой его прозвали за привычку всовывать всюду излюбленное «руководящие кадры» — от привычки отучили вроде, а имя прилипло. — Тебя же после всех этих фокусов ни в какой Афганистан не взяли бы, побоялись, ну и надо было соглашаться. Впихнули бы куда-нибудь в стройбат...

Кадра разминал отекшее свое тело в сквозном проходе, почесывая густую серую шерсть на груди.

— Теперь вот сидеть тебе по собственной дурасти, — продолжал он не спеша, прижмурившись от удовольствия, которое ему доставляло почесывание.

— Тебе ж, Кадра, больше сидеть, ты бы себя поучил, — незлобно отозвался Голуба.

— Меня освободят, — уверенно заявил Кадра. — Руководящие кадры, да с моим опытом работы, сейчас ой как нужны.

— Ага, нужны, — весело подначил Берет. — А то разучатся взятки брать, если ты опытом не поделишься...

— Что же касается Афганистана, — сбить Кадру, если он начал говорить, было почти невозможно, только под угрозой физической он утихал, но и то долго еще рассуждал еле слышно сам с собой, так что ничего удивительного не было в том, что на Берета он и не отреагировал никак, — проблема Афганистана очень сложная. Если бы не мы — американцы бы туда пришли, ведь этот отсталый народ необходимо цивилизовать, они же хуже свиней....

— Слушай, Кадра, — вмешался опять Матвеич, — тебе не приходилось слышать где-нибудь в своих парткомах, что нет плохих народов...

— Ты, Матвеич, наивный, как ребенок, ну как Голуба прямо, и сидишь вот за это. — Кадра остановился в проходе

Матвеича и увещевал его. — Одно дело говорить, а другое — знать. Говорить надо, что нет плохих народов, но нельзя забывать, что народы бывают разные: вот литовцы, например, они все такие сволочи, что надо было их еще до войны — всех под корень. Я долгое время работал там на руководящих постах и видел, как они нас ненавидят.

— И прямо все сволочи?

— Дай им волю — они нас всех перережут. Они же так фашистами и остались. Ты вот не знаешь, а они все немцев хлебом-солью встречали.

— Ты-то откуда знаешь? — закипал Матвеич. — Видел, что ли?

— Видел, — начал горячиться и Кадра. — Это ты, молодой, не видел, а я видел.

— Как же ты, Кадра, видеть мог? Ты с немцами шел или с теми был, кто хлебом-солью?..

Слитный хохот вспорол плотную духоту камеры. Кадра что-то пытался сказать, но голоса его не слышно было, и только губы шевелились беззвучно, да затылок краснел, да голова тряслась, и все тело колыхалось мелко, как студень.

— Ой, не могу... — заливался рядом с Вадимом Ларек, и шконка его ходуном ходила. Все понемногу успокоились, а Ларек продолжал заливчато колотиться, не в силах прекратить, и даже всхлипывал от смеха. Глядя на него, хотелось смеяться уже просто так, заражаясь его смехом.

— Ты-ты... Дубина... Молокосос... — переключился Кадра на Ларька, задыхаясь возмущением. — Ты, кроме ларьков, не знаешь ничего...

— Ой, держите меня... — продолжал дрыгаться на шконке Ларек.

Постепенно он утих, и снова со всех сторон облепила вязкая душная завеса. Вадим сполз с промокшего матраца на пол, освободил ноги из нагревшихся туфель и вытянул их вдоль узенького своего прохода. Время остановилось. Вадим глянул на противоположную стену, где Берет разметил по грязной штукатурке солнечные часы — золотистые иглы меняли направление в течение дня, и благодаря этому можно было приблизительно следить за временем, которое здесь прекращало свое равномерное движение; со времени завтрака прошло еще чуть более получаса, и Вадим, сдержав горечь, принялся настраи-

вать себя на долгое ожидание прогулки. Время постоянно неровило остановиться; его обманывали, проталкивая долгими разговорами, пережевывая вместе с никому не нужными словами, подталкивая ожиданием газеты, прогулки, обеда — невозможно было вместить в себя бесконечность целого дня, не раздробив его на доступные выживанию порции. Вадим слышал, что в карцере плохо, видел тех, кто там побывал, но все зримо плохое: еда через день, отсутствие курева, прогулок, книг, газет — все это казалось терпимым, а вот огромные куски времени, которые можно измельчать только собственными мыслями, — это представлялось до сумасшествия невозможным: ведь мысли не помогают избыть ненужное время, они — наоборот, — замедляют его, и, пережив внутри себя всю жизнь заново, сдвинешь ношу времени на минуту какую, не больше.

Вадим устроился поудобнее, свернувшись на полу возле своего матраца. Здесь, у самого пола, дышать вроде легче, но никак не пристроить было измученные кости на выщербленных досках, перехваченных железными полосами. Снова нестерпимо захотелось почесать искусанные места, но Вадим сдержался, чтобы не менять удачно найденного положения.

Закурить бы сейчас. Вспомнилось, как приятно было курить в машине. Как-то он стоял, поджидая приятеля, и обшарил всю машину — ни сигаретки. Ситуация — из рук вон: и отъехать нельзя — приятель вот-вот выйдет, и курить хочется так, что уши пухнут. Он сам не понимал, как его угораздило: всегда ведь в машине держал запас. И уже до того дошел, что наплевать было на приятеля этого и на то, что хороший куш может пройти мимо — решил ехать. Вот в эту минуту и заметил Вадим на тротуаре под дверцей сигарету. В жизни с ним не было такого: бычок или еще что с земли подобрать, а тут оглянулся, чтобы не видел никто — ведь засмеют, проходу не будет, — дверцу приоткрыл и ухватил сигаретку. Посмеивался Вадим сам над собой, но сигаретку размял, и такое блаженство, такой покой после недавних терзаний — ничего не надо уже. Спичку зажег, а прикурить не может, видно, порвана сигарета оказалась, потому и выбросили. Тянет Вадим без толку, и спичка уже догорела. Ему бы спичку выбросить, а он сигареткой занят: все пытается затянуться, а спичка уже пальцы обжигает, и не стряхнуть никак, прилипла, зар-ра-за, да больно же!..

Вадим вскочил, махая рукой, не понимая ничего, чувствуя

только нестерпимую боль между пальцами. Комок горячей ваты вывалился от этих его взмахов, и Вадим, всхлипнув тихонечко, скрутился в своем углу.

— Во дает Саламандра, — гоготнул Ворона, — из огня целехонек. Одно слово — Саламандра...

— Ворона, ты тупорылый, что ли? — привстал у себя Голуба. — В хате дышать нечем, только ваты горелой не хватало.

— Зач-чем палил, пп-падла? — заревел Пеца. — В стойло захотел?

— Да я ж ничо, — забормотал Ворона. — Я ж, мужики, ничо... Это ж он опять... Ему сколько говорилось на полу не спать — на полу одни черти спят, а люди на матрацах спят, от него ж вшивота пойдет. — Ворона торопился, спешил переклЮчить возбужающее раздражение камеры на Вадима. — Он языка ж не понимает.

— Ворона, глОхни, — вступил Берет. — Еще раз зако-сишь — на веник месяц. А ты, Саламандра, гляди — к параше пойдешь спать.

Снова плотное месиво затянуло прорехи, образованные в нем голосами; только пузырями лопались всхлипы тяжкого дыхания где-то рядом, нет, не рядом — это его собственное дыхание. Вадим все еще вздрагивал, с запозданием понимая все, происшедшее только что в камере. «Господи! — беззвучно взмолился он. — Я не могу больше, Господи... Сделай так, чтобы не звали меня Саламандрой... Сделай что-нибудь...»

Эти его мучения начались еще под следствием. Вечером как-то заколыхался перед ним неповоротливый и вечно сонный камерный авторитет Туша, человек в здешней жизни бывалый, попавший снова на круги привычных коридоров из-за того, что придушил чуть не до смерти своего родственника — милиционера. Сам он говорил, что придушил-то ненароком: пили они вместе и обнимались там или еще что; Туша под одобрительный смех сокамерников рассказывал, что обнимал-обнимал он этого родича, а потом вдруг подумал, кого же он обнимает — мента обнимает, ну и сжал посильнее...

— Эй, землячок! — Перед Вадимом ходил ходуном живот и как бы отдельно двигалась на нем здоровенная русалка, которую Туша почесывал, ковыряясь в ее пупке (оба их пупка — его и русалкин — совпадали). — Давай мы твои сапоги обменяем на плитку чая.

— У меня нету сапог, — не понял сначала Вадим, но по снисходительному смеху и подергиваниям русалки сообразил и зачастил возмущенно, но и просительно как-то: — Это же «Саламандра» — мировая фирма... Как же можно за плитку чая?.. Плита чая — она же копейки стоит... Им же ни сроку, ни сносу — «Саламандра» ведь.

— Так что из этого, что им сроку нет? Тебе ж срок будет, — русалка мелко задрожала, — а в зоне тебе новые выдадут, и ни о чем гоношиться не надо будет. В зоне там такие саламандры отхватишь — ноги сносишь, а им хоть бы что...

— Но как же можно? — не унимался Вадим и, не находя в себе сил на простой и достойный отказ, жалобно пытался убедить Тушу. — Они же стоят не трояк какой... Их же и не достать нигде...

— Забудь, недотепа: здесь другие деньги и другая цена.

— Нет-нет, так нельзя. — Почему-то Вадиму, все потевшему в считанные дни, было до слез жалко свою обувку. — Ведь «Саламандра», — этот аргумент казался ему чем-то очень убедительным.

— Значит, зажалил? — Русалка осуждающе вильнула хвостом. — Жаба, значит, душит? Общакое курево — это можно, а чай помочь на общак раздобыть — жаба душит? Ну гляди, Саламандра, ты сам решил...

Много раз уже Вадим проклял ту свою оплошную жадность: часто он уговаривал себя, что не такое уж плохое у него прозвище (он здесь наслушался разных «погонял»), однажды даже на прогулке одному принялся втолковывать, кто это такие саламандры, но в ответ из-под узенького сморщенного лобика получил: «Прикидываю, что это вроде паучка ядовитого и вонючего, раздавить — и всех делов»; и еще раз попытался Вадим поведать красивую легенду о живущих в огне саламандрах — с тех пор не раз уже просыпался он от жгучей боли, дрыгая руками или ногами, где вонюче тлели надерганые из матрацев кусочки ваты.

После суда в новой камере прозвище неотвратимо настигло его, и не находилось способа сбросить это, уцепившееся клещом, ненавистное имя. А сбросить так хотелось, что Вадим попытался даже в этой камере — благо она была в другом крыле тюрьмы и на другом этаже — скрыть свое погоняло, но Пеца отправил куда-то клочок бумаги, получил к вече-

ру ответ, и очередная Вадимова оплошность тут же отозвалась презрительным недоверием к нему сокамерников. Да еще на прогулке как-то удалось Берету перекричаться с Тушей, и невразумительный их перекрик краешком больно задел Вадима («Как там Саламандра — не сгорел еще?» — «Тлеет пока — только вонь стоит»)...

Загрохотала железная дверь, залязгали многочисленные запоры (по солнечным часам Вадим отметил, что неурочно), и головы сразу же повысовывались в проход, а дежурный подскочил к двери докладывать. Докладывать не понадобилось, потому что в камеру никто из начальства не вошел, а в приоткрытую еле-еле дверь протиснулся сначала развернутый матрац, а следом — ободранный, обросший до бороды, искривленный весь как-то однобоко, длинный парень.

Даже Вадим понимал, что это явление не совсем обычное: судя по бороде, примерно месяц новичок без бани (там стригут и бреют всех, кто хоть немного зарос, но это благо очень напоминает издевательское наказание, потому что... впрочем, стрижка и бритье — отдельная тема).

— Что за хата? — Новенький смотрел настороженно.

— Обычная... осужденка. — Пеца выполз в проход и подался к двери. — А тебе какая надо?

— Устраивает. — Новенький кинул матрац в проход и уселся на лавку за общак.

Пеца молча пододвинул к нему папиросу и спички, примащиваясь на ближайшую к общаку шконку.

Новичок обвел взглядом свешивающиеся головы, кивнул: «здорово, мужики» и закурил, прикрыв глаза.

— Ты откуда? — не выдержал Ворона.

— Глохни, — бросил ему Берет, тоже выбираясь в проход, но в натянутых уже на мокрое тело тряпках. Он уселся за общаком напротив новичка.

— Из карцера, — не открывая глаз продолжал курить заросший парень. — Месяц в три приема. Веселый я, — представился он.

— Ларек, дай-ка ему, — бросил Пеца, и Ларек, натянув вылинявшее трико, скатился со шконки, всовывая руки в рукава некогда белой футболки.

Веселый уже докурил и сидел обессиленный, подрагивая

здоровенными ладонями, а Ларек придвигал к нему толстый ломоть хлеба с плотным сахарным слоем поверху.

— Спасибо, мужики, но я потом, а вот если можно поку- рить бы еще...

— Гляди, чтобы крыша не поехала с непривычки. — Бе- рет протянул сигарету. — Слышал, что устроил ты потеху...

— Я от этой потехи еще по сегодня кровью харкаю... А у вас тут нормально. — Он огляделся внимательней. — Тер- пимо, не как в парилке.

— Это здесь-то терпимо? — Ларек засмеялся.

— Меня держали в «ноль-восемь» в подвале, рядом с ба- ней. По хате труба сотка, что в баню жар гонит, — не дотро- нуться... Душегубка.

— Вот сволочи, — не сдержался Голуба, — а зимой в «ноль-один» бросают, где окна во двор, так там лед на полу...

Вадима эти слова не трогали: лед на полу представлялся сейчас недостижимым блаженством, а в то, что может быть жарче, чем здесь вот, раскаленный мозг поверить не мог.

— Ну так расскажи, Веселый, — не утерпел Ларек.

— Отстань от человека, — осадил Голуба.

— Так что там рассказывать... — Нрав новичка, из-за кото- рого он, видимо, и получил свое имя, побеждал его недавние беды, и он ухмыляясь оглядел аудиторию. — Взяли меня, как щенка; я в дачу одного торговца вломился, а там баба его со своим хахалем. Эта дура такой визг произвела, что с сосед- ней дачи сбежались. Хахаль ее — малый, видно, тертый — смылся, а я от визгу сплоховал — меня и зацепили. Потом эта баба и сама не рада была — мужик-то узнал, из-за чего она на даче вдруг оказалась... Так вот, начали меня менты крутить, а за мной ничего больше. Тут мой следак и подкатил: тебе, гово- рит, все одно пятерик, так давай еще парочку хат возьмешь — тот же пятерик, зато будешь под следствием, как кот в масле; и я согласился, только изо всех висящих на нем хат выбрал три поскромнее. Жил я, мужики, три месяца — и воли не надо: передачи каждый день в его кабинете принимаю, даже с ба- бой моей свиданки мне в кабинете устраивал, да выпивку сам приносил несколько раз. У нас в хате без фильтра и не курили уже, а чай так выбирали: плиточный не парили... Дай-ка еще одну. — Он прикурив у Берета. — Ну а на суде я им и выдал. Прокурор требует андроп, а я в последнем слове и говорю,

· невиновен, мол; это вот все, за что гражданин прокурор меня призывает каленым железом изничтожить, мы со следователем в его кабинете и совершили, так его и судите — он же меня уговорил за выпивку, а если не верите, говорю, то запросите справочку — я в то время, как кто-то хаты брал, в ЛТП находился на излечении. Ну тут такое началось... Дело на переследование, следака другого, а мне кости каждый день ломать киянками. Ну, а новый суд вмазал мне тот же андроп, но уже за одну мою дачу...

— А следователь тот?

— А что ему сделается? Работает себе... Меня вот до сих пор прессуют — пережить не могут, что я против ихнего пошел. Сюда вели — я думал, в пресс-хату бросят...

— Ларек, — Пеца встал, заканчивая разговор, — у тебя там местечко... Подвинься — человеку отдохнуть надо.

— А что — можно спать днем? — радостно удивился Веселый.

— Нельзя, конечно, — засмеялся Голуба, — но здесь нас так понатыкали, что кто там углядит, спишь ты или не спишь.

Ларек что-то передвигал у себя наверху, а Веселый тем временем раздевался, внимательно проглядывая швы изодранной своей одежды.

— Вши есть в хате?

— А как же, — засмеялся опять Голуба. — Куда ж они денутся?

— В хате неважно, лишь бы на тебе не было, — добавил Берет.

Новичок, глянув вскользь на Вадима, забрался на шконку. Они там долго пристраивались, пытаясь сначала уложить еще и тот матрац, который Веселый принес с собой, но потом скинули его чуть не на голову Вадиму («Задвинь под шконку», — свесился Ларек) и скоро затихли.

— А у меня знаешь как было? — начал громко шептать Ларек, не в силах упустить человека, который еще не слышал его историю.

— Ларек, имей совесть, — окликнул его Голуба.

— Да, ничего, ничего, — отозвался Веселый, — я — нормально.

— Иду я от своей телки, — задыхаясь давним волнением, шептал Ларек, — поругались мы с ней, значит...

— Не дала она ему, — перебил Ворона. — Малый, говорит, ты да слюнявый — телок, одним словом.

— Не-е, про слюнявый не говорила, — поправил Ларек, — а и не дала. Ну, значит, иду я, и такая злость, такая злость... А я в то время и не пил еще...

Вадим все не мог никак пристроиться поудобнее. От вида, как Веселый искурил подряд три полные сигареты, докручивая каждую в бумажку, чтобы уже ни крошки табаку не пропало зря, в Вадиме опять поднялась с трудом заглушенная беспокойная страсть курильщика. Он с надеждой взглянул на Матвейча, но тот читал, а ни у кого больше Вадим не мог решиться попросить хоть окурочек. Его раздувающиеся ноздри улавливали табачный дух: кто-то курил у окна, и он тянул, втягивал ноздрями этот дразнящий запах, растравляя себя еще больше.

— ...Вот сижу я, значит, в ларьке этом, — продолжал незадачливый взломщик, — хлебу коньяк, а сижу на полу, чтобы с улицы не видно, — он же сияет весь, как фонарь. Коньяк мне и не понравился совсем, а шоколад уплетаю ого-го, но и шуршит он, гадюка, будто по железной крыше кто топает, — я уж как тихо ни стараюсь, все равно гремит. Шибанул меня коньяк крепенько — все соображаю, а встать не могу, ноги ватные, но чую, что пора сматываться. Тут как раз мент этот и подтархтел на своем мотоцикле под самый ларек. Слышу — кряхтит и выползает, снег под ним шуршит, а он, значит, за ларек шагает — хрум-хрум, ну а у меня тут и засосало не вовремя: смех, да и только. Мне бы рвануть и — дворами, а у меня ноги ватные и брюхо скрутило — я и корчусь. А мент-то остановился отлить, да углядел дыру и лезет туда башкой своей. Представляешь цирк: вижу, прямо к носу мне репа его краснощекая суется, да со свистком во рту, а глаза от удивления выскочить готовы. Тут я его, значит, этой коньячной бутылкой и огрел прямо по темечку (эксперт на суде говорил, что запросто мог и дух вышибить — репа крепкая оказалась), так вот, звезданул я его, а он дух не испустил, чтобы совсем, а так испустил, что в свисток духнул, да резко так — зараза, духнул... Ну и, значит, услышали... Теперь вот — андроп...

Веселый никак не реагировал на рассказ соседа и скорее всего уже и не слышал, а спал, радуясь, что получил передышку в своих мытарствах.

Теперь и с другой стороны доплыл до Вадима табачный дым, и он сразу же вывернулся туда. Матвейч не читал — книга лежала возле, — а курил и тихо разговаривал с забравшимся к нему наверх Голубой. Вадим даже привстал, вернее, подался вслед за раздувающимися своими ноздрями туда, к ним, но беспокоить не решился, опасаясь, что Голуба не простит помехи. Вот и Голуба задымил, прикурив у Матвейча, и снова откинулся рядом — лицом в потолок. Вадим решил дожидаться конца разговора и стал со звериной чуткостью вслушиваться в тихие голоса, слов не понимая, а только настороженно ожидая момент, когда можно будет привлечь внимание Матвейча.

— ...и получается, что все — без толку. Мне ведь на Афганы эти — тьфу, а козлам, что вминали меня в послушание, — еще больше тьфу: им главным было вбить меня в строй, чтобы все у них были как указано и положено — в строю. Ну а мне главным стало — не уступить, не поддаться. Казалось, уступил только, и сам себя переломишь в угоду черт те чему, казалось, и жить дальше станет невмоготу с таким вот собой — собой же и переломанным. Вот и уперся. Вот и уперли меня на семерик. А как этот семерик представлю — чувствую, что не пережить, не вытянуть... И что же — получается, что прав Кадра и вообще все эти псы?.. Получается, что без толку?..

— Похоже, что без толку.

— Но ты же вон держишься, да еще чуть ли не поплевывая...

— Я балансирую в своем здесь равновесии. Охранникам моим неохота да и опасно со мной связываться — им лишь бы продемонстрировать свою бдительность, устроить сплошной надзор: что сказал, да кому, да когда, — а с остальным пусть разбираются другие — на месте, в зоне. Вот они и выпытывают, вынюхивают, а здесь из-за этой плотной слезки думают, что волки и впрямь меня опасаются, и на этих предположениях раскачивается мой в камере авторитет. Так я и барахтаюсь, пока не скрутилось все это удавкой на глотке. Чутьочку качнись беспредела — и следом мой выход, потом меня глушанут наказанием, и значит — опять мой выход и там уже — готово — у самой глотки... А ты говоришь — поплевывая...

— Зачем же ты встречаешь во все? Зачем к ментам цепляешься? Отгородись совсем книжкой своей и не высывайся, все равно же, сам говоришь, без толку...

— Совсем отгородись — и ощущение будет, как у тебя, когда в Афган вминали, — будто сам себя переломил...

— Так если все равно без толку?..

— Это ведь еще когда подступит... а сегодня хорошо бы самому себя не изломать...

— Но подступит?

— Обязательно.

— Тебя бы, Матвеич, в палату к умирающим — для утешения. Ты бы им там правдой в морду, что, мол, все там будем... дело обычное...

— И потому незачем себя раньше времени убивать, а лучше заслониться сегодняшними радостями, пусть и маленькими...

— Все! запутал, замутил — ничего не понимаю...

— Но ведь и заговорил, а? Уже не так тошно? Уже не хочется даже соглашаться — ни со мной, ни со своими же догадками про «без толку»?

— Не хочется.

— Зря. Лучше ясно видеть тупик, но не делать вывод — раз, мол, так, то пропади все!.. Лучше качнуться к другому: если так, то тем более ценна эта вот минута, пока целы и душа, и кости и все при тебе... включая курево.

— Будто этой минутой можно раздвинуть стены, про которые сам же...

— Раздвинуть, наверное, нельзя, но...

— Подожди... Ведь и всегда, везде, всю жизнь приходится упираться между тупых стен. Почему здесь — без толку...

— Опять мы с тобой по тому же кругу... Пойми, Голуба, все мы здесь для наших тюремщиков — мразь и дерьмо. Преступление, вина или ошибка даже — не важно. Мы мразь и дерьмо, потому что мы здесь. Только поэтому и именно поэтому: здесь яма для дерьма, и в ней может быть только оно, и мы — в ней. Это состояние, в котором нас держат, видят, знают и воспринимают. Остальное не существенно. А раз ты выжил, значит — согласился с этим. Пусть всего лишь разок и еще один разок, пусть молчком, а не подписями — неважно как, но согласился и принял это, чтобы выжить...

— Да плевать мне, кем эти волки меня считают!..

— Вот-вот, мы и вида не подадим, что мы — люди. Наплевать нам, за кого нас держат...

— Ну и что? Если кто-то там считает меня подонком — так я от этого подонком?

— А если не кто-то где-то, а тебе в лицо?..

— Пусть попробует кто!..

— Вот и я об этом...

— Но здесь так нельзя... здесь надо вытерпеть — иначе только задохнуться и помереть...

— Я ведь это и говорю...

— Но есть же здесь свои правила — внутри... которые помогают удержаться...

— Они приучают рвать, где слабинка... вырывать крошечки для себя из слабины вокруг. А в основе — приучают так же гнуться, но огрызаться при этом, рычать и обманывать себя своим рычанием... Результатом те же гибкие кости безо всего, только еще и с пенной мутью внутри, с уродливым знанием, что все везде — сплошное дерьмо, и все на свете истины — одна параша, и кого ни возьми — баран или козел, и козел — тоже баран, и всем им место — в петушатнике... В общем, те же очищенные от разума и души кости, но еще и с зубовным оскалом.

— И это всегда и для всех?

— Некоторые не выживают...

— А иначе никак, что ли?

— Не знаю... Если бы стены этого тюремного мира были насквозь прозрачными...

— Хорошо бы устраивать сюда творческие командировки всяким тупорылым вольняшкам, особенно из тех, кто «властителями дум»...

— Да еще за их же деньги.

— Думаешь, они бы платили?

— Как миленькие. За экзотику и впечатления. Только они бы знали, что все это с ними не всерьез, — они бы ждали конца командировки и, значит, главного бы не поняли. Главное, что все здесь случается не понарошку, а навсегда... даже если сам умудрился все забыть.

— А можно бы их для яркости ощущений предупреждать, что начальник устраивает лотерею и каждый сотый останется всерьез — статью-то любому подобрать плевое дело...

— Вот это хорошо. И на самом деле безо всякой лотереи — каждого и оставлять, а он пусть думает, что он сотый и такой невезучий.

— И чем бы тот ненормальный мир отличался от этого ненормального?

— А ничем...

Вадим уже не мог сдерживаться: они там, наверху, закурили еще по одной, и у Вадима все затряслось от ненависти к ним — довольным, спокойным, черт знает в каких материях витающим, когда рядом с ними человек гибнет, ну просто гибнет без паршивой какой-то сигареты. Ненависть поднималась в нем, вытаскивая за собой бесшабашную злость и выплескиваясь в безоглядной дерзости.

— Не прав ты, Матвейч, — хрипло бросил Вадим туда наверх, где сразу умолкли голоса.

— И в чем это я не прав, Саламандра? — повернул к Вадиму голову Матвейч.

— А во всем. Нормальная тут жизнь, обычная жизнь. Не хуже, чем в клетке в зоопарке. Видел в зоопарке? Вот курева бы еще...

— Держи. — Матвейч сбросил сигарету, и Вадим ловко подхватил ее и заоглядывался по сторонам, где бы прикурить.

— Спички у вас там в зоопарке имеются? — спросил Голуба, бросая вниз коробок.

— Саламандра, покурим, — углядел Ворона.

— Не-а, Ворона, не покурим, — Вадим, прикрыв глаза, разминал сигарету — теперь вот спешить не хотелось, — курим уже. Вдвоем мы тут.

— С кем это вдвоем? — не отступал Ворона.

— Вадиму оставляю. Неплохой мужик, а без курева пропадает совсем.

— Ну дает, — протянул сверху Голуба. — Высший пилотаж. Спички гони, Саламандра. — И обернувшись к Вороне: — Не тронь его — пусть покурит в охотку.

И все. И забыл Вадим обо всем, недосыгаем стал, ушел, улизнул ото всех бед и горестей, растворился в этом сизом дымке, в сладостной его горечи, поплыл, поплыл вместе с ним, огибая все жесткие углы сумасшедшего этого мира. Но и дым даже не в силах улизнуть из наглухо забитой железом клетки — потыкается по углам и оседет вместе с вонью в том же проходе...

Нет, невозможно из себя выпрыгнуть: всегда донимала Вадима эта вечная его неудовлетворенность, неспособность отдаться целиком уже добытой радости — всегда воспомина-

лось тут же что-то недостающее, отравляющее каждую минуту жизни суетливой гонкой и нетерпением. И сейчас вот, уже на третьей затяжке, Вадим обеспокоенно ощупал, на месте ли пайка, и пожалел, что сахар весь съел сразу, и пить захотелось, и ощутил, что пора бы уже на толкан сходить — это вот, последнее, было неприятнее всего... А если на толкан, то, может, загасить сигаретку, припрятать на потом? Но потом, может, опять повезет стрельнуть, а если припрядешь, то и не стрельнешь — какое уж тут наслаждение в этой раздвигивающей на части суетливой обеспокоенности, как сделать так, чтобы непременно сделать лучше лучшего?..

— Мужики! Мужики! — пробился растерянный голос дежурного. — Толкан забит... Делать-то чего будем?

— Какая пы-паскуда пы-пы-паследняя на толкане была? — заревел Пеца.

— Так он тебе сейчас и скажет, — перегнулся Голуба.

Все зашевелились, и камера наполнилась равномерным гомонящим гулом. Общая беда не оставляла равнодушных, а Вадим был готов расплакаться от своего личного невезения: все, упустил время — теперь ходу на толкан не было.

— Тарабань, чего застыл? — прикрикнул на дежурного Берет и, обращаясь ко всем: — Шумим, мужики, но по приходу ментов — не базарить: пусть Матвейч один говорит. Только пошумливать вместе, а в базар не встречать, а то снова, кроме лишних мучений, ни черта не будет...

— Да хоть двери открытые подержат, пока разборки наведут, освежимся — и уже хорошо, — успокоительно добавил Голуба.

А успокоительное слово было необходимо. Шумнуть — это не одно только развлечение в затхлой арестантской жизни, это и опасность наказания: будь ты хоть тысячу раз прав, но, по их мнению, ты неправ потому, что ты — здесь; неправ потому, что ты — мразь: неправ потому, что, если ты прав, то, значит, неправ кто-то из них, а это невозможно: против тебя они заодно — единым чудищем тянутся к твоей глотке... И есть у тебя одно издевательское право: подать жалобу от себя лично в установленном порядке — вот и напиши, хоть в Москву, что у тебя есть просьба почистить толкан, а когда вопрос твой решат и если ты к тому времени с ума не сойдешь, то узнаешь ты, мразь вонючая, что толкан ты забил

нарочно, противодействуя работе администрации созданием угрозы инфекционных заболеваний, и тогда уж — держись, мразь... Ну, а всякие попытки подать устную жалобу — это чаще всего незамедлительное «держись, мразь», да еще и усиленное неостывшим справедливым негодованием оскорбленных в лучших чувствах защитников отчизны...

Все это на зверином уровне, не упаковывая в слова, ощущал любой из арестантов в разной степени, боясь возможных последствий или радуясь неожиданному разнообразию — все в зависимости от способностей фантазии, от умения представить более или менее отдаленное будущее и от привычки жить, забирая все свое немедленно или проживая сегодняшний день с учетом и следующих. А у Вадима сейчас не было ни фантазии, ни опасений — только нетерпение, да с подхлестом резкой боли в брюхе, крутящей его волчком... Ну можно ли быть таким невезучим?..

Дежурный размеренно колотил в кормушку, и монотонный равномерный ляг заполнял пространство камеры, больно тыкаясь в уши, даже изменяя биение сердца, которое подстраивалось под этот грохот.

Наконец лягнула, приоткрываясь, кормушка, и дежурный, присев на карточки, взмолил в узкий просвет:

— Командир, ассенизатора пришли — толкан забит.

Несколько слов, серых, без интонаций даже, расслышать нельзя было, но дежурный завопил тут же в захлопывающую щель:

— Козлы вонючие! Волки! Менты поганые! Ассенизатора давай, педерасты!..

Вопль взвился взрывной яростью к потолку и завис там бесполезно.

— Чего он сказал? — спросил Берет. — Пришлет?

— Сказал, что ему на...ть... Что он еще скажет?

— Начальника требуем, — не предложил даже, а решил Матвейч.

— Начали, — кивнул Пеца.

И началось.

Несколько человек подскочили к двери и вместе с дежурным в азарте колотились в железную ее обшивку; неразборчивые крики, ругань, резкий свист — в ключья раздиралась смрадная пелена, затянувшая камеру, и разодранные лохмо-

тя кружили в поднятом невероятном шквальном вое. Шум этот не утихал, а все держался на невозможном каком-то уровне, и отдельные голоса, свисты, вопли были неразличимы в нем. Шум этот вселял в тело азарт жизни и движения: каждый ощущал чуть ли не гордость оттого, что он частичка этого грозного шквала. Грохотало уже и в других местах по продолу — это соседние камеры, не зная еще, что происходит, поддерживали веселым гомоном протестующую «девять-восемь».

Лязга кормушки не слышно было, но оттуда потянуло свежим воздухом, и шум утих, не исчезая полностью, а живя еще глуховатым ропотом в углах камеры.

Из кормушки торчали две головы и кое-как уместались три погона: два — с красной полосой вдоль, а один — чистый, видно, дубак позвал старшего коридорного, однако разобрать, к какому погону приставлена какая голова, в тесноте кормушки не было никакой возможности.

— А ну, прекратить шум, — выбросила одна голова.

«Начальника зови! Начальника! Жаловаться будем!» — в несколько голосов дыхнуло из камеры. — «Прокурору жаловаться будем... начальнику», — вразной летело из углов.

— Долбал я начальника, — выплонула белобрысая голова.

— Долбал я вашего прокурора, — поддержала чернявая и, поискав внутри чего-нибудь повнушительнее, уже в захлоп кормушки плеснула: — Не утихнете — «скорую помощь» вызову, мрази.

Об этом все время помнили. Старались забыть, но помнили всегда. Пара десятков мордovorотов, да с десятков овчарок, да баллончики с «черемухой», да полуметровые дубинки, по одной у каждого, — это и есть «скорая помощь», бригада усмирения, которая вызывается кнопкой с любого поста.

— Вызовет, что ли? — Голос Голубы подрагивал, но не страхом — это чувствовалось, — а с трудом сдерживаемой злобой.

— Вряд ли, — протянул Матвейч, — это ночью они сразу вызывают, а днем мимо начальника, видимо, нельзя. Думаю, что каждый такой вызов — ЧП у них, и регистрируется где-то, и днем мимо начальства не решатся... Мы ведь начальства и требуем.

— Б-блефуют волки, — согласился Пеца.

— Если что — со шконок не слезать, а наоборот: на самый верх все — там не достанут. А если начальник будет и кто сло-

во не так вякнет, кто поможет им хату под пресс кинуть — придушу падлу... — Берет уверенно взял инициативу, выбравшись в проход и оглядываясь по сторонам с веселым бешенством. Потом подмигнул Матвеичу: — Где наша не пропадала?.. — и, вприпрыжку на свою шконку, бросил хлестко: — Шумим, мужики.

Недавний шум не погиб бесследно, жил еще в общем возбуждении, во взвинченной издерганности движений, в незабытом еще восторге слитной могучей общности, и все это готовым горючим легко вспыхнуло и взрывно ухнуло по ушам новой волной, перекрывающей силой прежнюю, и, хоть услышать этого нельзя было никак, но явно чувствовалась обрывная замершая тишина по продолу.

Вадим замолчал, переводя дух, но от его вынужденного молчания не стало тише ни на йоту. Он видел беззвучно раскрывающиеся рты, беззвучно колотящуюся под мелькающими ногами решетку окна, беззвучно вбиваемые в железо шконок металлические кружки — нельзя было ни звука выделить из заполнившего все камерное пространство грохотогама. Вадим собрался с силами и заорал, но и своего голоса не услышал, а чувствовал только, что именно этого вопля ему и не хватало: вся его жалость к себе, к своей загубленной жизни, все несогласие его с целым миром, которому дела не было до погибающего Вадима, вся ненависть к каждому виновному в его несчастьях, в том, что ему плохо — Господи! Как плохо! Сделай же что-нибудь, Господи! Я же не могу больше, не могу-у-у... — все это вбирал в себя Вадимов вопль, вымывая из тела вместе со слезами, которых никто не видел, до которых никому не было дела; все это швырял Вадим в лицо своим врагам — сокамерникам? тюремщикам? забывшим его друзьям и подругам? самому Богу?.. — всем.

Шумовая волна ослабла, оставляя у двери свободное пространство, и это пустое пространство быстро катило по камере, заполняясь с другой стороны грохотом запоров и скрежетом раскрываемой двери.

В замершую камеру вплыл через дверной проем потный капитан — ДПНСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора), без фуражки, с закатанными по локоть рукавами форменной рубахи — красная повязка дежурного от этого сбилась чуть ли не к плечу, — с отстегнутым и болтающимся на заколке галстуком и не уместающейся в расстегнутом вороте

багровой шеей. За ним толпились в дверном проеме офицеры, ухмылялась знакомая рожа кума — все с дубинками; дальше в проделе маячили любопытствующие дубаки.

— Гражданин начальник, в камере «девять-восемь» — шестьдесят пять, то есть шестьдесят шесть человек. Дежурный — Антипов. — Дежурный, поддерживая трусы, стоял в проходе.

— Па-ачему нарушаете? Па-ачему не встаете? Встать всем, мрази! Па-ачему голые? На дежурного рапорт... — Кум услужливо записывал, а капитан продолжал выстреливать: — Я кому приказал — вста-ать как положено!.. Одеться как положено!..

На шконках зашевелились — уже не лежал никто, но и в проход никто не спускался, только Матвеич в трико и рубашке незаметно как-то оказался рядом с дежурным.

— Разрешите обратиться, гражданин ДПНСИ. — Матвеич выждал только, пока мутный взгляд капитана поймает его в фокус. — Если они все сюда повылазят, они нас с вами затолкают совсем — народу и много слишком, и народ все не больно воспитанный, не вам чета.

— Кто такой? — заорал капитан. Кум уже склонился, нашептывая.

— Осужденный Аронов, статья 153, пять лет усиленно-го, — оттарабанил Матвеич.

— А, антисоветчик... Опять бунтуешь? Рапорт на него!..

— Так толкан забился, гражданин начальник, мы — сантехника, а они нам — матюгами... — всунулся дежурный.

— Я, что ли, толкан вам чистить буду? Дежурный, почему толкан забит? Видно, кормят вас, мразей, без меры — толкан не выдерживает... — Свита готовно захохотала.

Капитан начал поворачиваться к выходу. И со всех сторон загремело: «хоть сам чисть», «собаки», «пусть холуи твои почистят», «тебя бы так кормили»...

— Ма-алчать! — заорал капитан, багровея. — Записать нарушение на камеру: голые, спят — лишить на неделю прогулки! Кто еще недоволен — выходи!

— Разрешите последний вопрос, гражданин ДПНСИ. — Матвеич почтительно стоял перед начальником. — Если вся камера откажется от пищи и начнется разбирательство, нам можно будет сказать, что все эти беспокойства из-за того, что вы отказались выслушать наши жалобы?

— Коллективные жалобы не положены.

— Мне можно будет сказать, что вы отказались выполнить свои обязанности и выслушать мои жалобы?

— Какие у тебя жалобы?

— Представители администрации позволяют себе грубое обращение, оскорбительные слова, мат, обращаются на «ты», постоянно унижают человеческое достоинство, что прямо запрещено кодексом. В камере забита канализация, что создает угрозу здоровью...

— Грамотный чересчур.

— Кроме того, в камере содержится недопустимое количество людей, нарушаются все санитарные нормы, люди спят на полу...

— Здесь не санаторий...

— Тем более что вы совершенно правы — здесь не санаторий и ваши подчиненные должны выполнять свои обязанности, а не прохлаждаться и, если забита канализация, — принять меры к исправлению и не вынуждать нас отрывать от важных дел...

— Прислать им сантехников, а на всю камеру рапорт и одеться всем!..

— Офицеры позволяют себе ходить не по форме, с засученными рукавами, напоминая внешним видом офицеров других армий, что роняет авторитет тюрьмы среди советских заключенных...

— У нас нет заключенных, у нас — осужденные.

— Тем более что приговоры находящихся здесь еще не вступили в законную силу и мы, как правильно вы заметили, даже не заключенные еще...

— У тебя все?..

— Весь день в камере нет воды...

— Вода днем — на баню...

— И не дают в достаточном количестве кипяченую, что создает угрозу...

— Все?!

— В камеру не дают газеты, что является прямым нарушением постановления идеологического совещания Политбюро от пятого марта восемьдесят пятого года...

— Па-ачему не дают газеты? — взревел ДПНСИ в коридор.

— Им давали вчера.

— Так то «сучку» давали, — не вытерпел дежурный.

— Идеологическое совещание постановило обязательное

обеспечение центральной и областной газетой, а выданная вчера тюремная газета не в состоянии удовлетворить...

— Обеспечить газетами.

— Так их нету, — оправдывался коридорный.

— В киоске купи, ебтит-твою-рас-туды!..

— Кроме того, некоторые офицеры накладывают на нас взыскания, не предусмотренные законодательством, например лишают нас прогулки или, наоборот, норовят послать куда подальше, вынуждая тем самым отвлекать прокурора...

— Все???

— Дежурные контролеры отказались вызвать сантехников...

— Вызовут сантехников, — заорал ДПНСИ, — я же распорядился.

— Но они сослались при этом на занятость, объяснив, что в рабочее время находятся с вами и с прокурором в интимных отношениях, совершая половые акты, что недопустимо, так как роняет авторитет...

— Что они делают?! — Капитан, казалось, лопнет.

— Они сказали, что ебали вас и прокурора...

— Что-о-а?!

— У меня все, гражданин ДПНСИ. Если мы так решили, я не буду писать ни начальнику, ни прокурору...

— Не спать днем! — Капитан не мог уйти не рывкнув, не оставив за собой этого последнего взлая. — А то я вас так разбужу!..

Из-за грохочущей запорами двери еще различалось удаляющееся «еб-тит-твою-рас-туды», а дежурный, приложив к кормушке ухо, шептал в тишину камеры: «Приказывает обеспечить водой, сантехниками и газетами, ебтит-нашу-рас-туды, чтоб мы сдохли...» Он отскочил от открывающейся кормушки, куда всунулась обиженная мордень белоголового дубака.

— Сдали меня, сдали, мрази... Ну я ты, морда антисоветская, приловлю...

Жаркая волна хохота ударила его в лоб и щеки, и он исчез, хлопнув кормушкой.

— Как думаешь, Матвейч, напишет он рапорта?

— Да брось ты, Голуба... Какие рапорты? — Берет возбужденно совал Матвейчу сигарету. — А хорошо ты его, Матвейч, оттянул... И откуда ты только помнишь чушь эту всю про совещания, да еще и с числами?

— А я и не помню, — Матвейч разделся и устраивался у себя. — Так ведь и он не помнит, и черт его знает, говорят они там про газеты или не говорят.

— Мужики, — сообщил радостно Ларек, — ничегошеньки я не понял, но проветрилось классно... Так будут толкан чистить?

Опять мощный хохот вспорол тишину.

Вместе со всеми смеялся радостно и Вадим, забыв, как необходим ему только что был толкан, который еще неизвестно когда прочистят, видя вокруг себя вполне дружелюбные лица и соединенный с этими лицами общей победой, да-да, победой, посрамлением врагов своих, которым не помогли на этот раз ни дубинки их, ни карцеры, ни все остальные удавки, что без числа у них... Значит, и здесь можно жить, можно выжить и вытерпеть, не надо только бояться, не надо стараться угадать и угодить... Ах, сладостное похмелье победы, вскруживающее слабые головы...

Камера заново накалялась, и, пока еще дышалось легко, со всех сторон доносился разнородный гомон — возбуждение падало медленно, как бы выталкиваясь густеющим жаром.

Вадим поймал сияющий взгляд Голубы, уместившегося снова рядом с Матвейчем, и, обнаглев сопричастностью к общей радости, приложил два пальца к губам, прося закурить, прося сигарету в эти два пальца.

— В зоопарке опять курева нет? — добродушно хмыкнул Голуба, бросая зажженную сигарету, и Вадим уверен был, что не охлестнет сейчас никто требованием покурить.

Он разминал сигарету и думал, что лучше бы ее притушить и запрятать — сегодня и без того с куревом везло, но накатила всегдашняя невозможность найти самое лучшее решение, и сигарета совсем уж бесполезно дымила в его вялой руке, попусту сжигая драгоценный табак.

— Приготовиться к прогулке! — рявкнуло из-за двери, и камера зашевелилась: со всех сторон, шурша одеждой, выползали в проход арестанты, скрипели шконки, кто-то искал тапки, у кого-то затерялась футболка... В проходе уже невозможно было протолкаться, а сверху все лезли и лезли замороченные оцепенением духоты и бездействия бледные, грязные, с ключьями волос на выстриженных в спешке макушках и лицах люди — все еще люди...

Резкими голосами дубаков за дверь и лязгом запоров началась операция по выводу камеры на прогулку.

Жильцы «девять-восемь» выскальзывали по одному в распахнутую настежь дверь, а дубак и дубачка громко отсчитывали количество. Дубак — не белоголовенький, а другой — сдавал поголовье, дубачка — выводная — принимала. Сегодня повезло, и пересчитывали камеру устно, не отбивая каждый счет поощряющим ударом киянки, но киянка у сдающего раскачивалась в руке, и потому проскользнуть в дверь старались не мешкая. Камера быстро освобождалась. В пустеющий проход спрыгнули Голуба с Матвейчем, потом — Берет, и последним уже, вразвалочку, двинулся к выходу Печа, но и он в дверном проеме уширил шаг.

Все выстроились вдоль стены по коридору в колонну по два: дубак оглядывал камеру — не спрятался ли кто, а арестанты переминались, с наслаждением вдыхая коридорную прохладу, цепко отмечая все происходящее вокруг. Вадим снаружи осматривал дверь камеры, поражаясь хитроумности сооружения с невероятным количеством запоров, зацепок и иных таинственных приспособлений, а более всего поражаясь, что его все это интересует.

— Калитка нравится? — Рядом стоял Ларек. — Домой бы такую, а? Гляди, вишь рычаги? Это чтоб на любой просвет открывать, и дальше сколько ни толкай — не сдвинуть...

— Командир, — окликнул Берет дубака, — калитку-то оставь приоткрытой — пусть проветрится — не убежит никто.

— Не положено.

— Ну, хоть кормушку...

— Не положено. — Дубак грохнул дверь и начал колдовать с запорами.

Снова долгий пересчет.

По коридору, из другого его конца, семенил к колонне заблудыш на кривоватых ножках, часто останавливаясь и снова принимаясь за трудную работу — ходьбу.

Его мать — директор то ли универмага, то ли и всего областного торгового центра — сидела в камере с того конца прохода, откуда сейчас приближался малыш. Сына она держала при себе, так как гуманные законодатели разрешали счастливым матерям не расставаться с детьми, если тем не более двух лет. В особо знойные дневные часы женщины начинали упрашивать

дубаков выпустить мальчонку в коридор, и чаще всего дубаки соглашались. Непонятно, что именно срабатывало: наталдыченнная с детства в уши истина, что детям у нас — все, что дети у нас — святое? или догадка о том, что ребенок-то не преступник и мать себе не выбирал? а может, и то, что малыш еще говорил и с трудом ходил и вряд ли на все готовые камерные мрази могли использовать его связным или заставить вынюхивать тюремные секреты по коридору? — неизвестно почему, но не первый уже раз на прогулке тусклые глаза арестантов натыкались на маленького человечка, на его запахнутый и слишком серьезный взгляд, и, видимо, отражались там, на свежей сетчатке, эти тюремные тени жалкими порождениями влажных стен — первые картины долгой жизни. Может, поэтому перед взглядом маленького узника старались выглядеть получше — обдергивали тряпки, распрямлялись и улыбались даже — точно перед объективом фотокамеры, но и точно, как объектив, взгляд навстречу оставался безучастно-серьезным, и улыбки тонули в этих глазах безответно.

Из-за поворота пролетел почтительный шелест, стряхивая с дубаков небрежную размеренность, подтягивая их, а следом вышагивал уже навстречу колонне маленький полковник — начальник тюрьмы с еле умещающимся громадным золотом трехзвездья на узеньких плечах. Недалеко от «девять-восемь» был его рабочий кабинет, и эта начальственная близость тяжело отзывалась на всех камерах продола, но и поощряла на громкие протесты при многочисленных притеснениях тюремщиков, боящихся начальственного гнева куда более, чем арестанты. За «хозяином» бочком семенили дюжие его заместители, почтительно стараясь уменьшиться ростом, что им каким-то непостижимым образом удавалось.

Полковник со свитой остановились напротив малыша, и властная рука, порывшись в кармане сверкающего мундира, выставила перед глазами заблудыша круглую жестяную красочную коробку. Майоры заулыбались, засветились, засияли крепкими зубами, тугими щеками, подмигивающими глазами. Скорее всего коробка была малышу хорошо знакома, так как он сразу же потянулся к ней, да и вообще, видимо, все разыгрывалось по заученному до черточки, до подмигивания этого майорского сценарию. Полковник открыл коробку и достал оттуда яркий леденец.

— Ну-ка, покажи, что ты умеешь. Покажи меня.

Малыш заученно расставил кривоватые ножки, выпятил живот, наклонил голову и начал стучать правым кулачком в раскрытую ладонь левой ручонки. Сделав все это, он набрал побольше воздуха и завопил:

— Явампокажу, — еще вдох, — бциць-васю-асьтуды...

— Молодец. — Полковник протянул леденец и уронил в выставленную грязную ладошку, а сзади майорское сияние стало еще ослепительней — казалось, щеки вот-вот лопнут и брызнет внутренняя, с трудом сдерживаемая радость.

— А теперь покажи коридорных. — В руке светился другой леденец.

— Непово-озено-мази, — протянул сразу же в ответ мальчонка и заработал вторую конфету.

— Товарищ полковник, — набрался смелости майор, что сиял слева, — он еще выучил тут...

— Он преступников выучил, — перебил сияющий справа, убедившись, что полковник слушает левого сияющего благоклонно.

— Покажи, покажи. — В руке дополнительная конфетка.

Малыш опустился на корточки и застучал кулачком по полу:

— Вовки-вовки-пидев-асы...

Колонна уже двинулась, закачавшись, и Голуба сделал большой шаг, догоняя остальных под взглядом посуровавших майоров.

— Вот так и мы все здесь, — проговорил Матвеич поравнявшемуся Голубе, — выкручиваем свой себе леденец.

Свернули налево в более узкий коридор и еще раз налево.

Дубачка шла впереди и у каждой решетки, перегораживающей коридор, сообщала: «девять-восемь, шестьдесят шесть», и дубак, карауливший решетку, пересчитывал на ходу; поэтому старались идти ровно, чтобы не останавливали лишний раз для пересчета — время прогулки уже началось. И еще один поворот, а там уже толстенная дверь, у которой все же дубак сбился, и всем пришлось вернуться назад. С третьего раза миновали и этот шлюз, за которым такой же узкий коридор с железными дверьми по обе стороны, но сверху не перекрытия, а частая решетка с деревянными мостками посредине, и сквозь решетку эту — небо, и все головы вверх сразу, в ослепительную синь; и сбились с шага,

заспотыкались, не обращая внимания на сапоги, грукающие над головой, на морду со щелочками глаз, на недовольный, но и незлобный окрик: «Кому гледись? Внись гледи...»

Прогулочный дубак распахнул дверь свободного дворика, и все втянулись в узкий пенал высоченных стен — так похоже на камеру, только без шконок, и все же не камера, а дворик, именно так вот ласково — «дворик», потому что над головой — не ограниченное ничем небо, и отовсюду ветерок, освежающе ласкающий заморенные тела, пробивающийся через все эти заборы и колючки. Частую решетку сверху и не замечаешь, — только подошвы сапог, в которые как бы вставлена сразу голова в пропотевшей пилотке, выглядят неприлично дико, паря в чистом небе.

Голова у Вадима закружилась, и он не смог больше стоять, задрал ее вверх, а добравшись по стеночке до угла, присел там на корточки, расстегнув и спустив к поясу рубашку. Солнечные лучи, смягченные порывами ветра, не сжигали, а только ласкали кожу, и все скинули футболки и рубахи, вбирая синеватыми плечами и солнце, и ветер, и не нарезанный тесными камерами воздух.

Еще несколько человек, как и Вадим, прислонились к толстым, ноздревато заштукатуренным стенам дворика, а остальные друг за другом двинулись быстрой проходкой по узкому, вытянутому в длину дворика кругу. Они карусельно мелькали перед глазами, разминая отвыкшие от движения мышцы, взмахивая руками, приседая на ходу, и от их движения у Вадима снова все поплыло перед глазами.

Только Веселый и не сидел, и не ходил в круге, а метался по дворику, сталкиваясь со всеми, мешая, но не вызывая раздражения, а встречая только снисходительное понимание. Ему, ошалевшему после месяца карцера, истосковавшемуся по свету, движениям и бесконечному разнообразию возможностей, хотелось все их сразу же перепробовать. Он стучал в стены и кричал при ответном стуке: «Какая хата?», — но и глуховатого ответа не выслушивал, а переключался сразу на подбегающего охранника и орал ему вверх: «Курить давай, курить, волчара», — и снова орал, выкликая из других двориков какого-то Тракториста, а на угрозы дубака из-за двери, который все шуршал дверным глазком, высматривая непорядок, выкрикивал: «Че глядишь? Че глядишь? Дубачку лучше позо-

ви — я ей чего покажу». Один раз дверь все-таки распахнулась, и взмокший дубак заорал: «Прогулку сейчас прекращу», — но в ответ ему Веселый заулюлюкал: «Ты только рапорт вправе накатать, да отсосать у меня, волчара», — и столько напора было в этом выхлестывающемся веселье, в звонком хохоте всего двора, да в дружных криках из соседних разгороженных клеток, что молоденький дубак не решился вызвать выводную и прекратить прогулку, хотя вполне мог бы — этот, молоденький, впервые заступивший по прогулкам, еще не осознал, что он все может; еще не почувствовал свою чуть ли не абсолютную власть и не сдерживаемую ничем силу, впрочем, он еще не почувствовал главного — что вся эта грязная толпа уже и не люди вовсе, а стадо мразей, на которых переводится народное добро, переводится впустую, а надо бы их всех — в расход, да вот наши слишком гуманные законы не позволяют, и поэтому столько и разводится всякой нечисти.

Круг распался, и все больше останавливались вдоль стен, стараясь не мешать остальным. К Вадиму подошел Голуба.

— Слышь, что скажу, Саламандра. — Он присел рядом на корточки. — «Косяки» порешь один за одним. Присматривайся...

— Ну какие косяки, какие косяки? — зачистил Вадим. — Они как зацепили меня сразу — так и жизни не дают...

— Ты умыться сегодня опять не успел...

— Да какое кому дело? Лишь бы ко мне цепляться — в свинарнике этом кому дело до моего умывания?

— А если дизентерия? И всю хату на карантин — без прогулок, передач, ларька? И так ведь хата на голяках...

Подошел Матвеич.

— Учишь Саламандру из этого польмя целым выбираться?

Вадим вскинулся, но Матвеич глядел участливо, без насмешки.

— А ты думаешь в этом свинарнике всю жизнь провести? — Вадим боялся, что Матвеич отвернется, не дослушав. — Здесь нельзя жить — здесь только терпеть можно, терпеть и ждать...

— Терпи... Терпи, друг-голуба, — поднялся и Голуба, потягиваясь, — но постарайся человеком остаться.

— Ты попробуй иначе, если, конечно, принимаешь чужие советы... — Матвеич смотрел мимо, но говорил Вадиму. — Постарайся вытравить из себя все, что за этими стенами: жена,

дети, нормальная жизнь... Все забудь, не допускай — от этого только жалость к себе да слабость. Прими это все как единственную свою жизнь, и когда окрепнешь в ней — тогда впусти помаленьку тех, кто тебя любит, и тех, кого сам любишь, — их только, да старайся жить так, будто они все время смотрят на тебя...

— Так все одно без толку, — попробовал поддеть Вадим.

— Без толку. Только это не важно.

— А что важно?

— Что ты на глазах.

— У кого?

— У меня, у Голубы, у Бога...

— У ментов...

— И у ментов...

— Ну и что?

— А значит, улыбайся. Улыбайся, Саламандра, на нас смотрят...

Нет, непонятно все это было Вадиму, чушь все это — нельзя здесь жить, вытерпеть только надо, а там уж он свое наверстает... Чушь! Только путает все политик этот. Тут вспомнилось, что давно хотел спросить Матвеича про его статью, любопытно ведь...

— Матвеич, а у тебя же частное предпринимательство... Я почему знаю? Мне тоже 153-ю клеили... Так почему тебя антисоветчиком зовут?..

— Так я книги размножал, и, как утверждает суд, антисоветские...

— И загонял?

— Суд решил, что загонял.

— Понятно. Слушай, а это выгодно — книги сбывать? Сколько заработать можно?

— Как повезет — можно пять, а можно и семь... Я вот — пять...

— Закончили прогулку, — грянуло за дверью, и в распахнутом уже проеме стояла дубачка-выводная. — Некогда мне с вами, — пресекла она вялый ропот. — Выметайтесь побыстрому.

— Не прошло еще время, — попытался спорить Берет.

— Твое время давно прошло! Ишь, умник — указывать мне... У тебя часы, что ли, есть?..

Спорить было бесполезно, и возражали, и роптали без азарта, а только чтобы затянуть время. Так и пошли медленно в проход, через дверь, одеваясь на ходу, выстраиваясь неспешно в колонну и долго выравниваясь. Вадим оказался чуть ли не впереди с Кадрой, перед ним неспешно оправлял футболку Голуба, а еще через одного Берет что-то шептал стоящему рядом Матвейчу.

Двинулись, натываясь друг на друга, еле волоча ноги. Из тюремного коридора дохнуло душным жаром, и, хоть и готовились внутренне к этому — не в первый же раз, — все равно переход из свежего воздуха в тюремную затхлость был неожиданным, и представить невозможно было, что эта вот затхлость недавно совсем, из камеры, казалась недосягаемой мечтой. Окриков дубачки не слушались и еле двигались, постоянно путая счет и не огрызаясь даже, внимания не обращая на выходящих из себя дубаков. Поворот, еще поворот, и свой продол вывернул под ноги и в глаза липкими стенами, скользким от проливающейся баланды полом, кислым свиным запахом.

Последний пересчет, и выводная, сдав коридорному в сохранности все стадо, понесла прочь мощное свое тело, подрагивая под тугой форменной юбкой крепкими ягодицами; подрагивая не для них, задохликов, их она и за мужиков не считала, а для игриво чмокающих дубаков, слюняво облизывающихся вслед.

Коридорный развинчивал дверные запоры и, наконец, распахнул дверь, но сразу отскочил. В коридор выплеснулась грязная вода из камеры, а там по сплошь залитому полу болтались какие-то тряпки, колыхалась бумага, поплавокми выныривали испражнения, и все это, накаленное в духовке камеры, било даже не в нос, а в глаза, вонью выдавливая из них слезы.

— Закрывай, гадина, не пойдем! — крикнул Берет, прибившийся к самой двери. — Начальника зови!

Дубак глянул еще раз в камеру, перегнувшись, чтобы не наступить блестящим ботинком на нечистоты: там из унитаза, бурля и клокоча, все прибывала вода: три этажа сверху, три камеры над «девять-восемь» проливали свои толканы неожиданно подошедшей водой в надежде избавиться от застоявшейся вони.

Дубак захлопнул дверь, с опаской поглядывая на сгрудившихся вокруг него преступников: он был растерян, понимая, что не войдут они сейчас в камеру, и не зная, что дальше делать, так как они обязаны были войти, а он обязан был их туда вогнать и запереть. Как назло продол был пуст, и не видно было старшего, покинувшего свой пост у поперечной решетки коридора.

— А ну к стене все, — рявкнул дубак, размахивая киянкой и ожидая, когда появится кто-либо, — он не мог отлучиться, оставив в коридоре без присмотра преступников.

— Давай, мужики, к стене, — бросил Голуба, — и тихо. В хату не входить, даже если по одному будут загонять, по списку, — сдохнем там. И без базара...

Все растянулись у стены, и Матвеич предложил:

— Давай, мужики, сами хозяина звать — может, он еще у себя.

— А ну, молчать! — рявкнул дубак, затравленно оглядываясь посреди коридора.

— Это ж ДПНСИ распорядился воду дать, — тихонько объяснял Голуба Берету, — а педерасты эти, не разобравшись, что он говорил про кипяченую, и забыв про сантехников...

— Матвеич прав — хозяина зовем, — решил Пеца. — Давай, мужики.

— Ну, начали... — выдохнул Матвеич, — хо-зя-и-на...

Поддержали Берет с Голубой, потом еще несколько голосов, и через пару секунд мощный слитный голос скандировал: «хо-зя-и-на-хо-зя-и-на».

«Молчать! Сесть всем! Сесть! На пол, мрази! На пол!» — в несколько глоток заорали разом набежавшие со всех сторон дубаки. — «Замолчать! Садиться!» — Они металась вдоль выстроившихся у стены арестантов, размахивая дубинками и киянками, расстегивая притороченные к поясу чехольчики с «черемухой», но не решались ни их достать, ни нажать кнопку тревоги рядом, над столиком старшего коридорного у решетки, перегородившей продол. Сам старший орал что-то в телефон, а дубаки все металась, пытаясь своими криками заглушить дружное «хо-зя-и-на», но где было им перекричать столько глоток, и слитный голос настойчивым кулаком стучал в стены тюрьмы. Появились семенящие офицеры, подкумки, но их перепуганных голосов и вовсе слышно не было, и по

тому, как все они избледнели, метаясь вдоль серой шеренги («ну точно крысы», — шепнул Берет на ухо Вадиму: не потому, что — Вадиму, а надо было сказать, из себя вытолкнуть это наблюдение, и Вадим, уцепив глазом пробежавшего лейтенанта с капельками пота над губой, сам увидел — крысы), по нерешительности и перехваченным страхом голосам, — даром, что громкие — понятно было, что правильно зовут: хозяин здесь еще, его только и боятся холуи, только страх перед ним мешает расправиться немедленно с протестующей камерой.

И открылась — невероятно, но открылась угловая дверь, выпустив маленького полковника. Тут же окружила его свита из нашедших свое место тюремщиков, и в мертвячей тишине хозяин приблизился к «девять-восемь», до фуражки наполненный свирепостью, которую и сам не знал еще на кого через некоторое время опрокинет. Что-то шептали уже в уши, подобострастно склоняясь, а он все молчал и поймал, наконец, в озверевший зрачок коридорного.

— Отказываются зайти в камеру, товарищ полковник, — вытянулся коридорный, — бунтуют, а все этот ихний политик, — указал он на Матвеича.

— Гражданин начальник, — Матвеич сделал шаг вперед, — посмотрите в камеру, будьте добры. Мы целиком в ваших руках — потому и звали вас, что только ваша рассудительность...

Хозяин брезгливо помахал вытянутой вперед рукой, и серая шеренга подалась в обе стороны, освобождая ему проход к двери. Он заглянул в глазок и отошел, выискав опять Матвеича из одинаково серых лиц.

— Мы уже обращались к гражданину ДПНСИ с тем, что в камере забита канализация, — он обещал распорядиться и, к сожалению...

— Ты думаешь — я вам буду там убирать?! — Голос хозяина густел гневом. — Почему отказались войти в камеру? Или думаешь, у меня для вас другая есть? В подвале — другая! В карцер захотели? Немедленно в камеру, и вылизать все там, чтобы порядок был!

— Гражданин начальник, — краем глаза Матвеич видел, как коридорный приближается к двери, чтобы открыть ее, — я понимаю, что свободных камер для нас нету, тем более что в стране полным ходом идет перестройка, но вы в силах найти прекрасный выход из создавшейся нелепости... — Матве-

ич заговорил быстрее. — Там ведь раскаленная печь, да еще при всех этих испарениях, заявляю, как врач, все это грозит эпидемией. Распорядитесь отправить камеру в прогулочный дворик, пока дежурный все уберет, и пока все проветрится, а за это время и сантехники почистят канализацию...

Хозяин в это время заметил, что его франтоватая, не форменная совсем обувь выпачкана в луже под дверью, и зашипел на уже открывающего дверь дубака: «Па-че-му в коридоре грязь? Почему не следишь за чистотой твою-рас-туды?!» — Дубак в полном смятении не знал, что делать с дверью, понимая, открой он ее — новый поток выплеснется в коридор, и не осмеливаясь предложить начальнику отойти подальше.

— Гражданин начальник, — выдвинулся снова Матвейч, — ваши подчиненные все время злоупотребляют вашим доверием, — он понизил голос, — я спал и почти ничего не видел, но уверен, что преступники отправили сегодня недозволенным путем заявление, и хочу помочь вам пресечь эту злобную выходку...

Мутноватые старческие глазки уставились на почти шепчущего арестанта, силясь понять, что именно он нашептывает.

— Кто отправил? Какое заявление?

— Они пытаются жаловаться в Москву на издевательское обращение персонала, не предусмотренное судебным приговором.

— Кто?

— Ваши подчиненные, заставляя терпеть физические страдания и нравственные унижения, не только нарушают законы, но и сознательно провоцируют жалобы в прокурорские и партийные органы, что в настоящее время повсеместной проверки кадров является прямым подкопом под вас лично...

— Я спрашиваю, кто?!

— Офицер при обыске злобно сорвал со стены портрет Горбачева, демонстрируя тем самым свое противодействие перестройке...

— Кто? — ревел уже совсем сбитый с толку полковник.

— Но ведь не положено ничего на стены вешать, — вмешался кум.

— Он не велел снять, как положено, а сорвал, крича: «Как смеете вешать на стену мразь!» — и он действительно это все кричал, гражданин полковник...

— Я не про Горбачева это кричал, — снова влез кум.

— Гражданин полковник, ваш подчиненный пытается вас обмануть, потому что там больше никто не висел...

— Кто такой? — рывкнул хозяин, тыча пальцем в Матвеича. — Ты кто такой? Ты?

— Осужденный Аронов, 153 УК, пять усиленного, гражданин полковник, как вы и сказали, дежурный все вылижет — ведь вы совершенно правы, что должен быть порядок, и прикажите, чтобы мы ему не мешали, вывести нас, пока все прорвется, в дворик, и чтобы поток не повторился, сантехников...

— Товарищ полковник, — вспомнил кум, — он все врет: никакой он не врач...

— Гражданин полковник, — перебил Матвеич, — можете сами убедиться, что начальник оперчасти манкирует своими обязанностями, не зная даже личных дел осужденных. Я врач, и с немалым опытом, и ситуация чревата по вине ваших некоторых подчиненных серьезными заболеваниями. Велите открыть кормушку...

Видно было, что полковник недоверчиво посматривает то на Аронова, то на своего заместителя по оперчасти, решая, кто врет, но весь опыт не давал предположить подобной явной дерзости в преступной мрази, и в это время коридорный, поняв заминку начальника по-своему, открыл кормушку. Полковник произвольно сморщил нос и замахал рукой, закрывай, мол.

Чувствовалось, что опять свершается немислимое чудо, и чаша весов начальственного глубокомыслия склоняется в сторону преступных мразей. Голуба с испугом смотрел на Матвеича (все знали в камере, что никакой Матвеич не врач, и онемели от его рискованного блефа). Вадим же, оказавшись рядом со все еще запертой дверью, уставился на открытую шторку глазка — никогда еще он не глядел в камеру через глазок, смелости не хватало, даже оказываясь рядом с этой или чужой дверью, повернуть рычажок и открыть шторку, а здесь — открытая после начальственного глаза манила к себе; Вадим прильнул и увидел всю камеру, как видит ее дубак, поразился охватности обзора, но и ужаснулся неостановленному еще затоплению, нечистотам, густо плавающим среди мусора (хорошо, что не он сегодня дежурный), и замер, углядев свой матрац — еще не плывущий, но вытолкну-

тый в центральный проход и развернувшийся, и, конечно же, пайка уже выпала из разворота, окунулась в извержения и пропала, совсем пропала, его кровная пайка, его хлеб, экономно оставленный на самые голодные часы, граммы его жизни и здоровья! Яростная пелена застлала глаза...

— Ублюдки! Палачи! — заколотил Вадим в запертую дверь камеры, и ничего уже не видя за пеленой слез и ярости. — Фашисты! Фашисты! — ревел он, повернувшись и качнувшись в коридор, не замечая, что шаг, сделанный им, — шаг навстречу «хозяину». — Фашисты! — орал он, облегчая отчаянье свое в этом крике и в этой ненависти, двигаясь на хозяйна и не видя ничего залепленными горем и яростью глазами.

Полковник шагнул назад и еще назад и, повернувшись, в два прыжка доскочил до поперечной решетки, ловко нырнув в распахнутую калитку, и оттуда уже нажал кнопку тревоги.

Замигали красные лампочки по коридору, и завывла, затеребила внутренности сирена, а под ее воем, поощряемые бегством начальника, шмыгнули в разные стороны дубаки и офицеры, оставляя шестьдесят шесть потерявших голову арестантов под беспощадным, все переворачивающим взывом. А по лестнице с грохотом ломилась уже «скорая помощь».

Первыми в услужливо распахнутую калитку поперечной решетки впрыгнули здоровенные серые овчарки, а следом неслись распаренные «санитары», и за ними, как за танками, — осмелевшие дубаки, и кум семенил рядом, показывая пальцем на Матвеича.

Благодаря этому указующему персту Матвеича смела первая же волна — две могучие овчарки свалили его на пол и рвали тряпки, хватывая живое, откатывая обученным напором слабое тело подальше от всей серой массы. Берет бросился на помощь, отшвырнув ударом ноги кого-то из мордоротов, а сзади хрястко вмазал в широкую челюсть санитаря Голуба, прикрывая спину Берета, но — и только. На головы их, на спины и плечи обрушились дубинки, а в лица выстрелил снап «черемухи», и бесполезно было уже мотать головой, материться, месить кулаками пустое пространство — их свернули, сшибли на пол и уволокли по полу, удобно скользящему под телами, благодаря вечно проливаемой баланде, уволокли, все еще стараясь попасть ногой или дубинкой по извивающимся телам. Дверь камеры была уже распахнута, и, ошалев-

шие от страха, сами бросались в спасительное нутро вонючего укывища, а остальных загоняли, оглушая дубинками и сводя с ума зубами людоедов-овчарок. Вонючие нечистоты выхлестывали в коридор, шлепали по ним сапоги «санитаров» и ботинки дубаков, но в камеру ни те, ни другие не входили, забивая, вгоняя в раствор двери мечущихся ослепленных задохликов. Последним вогнали в камеру Матвеича, оттащив овчарок, прыснув в лицо «черемуху», сапогами направляя ничего не видящего арестанта в дверной проем. Шлепая по заливающим ноги нечистотам, Матвеич обернулся к захлопнувшейся двери и заколотил в нее, заорал:

— Объявляю голодовку. Требую прокурора. Отказываюсь от пищи!

— Хоть сдохни, — ответил равнодушный молоденький голосок.

Вадим всего этого уже не видел. Его, забившегося между коридорной стеной и распахнутой дверью камеры, выдернули сразу же и погнали по продолу вслед за волочачимися телами Берета и Голубы, погнали, держа за локти, подталкивая сзади широкими собачьими лбами, не давая опомниться. Все его силы уходили на то, чтобы верно угадать направление скорого бега, не обозлить мешающим движением, не навлечь непонятливостью или нерасторопностью лишнее недовольство собак и их хозяев. Задыхающегося Вадима остановили в непонятном кабинете, стены которого все еще ходили ходуном, толкнули в дальний угол, и он бы упал, если бы не боязнь, что это его падение не понравится, отзовется ударом ноги по исходящему ужасом телу, приблизит жаркое дыхание овчарок. Влетел кто-то с звенящими в руках наручниками — никогда не видя их вблизи, Вадим их сразу узнал, — и вот уже руки арестанта, подрагивающие худые руки сами тянутся к железным браслетам — только не бейте, я сам, только скажите, что от меня нужно, — я сам.

И повезло, невероятно, но повезло, оставили одного, так и не ударив ни разу — пинки да ругань не в счет, — и теперь уж, наверное, пронесет — пройдет озлобление, сейчас главное — подольше побыть одному; пусть все успокоится, а его лишь бы пока не трогали, забыли, и он посидит здесь в уголке, не мешая никому, пристегнутый левой рукой к батарее отопления, неудобно немного, но ничего — он потерпит...

Вадим утишал в горле колотящееся сердце, успокаивал, как бы обдувал себя, усмиряя пляшущие стены и возвращая на место проваливающуюся в темную яму лампочку. Сидеть на полу было неудобно, но изменить положение невозможно, и Вадим ерзал, вздергиваясь всякий раз болью в запястье. В этом пустом кабинете с одним столиком и привинченной по-одаль табуреткой воняло почему-то так же сильно, как и в загаженной камере, и Вадим сначала крутил головой, силясь понять, откуда шибает этот клоачный дух, а потом и понял — от него самого: скорее всего, там еще, забившийся за дверь, скованный надвигающимся ужасом, он и не заметил, как внутренности его, не сдерживаемые более сознанием, сами позаботились о себе; а он и не понял тогда, почему вдруг по ногам прошлось жаром. Сейчас от всего пережитого только что, от острой жалости к себе, пристегнутому как... как... — он не находил точного сравнения, — от обгаженности этой своей, от униженности и непереносимости унижения Вадим разрыдался: его колотило, и слезы заливали лицо, но из горла выбивались не плачущие звуки, а звериные какие-то взывы с зубовым ляганьем, и от этих рыданий отказали последние тормоза — по ноге опять потекла горячая влага, а он все колотился, затягивая, зажимая железный браслет...

Потом рыдания перестали корезить его обессиленное тело, и только редкие судороги да громкая икота при попытке вдохнуть поглубже остались от недавней истерики. Так он и сидел, успокаиваясь, прислонясь спиной к батарее, с высоко вздернутой левой рукой.

Теперь он старался не двигаться, обжигаясь каждым движением мучительной болью. Казалось, рука распухает, становится непомерно большой, вытесняет все, и ото всего его тела остается только одна огромная рука... Вадим открыл глаза и скосился вверх — браслет намертво впился в запястье, и в этом месте пульсировала нестерпимая боль, разносясь по телу, отдаваясь в плече, затылке и пронзая даже до пальцев ног.

Вадим начал тихонечко подвывать, чутко вслушиваясь в себя — вроде бы помогло, и он завыл сильнее, застонал с переливами все громче и громче, а потом и во весь голос, привпуская ярости; но боль, как бы попятившись от первых звуков, замерев в изумлении, сейчас уже опять накатывала,

заполняя все тело, заставляя теперь его замереть. Вадим перевел дыхание и заорал во всю мощь, да еще и заколотил правой рукой по полу, стараясь выгнать боль из тела, и, вспоминая ежесекундно, где он и что с ним, тем же ором призывая мучителей своих: ведь не могут же они так издеваться, ведь никто не может так издеваться над человеком, просто о нем забыли и сейчас придут...

Что-то давнее напоминало колочение его по полу, что-то бывшее уже, и в старании вспомнить Вадим замолчал даже и замер, начав в тишине тихонечко постукивать ладошкой в пол.

Из немисливо давней жизни всплыло требуемое воспоминание, стоило ему только чуть наклонить голову, как бы прислушиваясь к хлопкам собственных ладоней, да выдохнуть, резко раздув ноздри.

...Под вечер, когда не хотелось уже никуда идти, позвонил Костя и плачущим, потерянным совсем голосом твердил только одно: «Выручай, старик». Требовалось срочно отыскать Ашота, давнего Вадимова компаньона, с которым они разбежались с год уже. «Понимаешь, бес попутал, — объяснял Костя. — Увидел у него в машине мартышку, и так она симпатично обнимала старика за шею, что захотелось и себе заиметь, ну и уговорил продать. Знаешь ведь, как у нас: захотел — и чтобы сразу же, и напредставлял себе, как все будут тихо исходить завистью — не «водолаз» какой, которые у всех уже есть, а своя мартышка... В общем, за штуку тут же и купил. Ашот, сволочь, смеется и ошейник с цепочкой дает — дарю, говорит, а я и не понял его. Притащил мартышку и бабе своей говорю — радуйся... Второй день вот радуемся... Это же ужас, старик, это хуже землетрясения, а прибить — рука не поднимается. Этот шимпанзе чертов мне такой разгром устроил — будто банда грабителей побывала, ну да черт бы с ним — животное, он же дрожит круглосуточно, а у меня дети, да и жена... А орет как! — хоть из дому убегай, а гадит, будто и не маленькая мартышка, а слон... Выручай — уговори Ашота забрать, просто забрать, я же не бабки вернуть хочу: сделка есть сделка...» Вадим вызвонил тогда Ашота и заехал за ним, а уж седовласый патриарх околосаконной коммерции в машине от души повеселил Вадима. Выяснилось, что шимпанзе этого Ашот уже четыре раза продавал падким на экзотические покупки молодым дельцам. Так, смеясь, и вошли в гостиную Ко-

сти, в которую Костя вложил примерно годовую свою прибыль, что составляло вполне кругленькую сумму, но не в привычках Вадима было считать чужие доходы... Новое Костино приобретение сидело пристегнутое на короткой цепочке к батарее и колотило сморщенными ладошками, которых было вроде даже более четырех, по загаженному паркету: а до этого, как было видно, привело в негодность большинство приобретений огромной комнаты. Гарнитур был испорчен основательнее всего, да и остальное все придется менять. Вадим с интересом разглядывал внутренности мягких диванов в стиле Людовика какого-то номера... «Дайте-ка мне простынку», — брезгливо сморщил нос патриарх — запах и вправду был малопривагоден для дыхания. Костя услужливо протянул здоровенную махровую простынь, и Ашот бережно укутал в нее свое сокровище, после этого только отстегивая цепочку, чтобы рвущееся к нему со всех сил создание не измызгало дорогой костюм. «Только, пожалуйста, Ашот, не говори никому про эту нашу, так сказать, сделку. — Костя заискивающе суетился вокруг, предлагая выпить или поужинать. — Засмеют ведь». Они не стали задерживаться и ушли, а Вадим просто еле сдерживался от хохота: он хорошо знал Ашота, нет, не ради нескольких штук Ашот все это затеял, а именно для того, чтобы повеселить народ. Косте теперь придется туго, а значит, и доходы резко упадут: деловой человек не должен становиться посмешищем... Шимпанзе попискивал на коленях Ашота и норовил высвободиться из простыни, но Ашот держал крепко — у него не высвободишься...

Сам Вадим все еще стучал ладошкой по полу и, заметив это, засмеялся: сначала тихонечко, а постепенно все громче, не в силах уже остановить свой страшноватый смех, ставший скоро почти беззвучным, с содрогающими всхлипами, дергающий все тело, не останавливаемый даже болью, дергающей все то же измученное тело — совсем ненужное, от которого одни неприятности, которое все требует от Вадима, а что от него можно сейчас требовать? что он может дать несчастному своему телу? Господи! Где же ты?.. Ну разве можно так измываться над человеком, Господи! Лучше уж умереть, только чтобы не больно... Люди, спасите... Есть здесь люди?!

Невероятно, представить невозможно, чтобы Вадим в этих условиях уснул, но нависших над собой кума и дубаков он

увидел сейчас только — после того, как дубак тронул его носком ботинка, и, значит, спал или в забытьи был, но на какое-то время выключился...

— Живой — что ему делается, — поморщился дубак. — Вона, изгадился как...

— Раскоцай, — приказал кум, и дубак отщелкнул браслеты.

Странно, но боль не ушла, как ожидал Вадим, а осталась там же, и облегчение было в том только, что можно было шевелиться и даже встать, но встать Вадим не решился, не зная, как это понравится глядящим на него.

— Вставай, ишь расселся, — пнул кум, и Вадим кривобок поднялся, бережа наполненную болью руку.

Подчиняясь кумовым командам, Вадим вышел, и повернул, и дальше шел, не понимая, куда его ведут, и умоляя кого-то, чтобы не в подвал: только не это, хотя и сам не мог сказать, почему так боится подвала, ведь трудно вообразить даже, что может быть хуже, чем уже было, конечно же, не может, и, скорее всего, боязнь подвала — это боязнь перейти для тюремщиков в иную категорию; стать для них тем, с кем уже ни о чем договариваться не надо, стать для них злостным и лишиться надежды даже, что все еще может как-то обойтись, как-то устроиться...

— Стой здесь! Лицом к стене! — дважды пролаял кум и скрылся в дверях кабинета.

Вадим там и застыл, где указано было, боясь повернуться даже, не решаясь осмотреться, где он, и только глазом косил по куску стены да по прикуривающему рядом дубаку.

Но одновременно все эти беспокойства и волнения как бы не касались уже Вадима. Это тело его, совсем отделившись, совсем не надеясь уже на Вадимово заступничество, само привычно сжималось, привычно старалось угадать нужное движение, нужный жест, подрагивало надеждой угодить и все сделать правильно, а сам Вадим не замечал ничего и не мог ничего заметить — его как бы не существовало уже; нет, он, конечно, будет еще кричать, если больно, и будет умолять о чем-то, и будет еще разные слова произносить, но только на самом деле и это все будет делать не он, а без его участия будет защищать себя его истерзанное тело. А он сам — то, что в нем иногда внутри болит и мучается, — душа

его — уже и не присутствует при всем этом, душа его все еще ворочается там, на грязном полу у батареи, или, может, на грязном паркете в Костиной гостиной, и не пережить ей этого, не выжить ей после всего, что Вадим взвалил на нее и заставил испытать... Видимо, для каждого человека есть свой предел унижения, и Вадим свой уже пережил...

Вадима завели в кабинет, и там за столом, колюче растопырив локти, сидел маленький полковник, начальник тюрьмы, пожелавший увидеть лично ту мразь, которая его испугала, хотя, конечно же, не испугала, а позволила продемонстрировать всем выдержку и умение молниеносно принимать верные решения. Самое же верное — не вымещать злость на этом, уже обделавшемся со страху ублюдке, чтобы никто не мог сказать, что он мстит за пережитый испуг, ведь не может он мстить такому вот недоноску, тем более что и испуга-то никакого не было; самое верное — растоптать этого мерзавца, выдавить из него все, кроме страха, покорности и раскаяния, ебтит-его-рас-туды.

Вадим кивал, бормотал что-то, старался быть понезаметнее, угодливо улыбался, снова шел за кумом, теперь уже в его кабинет, и там опять кивал, улыбался, соглашался, вовремя изображал скорбь и раскаяние и так преуспел, что заметил вдруг рядом медсестру, осматривающую его иссиненную кисть и смазывающую чем-то, от чего боль сразу отступила. Что-то Вадим подписывал, какую-то бумагу ему читали, а потом опять повели долгими переходами и всунули в тесный бокс, прозванный арестантами за свою непомерную высоту при крохотном квадратике пола стаканом. Там его наконец оставили одного.

Вадим потыкался в шершавые стены и свернулся на полу, подгибая половчее ноги — даже полусидя ноги вытянуть было некуда, да и спине больно было упираться в ноздреватые неровности стены. Вадим долго устраивался, укручивался, пока не затих, не замер, свернувшись на удивление удобно. Ничего ему сейчас не хотелось — единственно только: чтобы никто не трогал, чтобы забыли о нем, оставили в покое. Выпотрошенный пережитыми потрясениями, Вадим безучастно лежал свернутой кучей грязного тряпья, и только раскрытый глаз с удивительным вниманием рассматривал пятнышко истертого пола прямо перед собой. Здоровенный та-

ракан вступил на эту видимую территорию, зашевелил гигантскими усами, почувствовал диковинную необычную преграду и, увидев в искривленном огромном зеркале зрачка перед собой кошмарное чудовище, бросился наутек, исчезнув мгновенно из обозримого пространства.

Вадим прокрутил в себе все, что произошло с ним после освобождения из наручников. «...обязуюсь беспрекословно выполнять все требования режима...» — вспомнилось ему из только что подписанной бумаги, и он усмехнулся непроизвольно тупости тюремщиков, собирающих такие вот подписки зримым свидетельством раскаяния; а совсем уж дико упорство тех, кто отказывается подобную чушь подписать — что толку от их упорства?.. Что толку?.. Еще какая-то бумага никак не хотела выскользнуть из памяти, что-то показывал кум, что-то связанное с женой... Ах да — исполнительный лист — при том, как ее Вадим обеспечил, ей еще чудятся алименты отсюда? Теперь-то ясно, почему все это время не было от нее никаких известий. А он думал, что она развелась с ним не всерьез, а только чтобы конфискация была поменьше... А как он бесился, получая передачи от матери из деревни — жалкие банки консервов, которые, передавая, вскрывали полностью, и хоть ешь все сразу, хоть выбрасывай... Он ругал старуху, что она своими передачами всегда ровно к первому числу перебивает передачи жены и выставляет его консервами этими на посмеище, не передавая даже курева — всегда она боролась с вредной привычкой... Но и стыдно ему сейчас не было за эту свою несправедливую злость к матери, все чувства его омертвели, не отзываясь никак на воспоминания и на все, что осталось у него в жизни... Что толку? — равнодушно выстукивало в висках, и в этом дурацком присловье, так часто слышанном им в камере, вдруг открылся мудрый смысл: самый мудрый из всего известного. Эти два слова при монотонном их повторении не только раскрывали истину, но и вбирали в себя все тревоги и переживания, действовали гипнотически и успокаивающе... Что толку?.. Что толку?.. Что-толку-что... — и действительно ведь, какой толк во всем этом колготении, да и в жизни самой, если появляется вдруг какой-то Костя, раздувшийся на женском импортном белье, и приковыляет тебя блестящей цепью к батарее?.. Что толку?.. Что-тол-ку-что-тол-ку-что-тол...

Про Вадима забыли. Обед, суета, пересменки, так и не

подписанное «хозяином» постановление на карцер, оформление обоснованности вызова бригады усмирения. Кум закрутился и никаких распоряжений не оставил, и только уже после ужина в вечернем пересчете снова забегали дубаки по камерам, готовые в панике объявить и тревогу (побег). Несколько раз все камеры продола выгоняли на пересчет, потом проверили по карточкам и определили недостающего; долго созванивались с кумом, и уже перед отбоем взмыленные всей этой нервотрепкой дубаки распахнули шипастую дверь «стакана» (чтобы не колотили по ней изнутри, какой-то остроумец придумал наварить на двери боксов сетку острых шипов). Подняли Вадима пинками, и он все никак не мог очнуться, хотя гнали его по коридорам во весь опор.

...Вадим помялся у двери камеры, стараясь не смотреть, на свесившиеся отовсюду неприязненные лица, и наконец, боком, неловко двинулся к своему месту.

— Ты куда, падла? — перед ним стоял в проходе Веселый, а дальше маячил Пеца, и Вадим зажмурился, не зная, чем еще заслониться от нового кошмара.

— Не бей, — выдавил он из себя, — я не хотел... Пропус-ти на место, я же не нарочно...

— Во падла, во падла, — не находил слов возмущенный Веселый.

— Ды-дай мне, — отодвинул Пеца Веселого и вплотную подошел к Вадиму. — Ты, с-сука, хату в-всю... под вилы... — Он приняхался. — На пы-параше твое м-место, — заорал он.

Тут и остальные учуяли клоачный дух и углядели Вадима целиком.

— Куда прешь, вонючка, — взвился Ларек. — Вона и матрац твой у параша уже...

— От страха перед ментами уделался, пидерастюга, — выпалил в Вадима Веселый и на одно маленькое мгновение замер, приготовясь на всякий случай встретить отпор — слово было сказано, и промолчать — значит согласиться, а согласиться — значит там тебе и быть... но отпора не было. Вадим повернулся и поглядел в угол у толкана, где уместался Танька, сейчас вот высунувшийся и глаз не сводящий с Вадима.

Ворона уже распорядился:

— Танька, приготовь напарнику местечко, и на толкан его — обмой, чтоб не воняло...

— Хавку ему выдели, — бросил Ларек. — У тебя сегодня с запасом было.

Вадим не сознавал, что происходит. Издерганное тело радовалось, что не били, не мучали его больше, наслаждалось водой, которой Танька обмывал со всех сторон. Трудно было представить даже, как бы Вадим со всем управился без ловкой заботы Таньки. Тряпки Вадимовы он частью выбросил тут же в парашу, частью принялся отстирывать под той же хлещущей из трубы над толканом водой. Вадиму дал что-то из своего тряпья, и вот уже Вадим может привалиться на свой матрац, прохладно мокрый, услужливо расстеленный Танькой рядом с собой, и — главное — откуда-то из-под шконки Танька вытащил шлюмку загустевшей овсяной баланды и поставил перед Вадимом: даже желудок сжало и слезы на глаза навернулись...

— Ну вот, теперь у нас два петуха — жизнь становится веселее, — где-то у окна балагурил Веселый. А Вадим думал, откуда же появился второй петух.

— Так имя ему надо, — вмешался Ларек.

— Эй, загаженная Саламандра, — окликнул Веселый, — тебе какое имя больше нравится?

— Как звали?.. На воле? — услужливо отозвался Вадим.

— На воле — неважно как, — смеялся Ларек, — там ты мужчиной был, а здесь ты уже не мужчина, и имя тебе надо женское.

— Как это женское? — ахнул Вадим и перестал есть.

— Так ты ж петух теперь, — поразился Ларек. — Мужики, он что — чокнутый или дурочку гонит?

— Ты похавал? — Перед Вадимом стоял Веселый. — Ты согласился, что — пидер? Ты с пидером хавал? Так ты кто, если не петух, или тебе мозги вправить?

— Так я же не настоящий, — пискнул даже Вадим...

— Ой, не могу, — зашелся смешливый Ларек. — Так сделаем настоящего — не горюй... Или вон Танька сделает...

— И че он недоволен? — гнусавил поодаль Ворона. — Сам же просил, чтобы Саламандрой не звали.

— Манькой будет, — решил Пеца. — У меня баба была — Манька...

— А теперь надо выяснить, кто из петухов будет главным. — По проходу разгуливал Веселый, и, почувствовав раз-

влечение, исходящие маевой и скукой люди высунулись из нор. Веселый достал моток тонкого шнура, сплетенный кропотливо из разных ниток и необходимый в камерном обиходе. — А ну, Танька — Манька, — ко мне!

Обмякший Вадим ничего уже не соображал и опасно поглядывал на Веселого, хорошего для себя не ожидая и надеясь только, что от совсем плохого как-нибудь уберезет. Прежде чем что-то сделать, он косился на Таньку и повторял за ним, боясь все же сделать что-то не так. По приказу Веселого они оба разделись и нагишом уселись в проходе примерно на метр друг от друга. Веселый, разматывая клубок крепкого шнура, стоял между ними и притворялся, что не замечает любопытно устремленных на него отовсюду взглядов.

— Сейчас я вам, петухи-задиры, дам по куску шнура с петлей на конце, и вы в петли эти всунете свои причиндалы, а потом мы и выясним, кто главный петух. Эй, кто-нибудь, подайте «трамвай».

Ларек подхватил от общака деревянную лавку и всунулся с ней в проход. Веселому пришлось раздвинуть сидящих, так как лавка была побольше метра и между ними не вмещалась.

— Ну, зацепили мошонки свои, кукарешники? Теперь я пропускаю шнурки между ножками трамвая, зацепливаю за ножки, чтобы ослабить тягу, и конец от Танькиной петли даю в руки Маньке, а от Манькиной — Таньке... Все понятно? Ну и теперь вам по моему сигналу тянуть, кто не выдержит — проси пощады, проиграл, значит, не главный, значит. Ну а кто главный, того другой во всем слушаться будет. Ясно? Начали! — Веселый для затравки поддернул сам оба шнура.

Боль показалась вдруг на удивление не сильной, ведь все существо готово было сразу к чему-то совсем непереносимому, но это ощущение продолжалось ровно столько времени, в которое и успело вместиться само удивление от того, что при боли вот можно и еще о чем-то думать и даже чему-то удивляться; и сразу же онемели ноги, и все внутренности начало вытягивать, и пошло... И выше, и выше, и вот уже вроде из самого мозга потянуло, да с перекрутом выматывающее что-то — ослепительная струна накручивала на себя все новые внутренности, шилсом пронзая тело, нанизывая его на себя... Это была новая какая-то боль, не знакомая по всем прошлым несчастьям; боль с онемением, с потерей постепенной разных частей —

где сейчас вот его ноги? Да и что это такое, ноги? Все Вадимово лицо стянуло в левую сторону и продолжало стягивать, сжимая, вминая всю его голову в страшный кулак возле уха... Искривленным взглядом Вадим уцепил Таньку с выпученными глазами и по этим глазам понял: Танька не выдержит, Танька сейчас отступит — дернул сильнее... Сам он ни за что не сдастся, здесь уж он не отступит... Вот перед ним, наконец, явный враг, сволочь... Сво-о!-о!-лочь! который причиняет такие страдания и для того только, чтобы подчинить его, Вадима, себе... Зримый враг, но его Вадим одолеет... На секунду какую-то включился звук, и врезался в голову взрывом хохот и гром, но снова исчезло все, и голову свернуло полностью, выдавливая глаза, и теперь-то, столько уже выдержав, он не уступит... Ни за что — о, сволочь, о, сво-о-о-о-о-о...

Вадим с искривленным, стянутым в одну сторону лицом, сжав зубы и растопырив толстые свои губы, выл, плакал и выл, тянул на одной пронзительной ноте страшный тонкий крик, мотал головой, не видя ничего от слез, набухающих на глазах взамен скатившихся крупных капель. Облепленный со всех сторон судорожным хохотом, не видя даже, что Танька раскусил уже всю забаву (понял, что невидимым в переплетении под трамваем шнуром сам себя терзает, — и тоже смеется теперь, утирая слезы, смеется, хотя не схлынула у него еще своя боль); отгороженный от всех своей ненавистью, своим упорством, всеми своими несчастьями, Вадим кричал тоненько и рвал сам свои же ткани, рвал, пустив уже себе кровь, не соображая ничего...

...Неожиданно тонкий вопль — жалобный, но с переливами в возмущение, злобу, и вновь истончающийся до плачущей жалобы, пронзил заполненную хохотом камеру. Давно уже и бесследно испарились утреннее благодушие и покойная радость. Сколько еще позволят пролежать мне здесь, под светом, на мягком, при книге и куреве? Завтра и послезавтра, скорее всего, еще тут, а в понедельник дубак обязательно доложит про «голодовку», и — покатится... Карцер и потом... что потом?.. Раздражал хохот, громыхающий вокруг, и еще более хохота — недовольство собой... чего я требую голодовкой своей?.. Не придумать хоть сколько-нибудь разумного... значит, впереди совсем уж сумасшедшие испытания... не для чего... А назад, на попятную?.. Нет уж — глав-

ное, не помогать им побеждать... ведь именно это — главное, тот минимум, который зависит от меня только... Ну, кто там воет?! — Это же невыносимо. Господи!..

Тут только я увидел Вадима.

Давно когда-то подобное уже было со мной. Прижатый со всех сторон к решетке обезьянника, я боролся с тошнотой и сильным, сразу выдавившим холодный пот головокружением. Не было сил протолкнуться сквозь ревущую и хохочущую толпу, да еще боязнь неудержимой тошноты среди всех этих разинутых жарких пастей, а там, внутри клетки, рвался жалкий, никудышный шимпанзе из случайного капкана... Сильно тошнило, и как тогда, в зоопарке, хотелось забиться куда-нибудь, подальше отсюда, к чертям деловое свидание, из-за которого я сюда пришел, куда угодно, лишь бы — одному, лишь бы никого, совсем никого... Да и вообще, зачем все это?.. Именно все — зачем? Разве вся жизнь не такое же вырывание себя — в кровь?.. Не тот же жалкий, плачущий, злобный и негодующий вой?.. Почему же я не вою в голос, взхлеб?.. Почему все не воют? Или воют, только никто не слышит, потому что у всех в ушах такие же клочки рыжей ваты, как у меня? Специально ведь и затолкал ее в уши... Для того и затолкал, чтобы не слышать никого, чтобы не мешал никто... Это ведь только такая вот скотская забава, такой вот и не человеческий уже вопль пробиться смогли, а у других, а у всех — та же вата, только забито плотнее...

Лязгнула кормушка... Отбой.

Шконки колыхались, принимая на ночь разом потускневших арестантов. Теперь, без легкости общих забав и общих бед (да, да, и беды, если они соединяют, — легки), враз окунувшись каждый в свои собственные горести, тревоги и надежды, расплзались по своим норам обитатели «девять-восемь», оставаясь на всю тоскливую ночь наедине со своими же охами и ускользя постепенно в оживающую в эти вот тревожно-маетные часы сумасшедшую веру в чудо, в маленькое и вполне возможное завтра же чудо.

Шконка колыхалась, но уже вместе со стенами и со всей камерой. Все, оказывается, пронцаемо в мягкости своей, и я проваливался вместе с матрацем куда-то вниз мимо медленно оползающих туда же вниз стен...

— Подъем, — заорал конвоир, и я очнулся в своем закут-

ке за барьером, в отгороженной этой клетке у стены пустого судебного зала.

Жалко было расставаться с теплой дремотной успокоенностью, но конвоир гремел уже дверью, собираясь выводить, а я все молчу, и надо стряхнуть оцепенение, надо встряхнуться — ведь это мое «Последнее слово». Судья за длинным столом и двое «кивал» собирают уже бумаги, а прокурор спит себе за своим столиком, и надо что-то сказать — другой возможности не будет...

— Вот вы спите себе, — укоризненно проговорил судья, — а нам приходится за вас работать.

— Это вы спите, — возразил я, — спите себе и не видите, что вокруг творится, знать не хотите, как по вашей милости над людьми издеваются. Вам бы одно только — устроить вокруг темень и ночь...

Вдруг я понял, что они меня не слушают и слушать не могут. Они попросту меня слышать не могут, так как у всех уши заткнуты клочками желтой ваты. «Кивалы» еще и глаза прикрыли, а судья вынул вставную челюсть и копается всей пятерней во рту, но зато проснулся прокурор.

— Железным законом... — прокричал он в пустой зал и снова заснул.

— Не будет по-вашему, — неуверенно сказал я. — Ночь кончится, и вы все растаете, как ночные тени. Сейчас вот прокричит петух — и кончится ваша ночь.

И вдруг я понял, что несу чушь, ведь они исчезнут, когда услышат крик петуха, но они его не услышат, потому что у них вата в ушах, и, значит, не исчезнут.

— У вас вата в ушах, — я заспешил, так как слышал уже хлопанье крыльев, — вам необходимо вытащить вату...

— Каленым железом, — снова проснулся прокурор.

— Ну что ты с ними разговариваешь, — повернулся конвоир. — У них же вата в ушах — они не слышат.

— Не так, — заорали на меня откуда-то появившиеся в зале представители общественности. — Крикни посильнее.

— Это не по правилам, — я потерянно оглядывался, — уже петух кричит, а у вас вата в ушах...

— Никаких нарушений законности я не обнаружил, — вскинулся прокурор, — и не потерплю.

Я чувствовал, что надо закричать, — иначе они так и не

услышат меня, и ничего уже нельзя будет сделать с ними, и никуда они не денутся, а, наоборот, я превращусь в серую тень. Но крик мой застревал в горле, и поздно уже... Поздно. Конвоир тряс меня за плечо, петух тихонечко кукарекал, и последним умоляющим взглядом я попытался привлечь внимание сидящих за зеленым столом.

Маленький шимпанзе сидел в центре, рассматривая свои челюсти, а две крупные гориллы спали, закрыв глаза, и только рыжая вата подрагивала в ушах. С огромного герба над ними свесил вниз голову тощий петух и, глубоко вздохнув, расправил крылья, стараясь не задеть острый серп.

— Вы же не люди, — засмеялся я, все поняв. — Вы сансару.

— А ты кто? — закричал над ухом конвоир. — Кто?!

...Я проснулся от громкого крика и лежал, не открывая глаз, стараясь не забыть что-то важное из того, что только что понял во сне. «Сансару» — древняя фигурка трех обезьянок, закрывающих глаза, уши, рот... Почему же это казалось только что таким важным?..

— Так кто ты? — орал Веселый. — Я те сейчас все крылья повыщипываю и гребень на уши выверну, петушара! А ну, Танька, гони его сюда!

По проходу, подгоняемый Танькиными пинками, толчками, как-то замирая на каждом шагу, продвигался Саламандра. Он затравленно оглядывался вокруг, и я, не успев отвернуться, поймался в безумный его взгляд. Увидел себя в черном омуте расширенного зрачка — маленькая искривленная обезьянка с торчащими из ушей клочками ваты — сансару... И не вырваться мне уже из этой горячей ненавистью бездны — я шевельнулся, пробуя выбраться, вынырнуть, но не слушались омертвевшие руки, и я с головой погрузился в темноту зрачка... уже навсегда...

ЗВЕЗДА СВЕТЛАЯ И УТРЕННЯЯ

Фонари, натужно пытавшиеся раздвинуть ночную темень, пунктирными гирляндами змеились к железным воротам и здесь уже совместной мощью отбрасывали черноту ночи далеко в стороны, выталкивали тьму наверх, выше себя, сгущая и утрамбовывая и вокруг, и вверху плотную непроглядность. Зато неровный клочок вселенной с железными воротами посередине замер ослепленно, не в силах вздохнуть. Ветер сильными охами взметывал снег где-то по краю высветленной площадки, не решаясь переметнуться через светлое, куда более светлое, чем днем, пространство. Неправдоподобно длинная крыса вышмыгнула в свет, будто из-под черного занавеса вынырнула, но тоже оробела, замерла и отступила в черноту.

Центром ослепительной беспощадности румяnel над блистающим в снежных наледях железом ворот белозубо хохочущий лозунг: «На свободу — с чистой совестью!» Примелькавшаяся до невидимости, сейчас в безлюдье эта выбитая навечно каким-то циркуляром надпись в одиночестве царила над «зоной». Излишними были теряющиеся в темноте вышки — не строже охраняли они свободу, чем сияющая несомненностью истина. И действительно ведь: по-настоящему свободным только тот и будет, у кого совесть чиста.

Впрочем, такая свобода ни с какими оградами, вышками и воротами не связана, а та, что за воротами, не слишком связана и с совестью — тут никого из загнанных в охват колючек не проведешь: если уж терпит эта заградная свобода совесть тех, кто ежедневно заполняет по утрам зону, кто истаптывает «по долгу службы» в брошенных им на заработок и потеху людям не только совесть, но и... — эх, да что тут говорить без толку?... Потому и невидим лезущий отовсюду в глаза

лозунг, потому и соскальзывает вниз даже случайный взгляд на него, что вбит он и царствует еще одним издевательством — мол, свобода ваша зависит от столь неучитываемой, столь неощупной штуки, что как решим мы здесь по поводу этой штуки, так и будет: решим, что чиста, — выйдешь, а решим иначе — сгинешь! и не ухмыляйся! не ухмыляйся, мразь! стань как положено!..

Такое вот не разделенное в слова знание щурило глаза и кривило губы тысяч вбитых на исправительную жизнь в плотную густоту бараков, и сейчас они, может быть, впервые не скатывались взглядом с высоты надворотной истины, а равнодушно ли (как болото принимает увесистый камень — без кругов даже), бессильно ли (сгибаясь перед неотвратностью глумления), яростно ли (не соскрести, не испепелить сверканием из-под век) — зацеплялись и повисали на острых зубьях узких высоких букв.

Вместе с темью яркие фонари соскребали в стороны от себя и душное снежное одеяло, простроченное неровными сплетениями колючек ограды, — так оно и горбатилось комьями у границы света, расправляясь в ровное покрывало там, куда света не доставало совсем, и опять вздыбливаясь в приближении к следующей гирлянде.

...Тишину обморочно спящего мира распорол ржавый звук — будто гвоздь что есть сил цеплялся в дерево, сопротивляясь сворачивающей голову ярости безжалостных клещей. Медленно раскрывались, распахивались в неспешном зевке створки ворот, выворачивая наружу еще несколько гудящих киловатт высветленной железной утробы шлюза. Но и там, в железной коробке, в другом ее конце, новый звук уцепился за утихающий и потянул чуть выше, со свистом додирая уже разодранную предутреннюю тишь. Наружные ворота нехотя, толчками размыкали плотный зацеп могучих створок, и откидывались, отталкивались железные половинки друг от друга. Одновременно распахнутые в две стороны шлюзовые ворота сразу же потеряли все свое неприступное величие и топорщились беспомощно даже без скрежета, а только со скрипом случайным. Распахнутый насквозь шлюз! Чушь! дурь для простаков! небывальщина! Но все равно распах этот затягивает заглянуть, выглянуть, выскочить взглядом хоть... Тут и шаги заполнили затаившийся железный короб, и то, что не осмели-

вался даже взгляд, вершит человек, шагает себе, гремя по железу, наталкивая следующие шаги на прежние, отраженные сверху и с боков, гудит железо, снег осыпается с изодранной телогрейки и измочаленных валенок — так и прогремел по шлюзу из конца в конец, задержался на вздох только у выхода и топает дальше по нетронутому снегу, уже медленно и неслышно, лишь руками взмахивая в помощь неловкой ходьбе.

Ночью?! на волю?! да еще и через шлюз! — ну, «лапша»! ну, «порожняк»!

— Нет, посмотрите только! во шпарит!

Свист, смех, выкрики — все вместе шквально обрушилось со всех сторон, долетев и туда, за шлюз, догнав по глубоким следам в снегу этот ряженный обман — прожженные валенки, плотно забитые снегом, медленно, рывками вздергиваются, отталкиваясь все дальше и дальше от зоны — закружил вокруг негодующий шум, фонтанами взметывая снег впереди.

— Ну дает! а руками-то, руками-то машет — точно крыльями. Никак петушара!

В наступающем шуме было полное неприятие наглого обмана, прорывающаяся злоба все слышнее среди громкого смеха, и именно злоба эта взвихряла фонтаны снега все ближе и ближе, у самых ног уже, и не выдержать больше не оглянувшись.

— Еще и харю крутит — оглядывается!..

Чья-то подушка полетела в удивленные, застывшие на рыхлом лице глаза, и рука в снегу вздернулась защитно, но не успела — запрокинулась от удара голова, отставая от складывающегося всеми частями тела, отыскивая еще что-то глазами вверху, а по экрану уже густо пошли полосы, засвистело что-то, захрипело в деревянном ящике, и сразу же все вокруг угомонилось, но опоздавшие эти тишина и внимание не помогли — телевизор продолжал хрипеть и светить ослепшим бельмастым пятном.

Никак не ожидал Слепухин, что столь болезненно ковырнет досада от фукнувшего телевизора. И ведь с чего бы ей взяться — досаде той? Сейчас только негодование захлестывало от разворачивавшейся на экране тряхомунии.

Он привычно соскользнул с третьего яруса раскачавшейся под ним «пальмы» вниз и свернулся на своем месте, пытаясь укрыться весь целиком телогрейкой, но никак на это телогрейки не хватит, и пришлось покрутиться еще, заворачиваясь

чиваясь в истончившееся одеяло — только затылок стриженный наружу.

А зачем, спрашивается, угробил полчаса, вылавливая в просвет между головами на передних пальмах телевизионный экран? Все время ведь подталкивало бросить, сплунуть с кривящегося рта что-нибудь крепкое в адрес всех, ловко пристроившихся по далеким телестудиям (и не только их, пошире — в адрес всех несмысленных вольняшек), да-да, прекратить глядение, уже одним этим как бы плюнув в наглую рожу телевизора, демонстративно выбраться из затянувшейся барак пелены синеватой одуряющей лжи, протолкаться сквозь зеков, плотно забивших проход; им ведь тоже противно, должно быть, вешать на себя эту лапшу, но, замороченные усталостью и неизбежной скукой, они выворачивают застывшие лица и тянутся ко всему, что нарушает тоскливое однообразие мертвых дней — только не остаться наедине с собой, забить чем-нибудь зияющий провал времени — не времени жизни, а времени ожидания ее.

И не собирался ведь Слепухин фильм этот смотреть. Нацелился заранее в маленькой до отбоя щелочке свободного времени устроить стирку — хлопотно, муторно, но если постоянно не стирать постельное да с себя все (рабочее уж ладно — сойдет пока) — запаршивеешь к чертям. А тут еще и вошку с утра выцепил в футболке (и откуда берутся, твари? неужто и впрямь из твоего же тела от разных огорчений вылезают? — дед один объяснял так в тюрьме еще). В бараке завшиветь — гибель; мигом выкинут на «чертячи» места поближе к дверям, а там уж — пошло, поехало: там тазика на стирку не раздобыть и успевай в бане под душем как можешь и мыться, и стираться — в «черти» только попасть легко, а выбраться редко кому удается.

По приходу в барак Слепухин обленился и оставил все хлопоты на завтра, правда субботний день вырисовывался от этого совсем в запарке: еще и помыться успеть, да в соседнюю «локалку» на чай приглашен, да на промзоне по субботам задерживают, но так блаженно потянулся Слепухин за поманившим соблазном немедленного отдыха, что все покалывающие возражения пресек решительным — завтра. И получается, что дело совсем не в телевизоре, а в том, что не исполнилось у Слепухина по-задуманному (лучше бы сразу устроился прикорнуть), значит, решено было неправильно, а

это — дурной знак: человек прежде всего должен уметь правильно решить и, решив, исполнять до черточки, а всякие костыли, всякие «кто же мог знать?», «так получилось», «нечаянно» — костыли и есть, для инвалидов тупорылых.

Не то чтобы это была собственная жизненная философия Слепухина, скорее — жестокая логика нынешней его жизни, нынешнего мира, но, видимо, у Слепухина к этой логике было и свое расположение, ибо впитал он ее сразу, что и избавило его поначалу от многих болезненных ушибов. Впрочем, ушибов на его долю тоже хватило — не может же целый мир вращаться вокруг одной, пусть и жестокой, истины, а чтобы все истины постигнуть — никаких костей не хватит.

Не толкался уже упругий злобный комок в виски, разлетелся мелкими брызгами по жилам; отчего эти ядовитые капельки собираются вдруг вместе, так слипаются в ртутно-упругий ком, что не продохнуть? От одного взгляда на плакат в соседнем сквозном проходе между пальмами взвоешь по-волчьи. Правда, плакат этот невидим вовсе, может, кто снимает его временами, подновляет и вешает изредка? Нет, вряд ли — облезлым таким не был бы, значит, и не подновляет никто, сам исчезает надолго. Сегодня только появился нектати и, главное, по приходу с работы — измочаленному да промерзшему только и не хватало всех этих улыбающихся недоделанных вольняшек, тянущих к кремлевским башням что у кого есть: один — отбойный молоток, другой — микроскоп тычет, кто-то серпом грозит. «Наш труд тебе, Родина!» А сверху кремлевской стены — колючка по зубцам, и напрасно эта упитанная телка серпом своим к колючке тянется — грохнут ее сейчас с ближайшей угловой башни. Вот уже и очкарик в микроскоп ей подмигивает, и малолетка, свесившись с трактора, орет: «Палево!»...

Палево — палево — па-ле-во...

Прошуршало по всем проходам барака и взорвалось тут же грохотом в дверях да топотом сапог.

Барак, разгороженный трехэтажными пальмами, насквозь не просмотришь, и Слепухин поднялся без спешки, оправил одеяло тоже не слишком тщательно: рассмотрел уже, что громкий топот — всего лишь посещение войскового наряда, измерзлись попкари, вот и нырнули отогреться, может, и поживятся чем, если повезет.

— Па-ачему не встаешь? — задрезжал сзади, за-

дренькал противный голосок. — Спишь, мудозвон, в неположенное время? Не крутись, фамилие посмотрю только. Охота мне тут с тобой валындаться — пусть отрядник валындается, а я рапорт только составлю. А у тебя па-ачему в паспорте фамилие неразборчиво? Эй, завхоз! — кто этот мудака?

Слепухин глянул машинально на лоскуток с правой стороны телогрейки — ничего, разберет, если надо, но одеяло оправил поаккуратней. Проказа — он проказа и есть, что с ним цепляться?

Прапор по прозвищу Проказа прошаркал валенками по проходу мимо Слепухина — длинная кадыкастая шея торчит из овчинного ворота, а выше — прямоугольное узкое лицо, ровненькое, без изменений по ширине от узенького лба к подбородку, только сплюснуто снизу — от подбородка к носу — и места для рта почти не оставлено. За прапором грумкали сапогами два краснопогонника, нахохленные в стылых шинельюшечках, шмыгая носами.

Чем глубже по проходу, тем тише Проказа — тоже учитывает, что здесь не чертячи места, тут «мудозвонами» слишком не разбросаешься, не важно, что любого, кто только посмеет высунуться, потом умнут и укатают, но и самого, если харкнет кто-либо в рожу, свои со света сживут, как Косоглазого сжили, сняли с прапоров и отправили старшиной в наружную охрану, чтоб не смел носа в зону совать («настоящий прапорщик не позволит, чтобы ему морду всякая мразь раскровянила!»).

У телевизора все еще переминаются в упрямой надежде на его чудесное исправление человек десять-пятнадцать, а несколько роятся в звякающих внутренностях, постукивая что-то, то и дело включая и выключая — может, заработает.

— А ну разойдись! Чего столпилась?

— Телевизор накрылся, гражданин Проказа.

— Я те счас!.. Ты думай, что говоришь!

— А я разве что, гражданин начальник? Я думал, что фамилия такая случилась — фамилию ж не выбираешь. Так, значит, не фамилия, а вроде клички, как у Ленина, скажем?

— Кончай базар, расходись! расходись, говорю!

— А может, из вас кто в телевизорах понимает?

— Да что они понимают, тупорылые...

— Одно понятие — рапорт да «как фамилие», тьфу, Господи! — ни украсть, ни покараулить...

— Слышь, начальник, привел бы нашего Фазу на минутку — он на пятнашке сидит — телек наладит и обратно веди.

— Я счас тя к нему отведу, умник!

— Во-во, это только и понимает...

— Куда руки тянешь, прапорщик? Положняковый чай пьем, ларешный.

— Это не чай, а чифирь — чифирь не положено.

— Между чифирем и этим чаем такая же огромная разница, как между советским доблестным прапорщиком и пидером вонючим.

— А вот я сейчас попробую.

— Ты куда кружку шкваришь? Эй, куда ставишь — теперь этой кружке в петушатнике место.

— Я счас рапорт составлю, что чифирь пьете!

— Так что, никакой разницы? вот я и говорю...

— Ну, погоди, попадешься на кичу — там я тебя уделаю.

— Вам, гражданин начальник, совсем не к лицу ни угрозы, ни чифири с зеками гонять...

— Ну-ка, воин, обыщи этого умника!

— Шмонаться — это привычно, это — пожалуйста. Эй, макроносенький, ты глубже, глубже лезь — там у меня штучка одна болтается, так ты помацай, можешь и губами...

Наконец, Проказа поспешно прошаркал обратно по проходу, утаскивая следом солдат. В соседний проход не завернул, а скрылся в каптерке, отослав сопровождающих на мороз.

Слепухин опять попробовал укрыться и нырнуть в тепло.

— Эй, Максим, — громко окликнул Максима Долотова Квадрат, — тебя, что ли, записал Проказа? Пойти поштырить с ним?

— Еще чего? Плиту чая терять, — откликнулся Долото, — Проказа бздехливый и рапорта накатать не должен — он тут у нас чифирек похлебал...

— Смотри, Максим, как знаешь... Отрядник за тобой из всех дырок пасет...

Отдельные громкие всплески угасли, втянувшись в ровный однообразный шум, к которому Слепухин давно привык, и не только привык, а не замечал совсем, именно его полагая тишиной и безмолвием. Настоящая же тишина, когда случалось в нее попадать, выскочив среди ночи по нужде, оглушала, нестерпимо била по ушам скрипом снега, своим же кашлем, и только

опять в бараке привычно залепляла душная ватная глухота.

Днем ли, ночью — барак постоянно гудел, меняя тональность, но всегда мощно, как гудит улей или трансформаторная будка, угрожливо намекая, мол, за гудом этих единичных пчелочек-электронов таится такая взрывная сила, что удивительно: как она не выплескивается? как она удерживается в тоненьких стеночках? Может, череп с костями на дверце сам и удерживает? или провода, что со всех сторон тянутся к будке? А если человека туда всунуть? к контактам приткнуть? — сгорит, наверное, в пепел... Мигом пчелочки растащат по сотам своим, по пальмам — ув-ув-ув и — готово, и — концов не сыскать. Кто приходил? что надо было? какой Проказа? Да заходите сами, гражданин начальник, и смотрите — нет тут никакой проказы. Пусть зайдет только — Квадрат мигнет и снова — ув-ув-ув — растащили кусочками по сотам... Испарился отрядник — только тулупчикновенький в проходе на полу съежился. Убрать бы надо тулупчик, чтобы совсем никаких следов — потянулись руки, ухватили кто за рукав, кто за пушистый ворот, и тут из тулупчика шмякнулись на пол причиндалы — съежились испуганно и покатались медленно к дверям. Да закройте же двери — вон щель какая холодом сифонит. Держите, укатятся ведь в щель — пропадем все. О, черт! никто не решается, и понятно — кому охота шквариться. Эй, петухи! вы-то што смотрите? держите же, чтоб вас разодрало!.. «Нам эти ваши дела без надобности», — прокудахтал крайний с насеста и торкнул гребень под крыло телогрейки. А мудешники отрядного тем временем уже к двери подкатываются, разрастаются на ходу, и у самого порога мгновенно поперли в рост — теперь стоит уже у порога голый отрядник, в тулуп запахивается от паром клубящегося из дверей холода. Ничего ему не сделалось — из своих же поганых хреновостей обратно в силу вошел, только голова, торчащая из овчинного ворота, не совсем еще оформилась — один рот разевается, ни глаз, ни ушей, и от этого еще страшнее — один рот и набухающая злостью головка. «Вам давно уже надо понять, что все вы — мразь и дерьмо и сидите вы все в глубокой жопе».

Еще из отрядника вместе со слюной разбрызгивалось, что он всякого научит Родину любить, но Слепухин скорее узнавал про Родину, чем слышал, потому что сам ухнул вдруг куда-то, зажмурившись в ужасе, — сердце захолонуло, но тут же удалось Слепухину встать в распор, утвердившись ногами в чем-то плотном...

Он разлепил глаза, сразу сморщившись от невероятной противности увиденного.

Торчал он в какой-то синеватой, чуть прозрачной трубе. Скорее даже не трубе, а — шланге, в кишке какой-то, упруго подающейся под ногами. По стенкам скатывалась густая слизь, мешающая оглядеться, но постепенно Слепухин с омерзением осознавал свое положение. Со всех сторон змеились в переплетениях и соединениях такие же кишки и по ним проталкивались или медленно проплывали соседи по бараку, какие-то еле вспоминаемые знакомые, вон исчез в изгибе давний спутник по этапу — как его звать? — не вспомнить теперь... Все это извивающееся переплетение пульсировало, подрагивало, где-то сжимаясь и облепляя синюшных людей, где-то расширяясь временно, чтобы тут же дернуться в зажим. Люди тоже вели себя по-разному: большинство безучастно — куда их тянет, тащит, волочит? — дела им нет, некоторые взбрыкивали, пытались ослабить захват, кое-кто пробивался сам, иногда и карабкаясь встречно оплывающей вокруг слизи.

Слепухин взглядел, что недалеко совсем извив, держащий его, примыкает к соседнему и в месте смыкания соединяется с ним. Если поднажать — можно будет нырнуть в другое ответвление этого кошмарного лабиринта, а там, чуть повыше, уже угнезвился в тупиковом расширении Жук и вроде бы в его затишном месте можно отдышаться.

Чуть ослабив упор, Слепухин потихонечку принялся соскальзывать к нужному месту, однако там уж пришлось попотеть, покрутиться, утыкаясь во вздрагивающие стенки по-лаучьи: и руками, и спиной, и головой даже. Жук с интересом глядел на торкающегося к нему Слепухина, но руку не протягивал, не помогал, подвинулся только слегка, давая место. Весь этот аппендицитный тупичок ходил ходуном, пока Слепухин пристраивался, и все время Жук недовольно ворчал, опасливо оглядываясь, не рухнет ли обвалью его убежище.

— Дополз наконец? — фыркнул он. — Экий ты, паря, неловкий.

— Похоже, мы и вправду в заднице все.

— В заднице — не в заднице, а и ее не миновать, — хмыкнул Жук, — другого выхода отсюда нету.

— Но ты же вон как-то пристроился, и вроде неплохо.

— Ты прикидывай, прикидывай одно к другому... Отсюда

выйти или дерьмом, или вместе с дерьмом — не иначе... Будешь упираться — волоком протянут, но через ту же задницу. Так что — лучше самому, а не волоком, но и не тыкаться по-козлячьи попервей всех в дерьмо. Где поддаться, где чуть стороной, где чуточку упереться — тут вроде стены кругом, но и стены чуток из резины, местами гибкие — вот и расширил себе уголок, вздохнул посвободнее...

— Так все одно же, говоришь, с дерьмом смешают.

— Дерьмо — оно тоже разное: чистеньким не останешься, но и вонючкой совсем становиться незачем. Ты погляди вон на Долото — он хоть и умный, а дурак: упирается во все стороны сразу, расширяет вокруг себя посвободнее, что сил есть, а того не видит, что здесь расширил, а в другом месте совсем узко стало; торчит костью в глотке, упирается, а ведь так вот со всех сторон не удержишь, не раздвинешь, чуть слабинку дашь где и — сомнет. А надобно и дерьмом немного прикинуться, и свое отстоять, и другим совсем худого не сделать... К месту надобно определиться своему, главное тут — место свое.

Слепухин вполуха слушал негромкий разговор, сползающий к нему со второго яруса.

Все-таки сволочь этот Жук. Вцепился по своему обыкновению в свеженького этапника и крутит: выкрутит себе все, что можно с него, выудит фофан, ботинки нулевые, еще для какой выгоды попасет и отвалит напрочь. И попадают же олухи на одну приманку: землячок! — в хрен бы не грохотал землячок такой — от Карпат и до Урала у него все землячки.

— Лучшие места тут у стенки, причем в том проходе эти места лучше, чем в этом, видал — там даже не пальмы в конце прохода, а обычные шконки? Под стенкой самой — места для авторитетов. В нашем проходняке под телеком авторитетные места, но чуть похуже. Дальше к дверям пальмы мужиков — тут уже что наш проход, что тот — без разницы. Еще дальше — места козлячьи и для новичков, потом — черти, а в конце у дверей самых в том проходняке — петушатник.

— Это я знаю.

— Вот и прикидывай. Нижние места лучше верхних, но лучше вверху поглужбе, чем внизу к дверям: так здесь и движутся — на лучшие места или на худшие, поднимаются или опускаются... Я те сразу по человеку скажу — на каком он

месте, да и любой определит. Какое место — такое и отношение. Я вот на самом спокойном, еще бы вниз перебраться, и все, дальше уже слишком на виду, тут тебя и начнут выкручивать, начнут кровь пить...

— Так начальник же говорил, и этот, как его... завхоз, что места они определяют.

— Ты их слушай, да не всему сразу верь. Охота отряднику всем этим заниматься — тут почти двести человек, уследи где кто, попробуй — один на киче, другой в БУРе, кого-то на этап уперли... а завхоз — козел, и этим все сказано. Разрешение — то он разрешает, но и к Квадрату прислушается, и еще к кому... его дело козлячье: на кого нажмет, а кому и уступит...

— А этот Долото, он же на авторитетном, под телеком сразу, что же ты его дураком?..

— Да нет, вообще-то он умный, он здесь за сопротивление ментам...

— Это 191-я?

— Она. Так и здесь во все встречается и всему наперекор, не образумило его, все правду ищет... Ну и вцепились в него, и пошло... Статья-то его почетная, и сам путевый — его здесь и поддержали, да и послушать его интересно, и помочь может — в суд написать, еще куда... Но нас тут из-за него зажали без продыху: который месяц барак без ларька совсем, а в бригаде его — так и без передач и свиданок сидели, а как кто с ним поговорит — на кичу бросают — мыши ведь вокруг, что увидят, сразу пошуршали, кто к кому, кто к отряднику... Так и отвадили от него всех, если кому что надо — тайком, а чтобы разговор какой общий или открыто с ним — никто не решается. В общем, держится сам по себе, отбивается, чуток помогают ему, ну а больше — тишком в яму подталкивают, от себя подальше... Вот и получается — дурак...

Слепухин ногой саданул в железные полосы над собой.

— Ты там, Жук, следи за базаром, а то я метлу твою укорочу.

Жук свесил вниз свое нездоровое лицо, выщербленное лиловыми пятнами и сейчас вот все в складочках любезной улыбки. Ишь, истаскало его, а ведь они со Слепухиным ровесники.

— А я что? Я — ничего, вот молодого учу уму-разуму...

— Сам наберись сначала, — Слепухин вытащил из кармана телогрейки пачку сигарет. — Проказа ушел?

— Умотал, так что закуривай безбоязненно, — и просительно добавил: — Угостил бы, а? Ни крошки табака!

— Ты что, здесь дымить будешь? — протянул сигарету Слепухин.

— Да я разве без понятия — я свое место знаю.

— Вот и глохните там — развели базар.

Слепухин задымил, стараясь особо не вылезать из теплого угретого места, чтобы рука только с сигаретой снаружи. Жук наверху забормотал потише.

— У тебя вроде карамельки с этапа были. Угостил бы землячка, а?

— Да совсем чуток осталось.

— Ну и чего их беречь? На весь срок не растянешь, давай подзаправимся глюкозой.

— Сейчас.

Пальма заколыхалась, выпихивая уцепленного Жуком дурика. С виду здоровяк, не сопливец зеленый, а вот же, прошлись по ушам — и готов, потянулся на участливый голос. А какое же тут участие? Для выгоды только, и что самое противное — выгода-то выгода — мелочь самая крохотная, но когда всего в обрез, и мелочь — богатство. Так копошимся тут друг на друге, выхватываем свои крошечки, выкручиваем себе карамельку... Господи! что же Ты вытворяешь?

Не уследил Слепухин, накатило на него, заморочило, обессилило, смыло и унесло все желания, сделало все зряшным, не стоящим ни сил, ни жизни самой. И ничего не случилось, но изменилось что-то, искривилось чуточку... А может, не искривилось, а, наоборот, прояснилось все, виднее, слышнее стало? Вот ведь Жук как простенько об местах этих разобъяснил, а за этим простеньким — борьба, такие напряжения и страсти — Шекспиру впору... и для чего все? какой смысл в этом копошении, если сверху на всех одна сила давит, ломает хребет, да так, что смешно на копошение это смотреть? как мураши под подошвой: вот накроет уже, а они все шебуршатся, все что-то там свое доказывают... а если еще внимательней, так и шебуршания эти, и движения, и страсти за место устроены теми же, кто хребты ломает, но и сами они, сами — чего тужатся? чего мельтешат? сверху всего — пресс помощнее, единой косою выкашивает, один на все, на всех... зачем же это?... что же мучается так долго вот он, Слепухин, маленький под всеми этими

подошвами? маленький и одинокий, никому не нужный... Вот это и есть главное: никто никому на самом деле не нужен. При- творяются, себя обманывают, других, играют в эти игры, тянут- ся к участливому и ловят на участии, а внутри холодок: никто никому не нужен, выкручивают карамельку — ею и утешаются.

Сквозная тоска охолодила Слепухина, поддувала, выдав- ливая взвой, стон хотя бы, но Слепухин, вцепившись зубами в плоскую подушку, не позволял этой слабости вырваться зву- ком. Он хватался за части той жесткой конструкции, которую всегда выставлял вместо себя наружу, на люди, которую на- гла, нахраписто, ловко, увертливо, расчетливо — когда как — пер по жизни, но вот размыло все, и вцеплялся памятью в слу- чайные опоры, громоздил лихорадочные камни — все выду- вало напрочь...

Нет, так не выплыть — надо нащупать именно то, что про- шибло дыру в устроенном миреке, уцепить этот подлый та- ран, вытолкать его, распушить в прах.

Жук? — Ерунда, дуриков только и дурить, умней будут...

Проказа? — Обычная псина, может, чуть поблохастей дру- гих...

Вечер на заладился? — Так и беды никакой не грянуло, уже хорошо...

Телек? — Накрылся, и холера его задери, тише будет...

Однако, перетирая в памяти весь этот незадавшийся ве- чер, Слепухин ощущал, что он рядом с неуслышанным выст- релом, так вот запоздало сбившим с копыт...

Все же телек... хмырь этот, выбившийся на свободу... и даже не он, а взгляд его через плечо на них. Этим взглядом Слепухин ухватил сейчас сам весь барак целиком — вот оно, начало оползня, толчок к обвалу...

Таким он увидел это же место примерно два года назад и застыл тогда с расхристанным матрацем и выползающими из него немудрящими пожитками. Хоть и не ожидал он ника- ких особенных хоромин, но против этого пристанища сразу вздыбилось все внутри, а знание, что это жилище почти на пять бесконечных лет, заставляло трепетать чуть ли не в аго- нии каждую жилочку.

Прямо перед ним тянулся узкий проход, чуть шире чем в вагоне, а по бокам, как в том же вагоне, трехэтажные паль- мы — одна к другой, парами, и грязные ноги, как и там — в

проход, где-то вместо ног — неровные головы, и опять ноги, а по другую сторону прохода, в отличие от вагона, не боковые места, а такие же — торчком, а дальше еще один длинный проход с двумя рядами трехэтажных палым.

Все это гудело, шевелилось, воняло — жило настолько плотно и сцепленно, что требовалось невозможное усилие, чтобы вступить туда, в шевуршащееся колготенье; всем телом воспринималось упругое отталкивание этого шевелящегося, вонючего, гомонящего подобия жизни. Как-то в пересыльной тюрьме перед баней навешали все на здоровенный стеллаж свое шмотье, натолкали все с себя, и два козла-банщика задвинули стеллаж в камеру прожарки, но что-то у них там испортилось, и нужную температуру не нагнали, подогрели только слегка, поэтому, когда полки эти выкатили после бани, все невольно отпрянули: казалось, что шмотки, да и сами полки шевелятся — может, со всей тюрьмы этой впридачу к своим напоззли вши и тараканы, и все это шуршало и колыхалось перед глазами. И теперь вот Слепухину предстояло самому в это тараканье колыхание вступить, вжиться, найти себе место, вплестись в омерзительное существование. В загнанно колотящемся сердце вспенилось догадливо: тогда и выпустят, когда вомнут, втопчут, перелепят в такое вот... в такой вот...

Тогдашнее озарение снова тянуло Слепухина своим беспросветным оползнем: поддайся только, и сомнет, выплюнет оплывшим безразличным студнем. «Не-ет... хренушки... отс-сосут...» — выдыхал он сквозь зубы, цепляясь ногтями в телогрейку.

Жарко молотящая в виски кровь вышвырнула отчаявшуюся душонку года на три вперед в шумную вечернюю Москву — карусельно промелькнули огни — заметался Слепухин среди голубого холодного снега, зашпешил уцепиться, обжить далекий плацдарм и с него уже перекинуть спасительный мостик в невозможную реальность.

...Он резко свистанул — тормознула тачка — «Гони!» — сигарета — телка на обочине голосует — ништяк телка: пальтишко черной кожи (как у него), воротник голубого песка, все при ней — «подберем» — сидит сзади рядом телка, тачка прет на полном — «Вам куда? (это водила мордень повернул, интересуется) — «Гони в Прагу!» — «Еще спрашивает, — это уже телке, попохатывая, — сам не знает, что ли, куда людям надо?» —

телка молчит, в окошко уставилась — как же подклеить ее? — дотрагивается до плеча — дует в пушистый ворот: «Писцу-то самое время похавать»... (Слепухин взвыл у себя на нарах за бездну лет отсюда, но и здесь, на обшарпанном заднем сиденье раздрызганного такси, тоже взвыл: ведь именно так и ляпнул: «писцу... похавать») — соседка повернулась — заскрипело растресканное пальто искусственной кожи — ну и рожа, Господи! — тачка тормознула у какого-то Богом забытого кафе: «Приехали» (это шофер вполоборота... ждет денег) — неловкие пальцы выуживают из кармана мятый рубль — взвизгнув задним колесом, тачка умотала — кожезаменитная куртка сразу задубела на морозе — никак не всунуть в карман мелочевку сдачи: на руке висит эта ободранная кошка...

...Слепухин попытался еще раз обособиться на своем месте в своем городе и без прелюдий всяких втиснул себя за укромный столик в голубом зале ресторана. Он старался не вдыхать забытые ароматы роскошной пищи и утихомиривал метающиеся зрачки, прищуривался от слепящих брызг хрустала, чуть прикасался ладонью к хрумкой белизне скатерти. Изысканным легким наклоном головы он поощрял к изгибистому бегу верткого официанта, добавляющего каждый раз еще что-то на столе, куда взгляду не позволялось еще утыкаться, так как еще не время, еще надо равнодушно поглядывать по сторонам, попыхивать сигареткой. Наконец-то пришла и она, мыкнула что-то, извиняясь за опоздание, мыкнула вторично уже официанту, ловко пододвинувшему стул, и огоньку, вовремя появившемуся из пальца официанта перед ее сигаретой, тоже мыкнула. Зашипели, вмещая шампанское, бокалы, и шныревка в сорочьем фраке умотала. Слепухин поднял свой бокал и, дотрагиваясь им до бокала подруги, позванивая, подавился чуть не вырвавшимся «Дернем!», булькнул, заталкивая звуки обратно... Затравленно оглянулся: обшмыганная табличка «Не курить!» на липкой стене, ровный базар за соседним столиком с монотонным выкриком: «Ты за свои слова отвечаешь? Нет, отвечаешь?» Он воровато курнул из умостившейся в кулачке папироски... удивленные глаза в морщинах напротив, засаленные прядки светлых волос, неровно на-малеванные губы, мутный стакан в руке, вилка с погнутыми зубьями — в другой... за низким окном серые ноги постоянно оскальзывались на узком тротуаре...

Вся будущая жизнь утыкалась в зашарпанные пятиэтажки, гололедные тротуары, и где-то на этих обочинах постоянно маячили плотно упакованные ремнями в черные тулупы менты, и, значит, приходилось срываться от них по выворачивающимся из-под ног льдистым дорожкам.

Он так яростно бился здесь уже почти полсрока за эту будущую свою жизнь, так крепко взнуздal себя, не позволяя опуститься, не допуская размазаться покорной овцой, не давая жадному брюху сожрать единственное свое достояние — уважение к себе. («Самоуважение», — глухо произнес Слепухин, и абракадаброй выстроились нелепые звуки.) И таких сил требовала эта нежизнь, эта пред-жизнь на одно только — не распластаться безропотной вонючкой, — таких сил, такой ловкости и такого умения, что все остальные умения незаметно растерялись за ненадобностью.

Вот здесь они, псы, и подловили его, вот на этом и сковырнули.

Мир, наполненный ранее неисчислимыми возможностями, каждая из которых могла стать твоей единственно только по твоему желанию (протянуть руку, захотеть, откупорить любую, как пивную бутылку), этот мир скукожился нынче до выбора из одинаково серых вариантов с одинаковыми обледенелыми дорожками среди грязных домов и маячащими на обочине ментами.

Вот в чем неистребимая мета зоны: и для истоптанных в безропотную мякину, и для огрызливо оцетинившихся, и для вонючих козлов, и даже для опогоненных псов единственно возможная жизнь отныне и навсегда — жизнь зоны. Так она и перелепливает, перемалывает всех в себя, и теперь уже все они способны будут только воссоздавать эту жизнь — заразные ошметки, блукающие среди серых домов. Их речь, понятия, чувства и желания — это речь, понятия и желания зоны. Но прежде всего — оскопленная речь, слова, из которых только зоновские понятия и вылепишь. Не зря ведь псам здешним всегда достаточно было согласие с собой на словах, на словах только.

Оскопили, волки. Лишили языка и этим — будущей жизни.

Пробивалось отдаленным раздражением и понимание большее, ненужное в своей безысходности. Ведь и в той, вольной жизни похожим образом оскопляли и лишали языка всеми своими единениями, празднествами, лозунгами и, ~~значит~~, тоже

лишали какой-то иной, нормальной жизни. Однако ту силу не сравнять с этой: та не змеилась удавкой именно у твоего горла, а хлесталась красными полотнищами поодаль для всех сразу, та не требовала именно твоего хрипящего согласия с собой.

Слепухин чуточку поллюбовался собой — вот ведь удалось ему разгадать, как зона метит свое поголовье, — и в любовании этом наметилась прочная опора в неудержимом обвале, и теперь только ухватиться за нее; вот даже Долото — до всего ушлый, а и здесь не уберется — тот же язык, та же мета, а значит, не накнокал страшный закон, значит, зря все его колготение. Главное ведь допереть, с чем надо бороться, чему сопротивляться (Слепухин вспомнил, что именно эту мысль Долото ему и вдалбливал), и вот он — понял, и теперь посмотрим... повоюем еще...

Слепухин уже не фантазировал будущих великолепий, а, тщательно разгребая лагерное житье, пробивался памятью к прошлому, но не к яркому пятну восхитительного прошлого, а к мелочам, к забытым привычкам, к жесту и слову. Он все так же лежал на правом боку и невидящим взглядом упирался в спины, колыхающиеся на соседней шконке. Угорь колдовал над чаем и несколько раз обеспокоенно обернулся к Слепухину.

— Девушка, вам не нужен телохранитель? — раздельно и внятно пробормотал Слепухин, улыбаясь.

— Эй, Слепень, у тебя че?.. Крыша поехала?.. — Угорь чуть тронул соседа. — Чайку не желаешь?

— Че-че? — скривился Слепухин, — сопли на плечо, вот че... Угорь чаем угощает! тут не только крыша поедет, все волки на вышках передохнут, у козлов рога отвалятся...

Слепухин прикрыл глаза. Чайку бы он сейчас хлебнул с удовольствием. Выбравшись из-под обломков, ослабевший, будто после болезни, он буквально видел, как маленькие глоточки крепчайшего варева возвращают его к жизни. Только не для того завоевывал он здесь свое место, свой подобающий месту авторитет «путнего» мужика, чтобы швырнуть это все коту под хвост, поставить под удар за чифирный глоток — путнему не пристало с кем ни попадая чаи гонять, а уж с Угрем — и вовсе никаких дел...

Со своим соседом Слепухин все время был начеку — чуял в нем мышару, да и слушок глухой попыхивает, что точно — мышина, и не кому-то там, а самому режимнику стучит. К мышам

было у Слепухина брезгливое любопытство. Казалось бы, каждодневный опыт должен остеречь от опаснейшего душезакладного промысла. Как ни берегли волки мышей своих, как ни скрывали их делишки, но всегда появлялась от них же информация, которая была волкам важнее доносчика (тем более в доносчиках нехватки не было), и тогда уже не слушком, вскипающим на разных странностях, а точным знанием жертвы всплывало имя, и хорошо еще, если успеет мышара ломануться в петушатник — там он неприкасаем. Бывало, что менты берегли своих особо выслужившихся работничков и при ненадобности уже, но то — козлов выдающихся, не мышей, а и береженка их — надолго ли? самое большее — до конца срока. Конечно, повезло некоторым и увернуться, ускользнуть, но на такую крохотную удачу ни один игрок не поставил бы... И вот же — все равно лезут.

Уродством этим выворачивается еще одно, нащупанное раньше загадочное свойство зоны. Здесь другое время. Сегодняшний день, эта вот минута с сигаретой, этот вот цифирь в безмятежный час — только они и существуют. А увернуться на сегодня от работы! закосить на больничку! добыть плитку чая! — перед этими реальными благами, которые можно получить сейчас же, немедленно, рассыплются прахом не только райская благодать вместе с геенной, не только недостижимая свобода, но и завтрашний день, который столь же плотно укутан в неразличимом будущем, как и загробная жизнь. Появись здесь дьявол — ему не пришлось бы дорого платить, скупая оптом тысячи искореженных душонок. Впрочем, станет ли он платить еще за здешний товар?.. А менты платят!

— Наша бригада — это тебе не шаляй-валяй-шабай, у нас знаменитейшая бригада была, — рассыпался перед Угрем мужичонка в благодарность за чай. — Мы таким воротилам свою работу делали, тебе и не снилось... Все делали — дачи, виллы, домики лесные... Привезли нас работать к... — Мужичок склонился и зашептал в ухо Угря.

Тут Слепухин его и признал: Штырь из бригады расконвойников — шустрый мужик и, говорили, путевый — все делал: письма — из зоны, чай — в зону, пятаки затаривал... Вот ведь судьба: недавно еще — сам себе голова, в золотой бригаде, на заказах хозяина, всего вволю имел, да и жил вольно почти, а не угодил чем-то и покотился — кича, этот вот барак вместо домика расконвойных, Угрю в рот заглядывает за гло-

ток того самого чифиря, который сам же в зону без счета перетаскал. Ишь, как подвело его в ШИЗО...

— Понял, на каких людей работали? — приосанился Штырь.

— А кто это? — лениво полюбопытствовал Угорь.

— Ну ты и лапоть... Да это же первый секретарь... — Штырь опять припал к уху. — Вот на нем мы и споткнулись.

— Грабанули?

— Офонарел, что ли? Их грабанешь, как же... они сами кого угодно обдерут... Виллу мы ему сварганили. Глянул бы — сказка! тысяча и одна ночь! все штырем, как в лучших домах!.. Уже и деньги вчерне подсчитывали! (Ты денег таких и не видел никогда.) Оставалась ерунда сущая — бассейн доделать, вот в нем мы и потонули. Короче говоря, все слепили, все штырем, как всегда, бассейн — игрушечка: плитка итальянская фиолетовая с узором, вода отфильтрованная, как слеза — блеск. А жара той весной стояла — мозги плавилась, ну мы решили в бассейне том выкупаться, проверить, как говорится, свою работу. Углядел нас секретарь евонный и хозяину своему по телефону настучал, козел вонючий. Тут прискакал на «Волге» другой козляра с приказом хозяина: плитку содрать и все по новой сделать. Это значит, мы купанием своим бассейн настолько испоганили, что его никакими порошками не отмыть теперь, представляешь?! Я как услышал, чуть не лопнул от злости, но и это не все: новую работу приказывают — за наш счет, в наказание, значит... И вот тут нас заело — аж в глазах, помню, муть стоит, гордыня нас, мать ее, взяла — мы ж мастера! мы же везде нужны! мы ж им, псам, вон каких дворцов налепили, ценить должны... Короче говоря, бес попутал, написали мы про этот бассейн — тут нам и показали, что мы такое и куда нас ценят: плевков ненужный — вот что мы такое — растереть и забыть... Бугра нашего на следствии ухайдакали, сказали — инфаркт, а нас упредили, чтобы не залупались, и разметали по зонам за мелочевые шабашки, и ни слова про бассейн тот, пропади он... Вот и наука нам вышла, почти бесплатная... Ну а здесь — снова непруха... Сначала-то все штырем было, сам знаешь, бесконвойка, да еще на хозяевы заказы работаю — кто ж против хозяева мастера слово скажет? Короче говоря, живу нормально, отделяваю хозяеву дачу не спеша — чем не жизнь?..

Штырь удивленно вылупилсся, уцепив взглядом Слепухина и его прижатый к губам палец.

— Что, мешаем? Ну, мы по-тихому. («Эх, — подумал Слепухин, — не понял. Не в коня наука, не впрок корм».) ...Значит, строгаю я ему дачку, работка, конечно, не та, что раньше, размах не тот, но вырезал я ему игрушечку: лесенки винтовые, перильца, балясины, короче говоря, штырем стоит... Своими ушами слышал, как хозяин хвастал перед псами какими-то мастером и даже одолжить меня обещался. Тут мне и ударь в голову, что за мастерство мое не откажет же он мне в малости махонькой. Написал бабе своей, приезжай, мол, да обрисовал, как дачку эту найти — охраны ведь никакой, для видимости только подкумок дрыхнет целый день, сторожит, значит, от меня. Короче говоря, нашла меня моя баба, да совпало не в масть: как раз хозяин со своими псами отдыхали здесь же. Стоим мы, значит, с бабой у забора, тут нас и выцепили: хозяин выкатился, рожа знаменем пылает, шуму, как от фугана механического, попер он, короче говоря, бабу мою личными своими матюгами, а мне определил: ночь в ШИЗО, днем — доделывать его конуру... И никак я в толк не возьму: ведь сами, волки поганые, гребут все под себя, наживаются, и при этом ну ни капельки благодарности к тому, на ком наживаются. В голову не укласть... Вот ты, к примеру, мне добро сделал, так и я тебя отличаю и при случае помогу, как же иначе среди людей? Или возьми даже помещик какой — ну, угнетал он там крепостных, ну, может, и бил...

— Бил-бил, — прихлебнул Угорь, — я помню... из школы еще.

— Да пусть и бил себе, но ведь и берег, может, не для них, а для наживы своей, но берег ведь, не распушал в прах... по миру бы пошел... а мастерство? — неужто не ценил?.. А у наших псов хоть ты вывернись перед ним — все едино, в грязь разотрет. И сами-то при этом ни к чему не способны, ни к какому делу, ни рук, ни головы, одно умение — начальству половчее задницу лизануть и свою поудобней для лизания подставить... Как для него ни старайся, с какой стороны ни зайди, одна задница ото-всюду... Короче говоря, озверел я от такой жизни: ночь на киче колотишься, днем конуру его прихорашиваешь. Сижу я в гостиной у него, кирпичики перебираю, и такая тоска меня закрутила — ничего не надо. А хозяин в кабинетике этим часом гостей принимает: понаехало к нему — одних машин во дворе, что воронья, впритык. Думаю: спалить бы их всех к чертям, пока они закладывают. Только прикидываю — спалить не получится: дачка-то сгорит, а сами выберутся. А тут он еще вытащил

свою шоблу покрасоваться — показывает конуру — камин, лестница, окна, второй этаж, тьфу, Господи! и хоть бы один увидел, что здесь еще кто-то сидит и кирпичи лепит — как мимо деревяшки тупают. А сам кукаречит: «Я — построил, я — соорудил, я — камин...» Передохнули они таким макаром и опять в кабинетик коньячок хлебать, а я все прикидываю, что бы заделать такое. Из кабинетика уже и песню взывает кто-то, набрались, значит, выше глаз. «Василич! — это хозяину орет пес поглавнее, — гони песенник». Пошебуршались там и потом наладилось у них, спелись, значит, проникновенно так завывали да все громче: «Забота у нас такая...», ну и дальше по песеннику — сдохнуть можно. Вот тут меня и осенило. Спустил я штаны по-шустрому и навалял сколько смог, а потом все это в камин заделал по уму: хоть перебери весь — ничего, а затопи только — и минут через десять от вони из дому сбежишь. Короче говоря, камином моим он теперь перед своей шоблой не покрасуется... Ну а я — известное дело...

Слепухин выбирался уже из узкого своего прохода в сквозной, накинув телогрейку и оглядывая примятую шконку.

— Золотые руки у тебя, Штырь, да к дурной голове приделаны, — бормотнул он в меру громко, — да и голова ничего, но метла без привязи.

Нет, не шконку он оглядывал, а утвердившись силой своего ума, так вот эту круговерть ухватившего, оглядывал Слепухин обломки, из-под которых выбрался в прежней своей прочности. А может, и похлеще все это? помудрее? может, и не надо от этой жизни отрещиваться? может, не зараза в ней, а совсем даже наоборот?.. А словеса всякие — это наживное, это — можно и вспомнить, и научиться — шелуха, одним словом, и, может, под шелухой этой и необходимо иметь что-то поувесистей? «Порожняк!» — и напроць отлетит труха блудливых словопоносников; «козел вонючий!» — и не ослепят ордена, вылизанные из вышестоящей задницы; «петушара позорная!» — и обломится задрюченная псина кукарекать: «поддерживаем и одобряем!» Может, и не надо от этой меты отказываться, а наоборот, выше голову: «Мы из зоны!»

«Потом, потом... разберемся... — припрятывал, приминал Слепухин взбаламутившиеся чувства и быстро нес себя сквозь гомон барака, с шумом, чтобы не влипнуть в неуспешного уступить дорогу раззяву, чтобы слышали и посторонни-

лись, чтобы не сшибать никого с пути, но и самому не уступить, — эх, черт! Долото навстречу...»

— Поклон победителю Проказы, — по-доброму хмыкнул Слепухин, остановившись против Долотова и выворачиваясь так, чтобы и он, слегка вывернувшись, мог разминуться. (Долото и уступит, ему на эти игры начхать, да кто-нибудь при случае предъявит «не по чину нос дерешь!» — тут наука целая, как держать себя подобающе и не зарываться при этом.)

— Куда жужжишь, Слепень? Кого ужалишь? — встречно улыбнулся Максим.

— В козлодральню за тазиком. В чистом теле — здоровее голодный дух.

— Отбой скоро — не успеешь.

— А я хоть тазик заныкаю на завтра.

— Подходи потом: у меня чаек появился — запарим.

Вот теперь Слепухин совсем в порядке... Прочно и крепко!.. Какой оползень?.. какие обвалы?..

Он толкнул фанерную дверь каптерки. Бугры, ментовские мразевки, завхоз — все козлы в сборе — не продохнуть.

— Масонской ложе «Ме», — Слепухин растопырил средний и указательный пальцы в приветствии, — от вольного народа самых свободных зеков в мире...

— Ты бы, Слепень, потише орал, — вскинулся культорг. — Тебе чего надо?

— Для кого Слепень, а для тебя — гражданин Слепухин, и только шепотом... Ты ж хоть и козел, но по культурной части шерстишь — понимать должен культурное обращение. Что это вы тут штудируете? Точите рога по книжке? — ну, смехота... Так кого забодать изучаете?

— Почти в точку, — хохотнул завхоз, — любимся рогами, что на всех нас наточали. — Он показал обложку, на которой всего-то и ухватил Слепухин, что крупным шрифтом: «Режим...»

— Что это за букварь? — Он протолкался к столу и зашуршал страницами.

— Режим работы ИТУ... Все по статейкам, за что нас дрючить и когда.

— Ну и что здесь изучили? за что и когда?

— А за все и всегда. — Завхоз с деланным безразличием потянулся, хрустя сцепленными пальцами.

— Дай на часок.

— Не могу, сейчас Проказа заберет — это он за плиту чая дал полистать

— Вот псина... — Слепухин перебрасывал наугад странички толстенькой книжицы, ухватывая то строку, то слово одно... — Ах да — тазик здесь?

— Так ведь нельзя стирать, — ухмыльнулся завхоз. — Только что вычитал — серпом по белому — запрещается стирка в жилых помещениях, умывальниках и прочее, на виновных накладывается взыскание, а по-простому — вздрючка.

— Так что, завшиветь теперь?

— Завшиветь тоже нельзя — нарушение санитарного состояния и на виновных — опять вздрючка.

— А как стирать?

— В специально приспособленных помещениях. — Завхоз начал выталкивать слова из-под углом вздернутой губы, и этим достигалось полное сходство с изморщенной невнятицей отрядника. — У нас при бане помещение есть.

— Да там же завшивеешь больше, в конуре той двое станут, третьему — лежать только, да и не работает ведь помещение твое с осени.

— А за этот беспорядок должны быть вздрючены виновные козлы из банной службы... Ты не переживай: кого-то точно вздрючат, а может, и всех.

— Эй, Слепень, тебя Квадрат зовет. — В дверях торчала голова шныря.

— Иду, — и обернувшись к завхозу: — Гениальная книга. Заиграй для общей пользы, а Проказе чаем заплатим или вообще — на гвозди его, пусть оботрется...

— Пустое... все одно, долго не удержишь — отшмонают и вздрючат... вон ведь ушей сколько, — завхоз мотнул на свою же кодлу, — я и сам не рад, что ввязался, — завтра уже потянут «что?», да «как?», да «кто надоумил?», да «кто дал?», да «зачем читал?».

— Да ты что? — загомонилась козлячья свора. — Да мы что, не понимаем?

— Понимаете-понимаете, — хмыкнул завхоз. — Все мы все понимаем.

— Тазик-то дай, — вспомнил Слепухин и очередной раз посочувствовал Сереге. (Неплохой мужик был, а влез по дурачости, развесил уши перед отрядником, раскатал губы на до-

срочное освобождение — и влез. Отряднику только и надо — сломать мужика. Кого кнутом, а этого — на пряник словил. Ни досрочного ему, ни в завхозах удержаться — натура не та: все старается послабить мужикам... Сковырнет его отрядник — и кичи не избежать, и напомается, и не видать потом козлячьих легкостей — паши с мужиками на равных да посильнее, и как бы похуже чего не было, ведь для мужиков все равно — козел. Козел — это навсегда. Себе Слепухин вроде зарубки сделал: не забыть завхоза, не дать братве на расправу его, когда отрядник вышвырнет из каптерки на кичу, и это самое большее, что хоть кто-нибудь сможет для Сереги сделать. Перекантуется как-нибудь в экс-козлах, но и хлебнет сполна...)

Тазик не отыскался (отыщи тут — одна посудина на весь отряд, и еще из других одалживают). Слепухин накрутил шныря, чтобы отыскал и сразу под его шконку определил, а потом поспешил (но чтобы не слишком, не «на цырлах») в закуток Квадрата.

Квадрат кивнул Слепухину присаживаться на соседнюю шконку (проход тут между шконками пошире, и сидеть удобно — не колени в колени, еще и табуреточку приспособил Квадрат посередине). Подоспел шнырь и бережно поставил на табурет закипяченный чаплак.

— На пике стоят? — Не глядя на шныря, Квадрат засыпал лошпарь чая в чаплак, и не плиточного, а весовуху, да пощедрому, с присыпком.

— Со всех сторон расставил, не нагрянут.

Шнырь выждал чуток других каких поручений и умотал.

— Закуривай. — Квадрат бросил рядом с чаплаком пачку вольных, с фильтром. — Чего там? — Квадрат неопределенно мотнул головой, но Слепухин понял, что «там» означает — «в каптерке».

— Книжку листают, у Проказы выдурили... Инструкции по работе с нами, чего можно, чего нельзя. — Слепухин неторопливо разминал сигарету, прицеливаясь, когда Квадрат закурит, и загадывал: подставит он свою зажигалку или нет. Подставил! теперь все путем будет!

— Ну и что там можно, а что — нельзя? — насмешничал Квадрат.

— А все нельзя, — в тон ему отозвался Слепухин. — Я краешком только глянул, там же инструкций этих — выше

крыши... Вот зажигалка твоя, к примеру, совсем нельзя, даже и перечислена особо, ну а всего, чего нельзя, не упомянуть. Спать до отбоя, не спать после отбоя — все нельзя...

— А что можно?

— А можно приветствовать начальство, только обязательно громко и внятно, ну и еще — можно добиваться права на труд, если тебя этого самого права лишают почему-то.

— Ладно, порожняк это. Тут такое дело есть... — Квадрат замолчал, выжидая, не поторопит ли Слепухин, не замельтешит ли, будто у Слепухина совсем уже мозги набекрень, будто не догоняет он этих прозрачных ходов. — Слышал, наверно? семейник мой вчистую откинулся.

— Угробили, волки. — Как же не услышать! вчера еще с подъемом выпорхнула эта новость из ШИЗО и мигом разнеслась по зоне, но вот ведь скотская жизнь — вчера только из человека всю кровь выпили, и не вспомнилось за весь день, потонуло в прошлом, куда и оглянуться некогда. — Узналось что?

— Узналось... но это потом, а к тебе у меня такое дело: как ты смотришь, чтобы место его занять?

Вот такого поворота Слепухин даже в самых радужных прикидках не разглядывал. Не зря, значит, он так держал себя все время — особнячком, отдельно, хотя — ежу понятно! — в семейке жить проще, особенно ежели с деловым: всегда легче раскрутиться и с ларьком, и с чаем, и с куревом, да и веселее. (Первый раз услышав на тюрьме это слово, Слепухин навоображал себе всяких извращений — теперь-то и вспомнить смешно.) Однако семейника выбрать — это тебе не на воле семью соорудить — тут если на облегчения только клянешь, если без ума, то вляпаться можно по уши. За семейника во всем с тебя равный спрос, и даже если расплюешься с ним, все равно, по нему и тебе цена. Не раз уже хотел Слепухин прибиться к кому-либо, но те, к кому хотел, не предлагали, а кто предлагал — с тем Слепухин поостерегся, и вот теперь мог с полным правом поздравить себя и погордиться собой.

— Шконку занять? — уточнил Слепухин, прихлопнув ладонью рядом с собой.

— И шконку тоже.

— Я, конечно, с удовольствием.

— Ну тогда устраивайся пошустрей.

Слепухин чуть было не сорвался с места, но утихомирил себя, подловив насмешливый взгляд Квадрата.

— Эй, — выглянул он в сквозной проход, — кто там поближе?! (не слишком нахраписто, но — твердо) — шныря кликните!

— Вроде готово. — Квадрат, сняв с чаплака крышку, прихихивался.

— Барахло мое — в матрац и сюда, — объяснял Слепухин шнырю, и после маленькой паузы, — будь добр... Постой, куда же ты? эту постель убери.

Квадрат снова прикрыл чапак и лег, чтобы не мешать, а шнырь уже приволок весь слепухинский скарб.

— В тумбочке место есть?

— Найдется.

Слепухин быстро растолкал разную мелочевку по ящичкам громадной тумбочки, сделанной по заказу — шкаф какой-то, комод двухспальный; оправил одеяло и закурил, с трудом удерживая уползающие в радостную улыбку губы.

Гугукнула два раза балда, и шнырь заорал на весь барак: «Пятый отряд — отбой!» Скрип шконок и пальм, гомон, кашель — все барачные шумы вспенились и тут же опали к ночному ровному гудежу. Погасли яркие светильники по проходам, и вместо них наполнились желтком маленькие лампочки на стенках, ожили тревожные тени на потолке, обозначились пустые провалы окон и раздвинули тесный барак: заподмигивали снаружи фонари зоны вперемежку со звездами, и поползла в духоту через пустые окна непроглядно темная ночь.

— Звал? — в проходе неслышно обозначился Долото.

— Присаживайся. — Квадрат подвинулся на шконке и передал Максиму кружку.

— Классный чифирек! — Кружка перешла к Слепухину.

— Квадрат, — в проход всунулся завхоз, — ты извини, конечно, но сегодня в наряде Проказа.

— Пусть там стоят на пике... Поминки у нас.

Завхоз отступил и исчез, и почти сразу же втиснулись еще двое гостей.

Слепухин сдвинулся, уступая место на шконке, и кружка пошла по большому кругу — неторопливо, чинно выблескивая бочком в слабом отсвете упрятываемой в кулак сигареты.

Глаза уже привыкли к затемненности закутка, тем более

что из окон, оказывается, не только темень ночного неба вползала в барак, но и холодная белизна снега.

Рядом со Слепухиным сидел Славик, а за ним, у прохода — дед Савва, оба ни на кого не похожие и по-разному на всю зону знаменитые.

Как ни был радостно вздернут Слепухин негаданной переменной своей судьбы, но и его проняло чуть ли не враждебной настороженностью этого ночного чифирного круга. Похоже было, кроме Слепухина, все знали, для какого дела они собрались, и заранее уже оцетинились, изготовившись к этому делу. Что-то Слепухин прохлопал, копясь в тоскующих своих внутренностях, и теперь никак не мог ухватить ситуацию, впрочем, и не старался особо — им теперь с Квадратом в одной упряжке, и, на Квадрата глядя, он тоже чуть оцетинился изнутри к этим трем: «авторитеты-то они авторитетные, головы-то они умные, но каждый со своим личным заскоком, в каждом свой чудик сидит да и живут наособняк и по-своему каждый, а рулит в отряде его семейник Квадрат, а не кто-то из них, пусть хоть у них семижды семи пядей на лоб»...

И чифирек закончился уже, и отхвалили его как положено... покурили...

Квадрат погнал шныря еще с одним чаплагом и по обязанности хозяина первый потянул ниточку разговора — дальнюю и случайную.

— Что, дед, прибавилось в твоём букваре мудростей? — затянул узелок и передал Савве.

— А как же, — подтянул дальше Савва (немного сильнее, чуть понапористей), — хочешь послушать?

Саввин цитатник был известен всей зоне и даже хозяину, и, говорят, хозяин иногда вызывал деда и полупросил, полуприказывал, а дед с охоткой изрекал; бывало — хозяин похохатывал, бывало — хмурился и изгонял Савву, однажды и на кичу закрыл — так говорят. Точно было то, что Савву старались не трогать и жил он себе крепко и отдельно, лечил нашептываниями и дрянью всякой разные болячки, и лечил здорово, особенно все кожные заразы, лечил и псов, но не всех, некоторых пользоваться отказывался наотрез, лечил и детей псовых — приводили к нему, когда подпирало; никуда не лез, а если уж высказывался о ком-то, что делал крайне редко, его решение принимала вся зона: надо признать, нюх у него на все скользкое и нечистое был поразителен.

Шнырь принес горячий чаплак и, пока Квадрат засыпал чай, ввернул по его команде лампочку прямо над шконкой, откуда ее потому и убрали, что светила Квадрату в глаза. Савва тем временем в сдвинутых далеко от глаз очках листал свою истрепанную общую тетрадь, которую всегда с собой таскал в специально для этого пришитом изнутри телогрейки кармане — это и был Саввин цитатник.

Когда-то и Слепухин пролистнул эту тетрадку, отогреваясь у Саввы в его будке (там дед должен был держать в тепле и чистоте всякие шланги и прочий инструмент, которому грязь и мороз противопоказаны. Надо сказать, что работку эту устроил Савве мастер после того, как дед очистил его дочку от каких-то там лишаев — завидная работка и не козлячья, а Савве на старости лет — в самый раз.) В общем, любопытная тетрадь, но Слепухин на эти дедовы умствования поглядывал снисходительно, как, впрочем, и все остальные. Ну, например, было там такое: «Все люди — овцы; любая овца для кого-то — козел; любой козел для кого-то — овца; все овцы — козлы, а люди — тем более». («Не Спиноза», — сказал тогда Слепухин. «Это и хорошо, — буркнул Савва, — тем более ни ты, ни я Спинозу этого в глаза не читали... Ничего, посидишь — допрешь, допрешь — допрешь».)

Хлопок двери, быстрая проходка по скрипающим половицам, и рядом с Долотом втиснулся Малхаз, который должен бы сейчас блаженствовать на чистой коечке в уюте медчасти, куда закосил почти неделю назад.

— Думал уже не ждать, — буркнул Квадрат, передавая ему кружку.

— Едва добрался. Все дыры наново заделали, и путанка всюду свежая. Кто-то сдал все ходы целиком.

Если уж Малхаз с трудом прошел, то и впрямь прочно заделали все ходы. Этот стремительный грузин с ловкостью ящерицы проскальзывал через загородки по локалкам, сквозь промзоны, наводил дороги в БУР и на кичу, правда, и прапоров у него было подвязано — чуть ли не вся их стая, и солдат через одного, и, может, из офицерских псов тоже, но известно же, что эти волки, сколько ни подвязывай их, прикроют тебя тогда только, когда самому ему это ни на децело не грозит. При этом был Малхаз нетерпим, капризен, коварен, слышал насмешку, где ее не было, и реагировал стремительно. Сценка, когда Малхаз с

резко проявившимся акцентом наседавал на почудившегося насмешника: «Нэт, ты за сылава сываи атвычайш?!» — могла бы выглядеть донельзя комично, если бы с последним шипящим звуком не пускался вдогон резкий кулак. Столь же неожиданно Малхаз мог выплеснуть на кого-то незаслуженное радушие. Не успевающий думать, прикидывать и выбирать с той же скоростью, с какой выбрасывались кулаки, выплескивались слова, неслись, не чуя земли, ноги, он все же безоглядностью своей, лихостью и какой-то детской наивной искренностью испарял из памяти окружающих разные свои многочисленные пятна и пожинал почти одни только симпатии. Но, опять же, симпатии эти никого не сводили с Малхазом совсем уж накоротке, видимо, пятна, хоть и испарившиеся, предупреждающими знаками оберегали от такой оплошности. И все это не мешало (а может, и помогало) Малхазу держаться в отряде кем-то вроде рулевого-дублера, рулевого-2, и не только держаться, но и быть этим самым дублером, что, в свою очередь, накладывало на его отношения с Квадратом...

Слепухин спешил выкарабкаться из лабиринта бесконечных этих уточнений, скобок, противоречий, не видя конца опутывающему погружению и чувствуя, что сами эти блуждания не только не приближают его к пониманию Малхаза, но и запутывают окончательно. Он отхлебнул, передал кружку, вспомнил, с какой именно досады начал он мысленно лязгать косточками Малхаза — трудно будет пробраться завтра в соседнюю локалку на денюху к землячку, а хотелось бы, тем более в новом своем положении Квадратова семейника, но не для выпендрежу, нет...

— Что ты, Слепень, меня глазами кушаешь?

— Да вспомнил, Малхаз, что мы с тобой впервые чай пьем вместе...

— Ты бы сказал раньше, что Квадратов семейник, — уже два пуда выпили бы. А то смотрю на тебя: бобылем, сам-на-сам живешь. Думаю себе: вот — гордый человек, молодец какой! Говорю себе: не беспокой, Малхаз, это гордое одиночество гордого человека своим пошлым чаем.

— Успеете еще два свои пуда выпить, — медленно процедил Квадрат.

— Разве это будет тот чай? Теперь с каждым глотком этого чая я буду проглатывать горькие сожаления и буду думать

себе: зачем ты, Малхаз, столько ждал? почему сто лет назад не открылся этому человеку? ты — гордый человек, он — гордый человек, вы могли сделать гордую семейку гордых людей. Я буду спрашивать себя: почему, Малхаз, этот удивительный человек, почти откинувшись, растоптал свое гордое одиночество? И я не найду ответа.

— Слепень, в отличие от нас всех, смотрит в будущее, — хмыкнул Славик. — В двухтысячном каждой семейке отдельную хату дадут.

— Так это ведь глав-козел обещал — для своих только, — ответно торкнул Слепухин Славика.

— Завязывайте, — бросил Квадрат. — Для дела собрались.

— Значит, так, — Малхаз как бы смахнул в мусор весь предыдущий треп. — Все, что можно было, — выудил. Влепили Павлухе по просьбе отрядника пятнашку за отказ от работы. Он — хозяину: «Пиши, что отказ в две смены пахать, иначе — голодаловка». Хозяин — Красавцу: «Забирай и обломай». Красавец Павлуху закрыл в пустую «ноль-пять», чтобы, значит, о голодовке в зоне раньше времени не узнали, и — морозить. Павлуха держится. Красавец говорит, что бросит его в «ноль-три». Назавтра Павлуха вскрыл сонник. Побывал он в «ноль-три» или до этого сонник вскрыл — неизвестно. Никто ни слова — как воды в рот, даже фельдшер — ведь зек, понимать должен — лепит чернуху, он, видишь ли, не в курсе.

— А про «ноль-три» узнал?

— Даже медицинские карточки листал на них. Сидят там два петуха, подельники по групповому — малолетку трахнули. Говорят, из себя — бычины, один в одного. Пришли этапом два месяца назад и до звонка по полгода всего. Красавец сразу по приходу их подвязал. Они по его указке — беспредел, а он их содержит в подвале почти до звонка, а потом на этап, и с тюрьмы они откидываются... Такое, значит, кино...

— Как Красавца перевели подвалом заправлять, душняк пошел плотный, — вставил Слепухин.

— Он из нас себе капитанские погоны выкусывает и, на него глядя, остальные пасти щерят, чтобы не отстать, а хозяин только подзуживает... — подбросил Славик.

— Ваши открытия козе понятны, — хмуро остановил Квадрат. — Не порожняки пришли гонять. Ты метрики этих петухов знаешь? — уточнил он у Малхаза.

— Не хуже своих.

— Решать надо, мужики.

— Реша-ать? — протянул Савва. — Да ты ведь решил все, еще когда с отрядником штырил. Или не так? И я решил, когда отрядник щенка своего пользоваться привел. И он решил, когда обещал меня из моей будки выкинуть и, если не образумлюсь, Красавцу доверить мое перевоспитание... Все все решили — чего ж дуру гонять?

— Куда ты тянешь, Савва? — зашипел Квадрат. — Чтобы я свою башку и пасть сунул невесть за что? Чтобы я этим овцам, — он мотнул головой куда-то в глубь барака, — помог залупнуться и крайняком пошел? Так еще хуже будет. Что мы можем?

— Ну, можем всякое, — вставил Долото и продолжил раздумчиво: — Если дружно — можем одно, и есть надежда; если каждый за себя — можем другое и почти бесполезно, но кое-что можем, пока у них мандраж не прошел.

— Вот пока у отрядника очко играет, я и нажал на него: ларек, посылки, свиданки да и на работе чуток послабят с перепугу...

— Маловато сторговал на Павлухиной голове... — съехидничал Савва.

— Не так уж и мало, Савва. Павлуха мой башкой своей фортку-то толкнул, приоткрыл, переполошил волков, фасон стараются держать, но трухают. Теперь немного вздохнем. Чего ж зарываться и рисковать тем, что Павлуха сделал? Авось и не захлопнется пока фортка-то? Может, допрут, что им это тоже не в масть? Хозяин, хоть и волчара, но себе ведь не враг?

— Чтобы не захлопнулось, кость подставлять надо, а не «авось» твое.

— Каждый за себя, — засверлил Малхаз в Савву искроченными акцентом словами. — Почему я свою кость подставлять должен? Почему я этих овец защищать должен?

— А если — тебя к Красавцу, а он — в «ноль-три»?

— Меня? Красавец еще долго подумает, и отрядник — два раза подумает, и петухи из «ноль-три» — они три раза подумают, а потом сами из хаты вылетят. Я на месте Павлухи прежде своих сонников много чужих искромсаю. И братья у меня на воле — дай Бог. Меня? — они еще пять раз подумают...

— Подожди, Абрек, — остановил Долото (ни тени насмешки, а одна лишь почтительная уважительность), и Малхаз

остыл. — Ну а если бы Квадрата в БУР, не дай Бог, конечно, или еще куда, и ты бы рулил здесь, и, значит, решал не только за себя, но и за этих... овец? и за тех, кто уже в подвале?..

— Тогда — другое дело. — Малхаз сильно растерялся. — Не знаю, Максим. Тогда — трудно... Такое кино...

— Голодовка Павлухи им все карты путает, — рассуждал Долото, — скрыть ее трудно, врачи все знают, да и не только врачи, значит, будет проверка какая-то, чтобы нашими словами все это дело похоронить. Чтобы мы подтвердили, что не было работ в выходные и в две смены, что Павел от обычных работ бастовал и, значит, наказали его правильно, а голодовка его — необоснованна, ну и так обо всем. Все дело в том, что мы говорить будем при проверке этой...

— Ты их всех научишь, что ли, что говорить?

— Не наседай, Квадрат, всех и не надо.

— А ты, Славик, что тишком примолк?

— Я ж — козел. Что меня слушать?

— А по делу?

— По делу, так Долото вроде прав. Упереться надо, пока совсем кровь не выпили. Но ведь мои слова мало весят — мне всего-то два месяца до звонка, на одной ноге простоять можно, даже и в БУРе. Ну а если бы трубить и трубить еще — честно говоря, не знаю, что бы я сам выбрал, но душа все равно бы просила — упереться.

Кто-то покашливанием предупредил о себе.

— Максим, — тихонько издали позвал завхоз, — там тебя петушок этот ждет... твой который...

— На, передай ему. — Максим достал из кармана пачку сигарет. — Нет, не надо — я лучше сам.

— Долото под пресс всех тянет, — лениво и вроде равнодушно начал Квадрат. — Пускай каждый проверкам ихним отвечает как умеет, а сговариваться незачем. Гусей дразнить — дохлое дело. Валишь на Павлуху никто не станет.

— Кто не станет, а кто — как умеет, — высморкался Савва (высморкался шумно и демонстративно, мол, сморкал я на весь ваш базар).

— А Максимка-то вон как даже умеет, петушку у него — ой какой, — поцокал Малхаз и прищелкнул пальцами.

— Окстись, Малхаз, — попытался окоротить его Савва, — он же убогенький.

— Глухой-немой? А зачем с ним разговаривать? Кто же с петушками разговаривает?

Слепухин видел этого «обиженного», который иногда часами выстаивал на морозе, дожидаясь Максима, потом брал у него, что тот давал, и сразу же уходил — равнодушный и вроде насквозь замороженный: эдакий хрупкий забледыш, пацаненочек с огромными глазищами.

— Ну так до чего мы добазарились? — Максим усаживался на прежнее место.

— Тут думаем себе: «Куда Максим петушка долбит?» — засмеялся Малхаз. — Почему Максим такой таинственный? почему не расскажет друзьям про своего петушка? Может, друзья тоже интересуются петушка долбить?

— Ну ладно, — Славик поднялся, — вроде каждый остался при своем и каждый решает за себя. Если так — то пора спать.

— А ты не интересуешься про петушка? — По голосу угадывалось, что Максим озлился нешуточно. — А то послушал бы... как раз к нашему разговору история. — Долото говорил уже спокойней. — Не слышал я, чтоб зеки по доброй воле в косяках своих кололись, но я про себя приколю, если вы не против?..

Слепухину стало неловко от Максимова «зехера», и, скрывая неловкость, он потянулся к сигарете. Славик сел, видимо, тоже не зная, что лучше делать в нелепой ситуации, Савва попытался встать, но Максим удержал его.

— Было это, как говорится, давно, но, к сожалению, и вправду было. Шел я этапом через Волгоград. Попало под очередной съезд, и по поводу запланированного ликования и повышенной бдительности этапы все заколдобило. Подобралась у нас хата путевая, мы и взялись качать права. Не то что совсем от скуки (кто шел Волгоградом — знает, что условия там — хуже некуда, а кормежка — даже здесь вспомнить противно), но и от скуки тоже, ведь этапом чего уже про удобства мечтать? — терпи до места. В общем, всей хатой три дня голодуем, что само по себе куда полезнее, чем их помои, но и свое все подчистили уже до крошечки. Является на четвертый день к отбою самому подкумок тамошний — малорослый альбиносик, розовый, ресниц не видно, глазки пустые до дрожи. Как водится — руки за спину, пошли. Притопали вниз в подвал, а подвалы там еще от царских централов сохранились — теперь так не строят: потолки сводчатые и по дверным проемам видно, что стены — метра

полтора. Завел в хату и сообщил: «Кричать здесь можно до посинения — никто не услышит, а выйдет отсюда только тот, кто скажет про себя: «Я — дерьмо», потому что дерьмо вы все и есть, — спокойненько так говорит. — Ну, нет желающих? Так я и думал, значит, переселяемся сюда». Потом привел бригаду, вроде для шмона: раздели нас, шмотье унесли и оставили голышом, а последним аккордом — облили всю хату водой, а в хате кроме камней — ничего, даже параша нету. Выяснилось, что температура сильно ниже ноля, чего мы в запарке сразу не заметили — вода замерзла. Ночка была та еще... бред сплошной... начались и бредовые разборки, кто, мол, непременно, скурвится и скажет, что велено. Как водится, про кого-то решили, потом про другого и — пошло. Били зверски и на ходу зверея. Я вроде и совсем спятил — не вмешиваюсь ни во что и все вдоль стен торкаюсь... Психоз — это не передать, страшная штука. Как-то пережили мы эту ночь. Короче говоря, стали утром выводить по одному, а обратно не возвращают. Выведут, потом — провал, вроде вечность прошла и — следующего. Вывели и меня. Альбиносик этот и два мордovorота в старшинских погонах... Трясусь до психа — холод, голышом, вообще все это — трясусь без удержу. Подвели меня к соседней хате — дали заглянуть: вроде комнаты общежития, только с теми же страшными сводами, и четверо раскормленных лосей кайфуют там при полном достатке и в тепле. «Эти, — говорит подкумок, — для того и спасены от вышки, чтобы помощь нам оказывать». Дали и следующую осмотреть — обиженка страшнячья: видели, как в сортире уличном черви в яме копохаются? — вот похоже. В общем, так: делаешь, что велено, — забираешь шмотье и наверх в этапный продол, не делаешь — сначала в пресс-хату, потом из нее — в обиженку, ну и старшины-кабаны наготове уже... Такое вот, как говорит Малхаз, кино... Про расписочку тоже не забыли, мол, к администрации претензии ни-ни... А в хату свою я не попал — раскидали нас по разным этапкам, скричались потом, узнали кого куда... Так вот, про мальчишечку этого глухонемого никто и не вспомнил, а подкумок — тем более не допер, чего это он молчит да глазами лупает. Вот и протацили его через все. Я его только в этапном отстойнике увидел, когда петухов затолкали. Ну и дальше, оказалось, в одно место идем...

Долото замолчал, и Слепухин с перехваченным дыханием вспомнил свое, но потонуть в своем не успел.

— Ну... — с вызовом протянул Долото. — кто предъявит?
— Не заводись, — остановил Квадрат. — Никто предъявлять тебе не посмеет.
— Ну, тогда можно и спать, — с нарочитым равнодушием потянулся Максим.
— Да чего там спать? Выспимся. Давайте еще чапlachок оприходуем.

Растаяла почему-то враждебная настороженность, и расхотелось. В главном деле к согласию так и не пришли, но это уже не выплескивало наружу нетерпимостью — появилось ощущение, что они «вместе», и ощущение это — редкое и удивительное — берегли и подкармливали осторожными словами, как огонечек слабый взращивали, поддувая на него.

— Еще чапlachок? Ценная мысль, — поддержал семейника Слепухин. — Только пойду — место для этой мысли освобожу.
— Шныря кликни там.

Слепухин выскочил на мороз и, задерживая дыхание, помчался к загаженному строению в другом конце барака. Там шуровали, наводя относительную чистоту, трое обиженных, для которых с отбоем-то и начиналась самая грязная работа. «Когда же они спят? — впервые осознал Слепухин. — А может, и не спят вовсе? Может, у них организм ото всего этого напрочь перестраивается? А что? — вполне возможно». Шкварные стояли поодаль, пока Слепухин справлялся со своими надобностями, и высеивали труху из-за разных подкладок, в поисках табачинок, которые бережно укладывали на общую закрутку в одну бумажку. Слепухин свистнул, протягивая в их сторону ополовиненную пачку сигарет. «Господи, как же они обгажены», — а когда стало понятно, что шкварной с мерзейшей рожей, взяв пачку, тут же предлагает ее отработать, он быстрее своей же вспухающей тошноты помчался к барaku. Только на крыльце Слепухин отдышался.

Прислонившись к стене барака, торчала стоймя грудa тряпья, и из нее выглядывала морда петуха, определенного шнырем на пику. Глаза открыты, но не шевелится. Может, замерз? — в такой одежде, на подкладке со вшами только, немудрено, вон сколько времени уже стоит. Нет, вроде — смотрит, моргает. «Точно, все у них иначе, и потребности у них другие», — окончательно убедился Слепухин.

Он быстро вскочил в тугую, на плотной резине, дверь бара-

ка, стараясь лишний раз не прикасаться ни к грязной двери, ни к мешковине, пологом преграждающей хоть на чуток стылый холод. Из-под ног швырнулась в сторону здоровенная крыса, и Слепухин с брезгливой поспешностью ополоснул руки под проржавевшим краном, плечом отстранил следующий мешок — проем в собственный барак. Еще несколько крыс шуганулось под пальмы, и на всем длинном сквозном проходе Слепухин слышал за спиной и у самых ног омерзительный писк и дробчатый переполох серого ночного общества. Провалившись в мертвячье небытие люди тяжким дыханием утрамбовывали воздух барака чуть ли не в живую осклизлую плоть. Ошалевшая старая крыса в панике помчала напролом по нижнему ярусу пальм, по одеялам, по подушкам, по лицам и огрызнулась в писке, грукнувшись, не удержавшись, об пол.

— Ну и крыс развелось — ногу поставить некуда, — Слепухин усаживался на место. — Интересно, чего они хавают, если самим хавки не хватает? Ни крошки ведь не остается. Может, поймать одну и спалить? Я слышал — помогает, уходят они после этого.

— Скоро — еще больше будет, самое время для них начинается, — печально вздохнул Савва. — А палить не следует: это же души наши, чего их палить, потерявши...

— Ну, Савва, ты даешь... То у тебя, читал как-то, люди — козлы, сейчас — крысы... А сами-то люди — есть на свете или как?

— Или как...

— Приколлот бы, Савва, как ты все это разумеешь? — Квадрат не скрывал насмешки.

Слепухину стало неловко за Квадрата, ведь явно тот старался вызвать Савву на очередной его загибистый заскок и тем самым как бы под загибом этим похерить все дедовы неодобрения Квадратовым рулежом и Квадратовыми решениями.

— А то мы себе думаем здесь, что люди мы, — продолжал Квадрат, — а на самом деле — невесть кто...

— Приколлоть можно, — Савва не отрываясь смотрел на Квадрата, — только ты зря себя заранее успокаиваешь, что это так... шорк по ушам... Это — правда все, а правду не всякий выдержит.

— Ну вот — на понт решил взять, — хохотнул Квадрат.

— Начало всей этой мерзости, — отодвинув в сторону шут-

ливую внимательность к сказке, заговорил Савва, — начало, пожалуй, с самого сотворения мира идет. Значит, так, Бог там или еще кто, кого под Ним разумеют, соорудил человека совместно с ассистентом своим, тоже талантливым типом, но никак этот ассистент с шефом не могли договориться по главным своим вопросам, дьявол все ухмыляется, что шеф его чересчур уж прекрасодушен, что ли, не видит за своими ахами — охов. В общем, соорудили они человека для выяснения этих своих разборок, — вы уж не обессудьте за жаргон, — но въелось, да и понятней вроде. Человек для них — материал, сырье для сотворения всего остального, чего сам человек и сотворит, и вот, что он сотворит, что у него получится — это и решит, кто прав в ихнем высоком споре. Такая, значит, лаборатория, эксперимент вроде бы... Ну и ассистент — дьявол по-нашему — не мешает шефу творить человека, даже и помогает советами, чтобы человеку, значит, много сразу дать всего, чтобы он идеи своего создателя мог реализовать. Тот человеку душу сует, а ассистент и уточняет даже — необходимо, мол, по-вашему, господин, образу и подобию, точь-в-точь, чтобы созидающая душа была. Тот в душу совесть вкладывает, чтобы она, значит, душу оберегала, сохраняла, а ассистент вьется: мало, мол, надо еще всунуть заманку награды за сохраненную душу, ну и так далее: тот честь в душу сует для пущей охраны, а ассистент подсказывает, что надо бы и попроще понятие, вот как у нас тут: «человеком главное остаться». Тот — способность разуметь прекрасное, ассистент — плюс к этому — способность вообще разуметь, рассуждать, подвергать сомнению и анализу, что, конечно, всем подряд не понадобится, но вдруг кто-то надобность ощутит — пусть будет про запас. Короче говоря, соорудили. Плодить ему, значит, страдать, размножаться и все остальное, а те — наблюдать будут и ни-ни — не вмешиваться, для чистоты эксперимента, значит. Ведь сказка эта, что дьявол торгует потом души, чтобы господину своему предъявлять и доказывать, как низок человек и, значит, как ошибался в их споре господин, — сказка эта близка к истине, но — наыверт близка. Не вмешиваются они, наблюдают только, а мы здесь копошимся, как микробы под микроскопом, думая, что сами по себе, что цель есть непознанная, а цель-то одна, как у мушек помеченных — чтобы они там выяснили, кто у них прав, а кто — не очень, и потом новую себе игру придумали, уже без нас... В общем, души мы

себе ампутирuem сами, доказывая правоту ассистента. Как пожелалась крошечка самая утешения или послабления махонького не по совести — так кусочек души вошкой противненькой из нас и вылезает. Ну, а если сильно против совести, если, например, под тебе назначенный пресс другого вместо себя втолкнул — тут не кусочек, тут большой живой клок души крысой выскальзывает, и та себе плодится и размножается, и следующие в помощь на нас лезут. Ну а после смерти, когда совсем искромсанная душа выковыривается из трусливой оболочки — она гадами всякими выковыривается: жабами, гадюками — у кого сколько осталось, бывает, и комариком плевеньким. Кто ж не искромсал свою — у того выпархивает после смерти птицей, может, или еще кем, но не ползучим, или если одумался кто и хоть последнюю крошечку изморщенной души оберегать стал — там, может, паучок успеет появиться — противненький, но безобидный... Короче говоря, эволюция, конечно, есть, но в человеке — начало ее, а не конец... Потому я и говорю — крыс нынче прибавится у нас...

— Тебе бы, Савва, мужиков тренировать, как на психушку косить... сам не пробовал выскользнуть из этой крысиной ямы в благодать больничную? — поддел Квадрат.

— Есть грех, — ухмыльнулся Савва, — попытался однажды.

— Так говорят, что там еще худший ад, хоть и с простынями белыми да с маслом-кефиром.

— Это, Максим, если кого решат и вправду психом сделать, мозги перекрутить — политическим или верующим или лично кому-то, — объяснил Савва Долотову. — Тем и вправду не позавидуешь. Я там был на экспертизе — посмотрелся и послушался... Ну а кто по уголовке косит и ни на дуновение коммуначьих глыб не трогает — тем, право слово, благодать: ешь, отдыхай, читай и аккуратненько старайся лекарства не глотать или проглоченные выводить — всех делов...

— Так что же экспертиза решила? — напомнил Квадрат.

— А мой психо-лекарь спрашивал-спрашивал меня, глаза у него коровьи да без зрачков, грустный такой еврейский нос со всегдашним шмыгом — он мне и говорит: «И так жить грустно, а тут слушаешься вас — совсем выть хочется. Ну, — говорит, — вас к черту. Я веселых психов люблю». И отправил обратно ни с чем.

— А как же, Савва, там, где уют и порядок? Ни крыс тебе, ни вшей разных, — попробовал запутать деда Максим, — там, значит, души — огурчиками пузырятся?

— А там, может, их и нету уже совсем, не с чего пополняться крысам да вшам — вот они и уходят на саморазмножение... про Крысолова слышал? Так Крысолов, это не трубочка задрипанная, а символ — матерьял душевный кончился — они и ушли, а дети разгадали, что вокруг творится, и сами ушли — спастись попытались...

— А и правда, ну тебя к черту! — засмеялся Долото. — Я, оказывается, тоже веселых психов больше люблю.

Наверное, все присутствующие, как и Слепухин, поухмылялись так дружно отчасти и для того, чтобы ухмылочками этими заплести, затолкать какую-то липучую трясинную гадость, которую незаметно разгреб чуть ли не под самыми ногами дед Савва. И выворачивает же он откуда-то все это... ползает это все в нем где-то, крысы эти... ну, честное слово, гадость несусветная.

— Ну так ладно, — явно начал закруглять ночной разговор Квадрат, — Долото тут хорошо обрисовал, как это под беспределом бывает... толковать про это нечего — каждый свой случай, наверное, вприпрыжку имеет, ну а если не имеет — значит, зеленый еще... Я с Максимом согласен — бесполезняк под пресс лезть, и поэтому нечего рисковать тем, чем Павлуха уже нам пособил. Перештыри, Слепень, поутру с буграми и завхозом, а я — с мужиками попутевее, и чтобы они дальше всем: каждый с проверяющими пусть сам шурупит, но если кто начнет на Павлуху валить, поможет им закопать его — в стойло загоноу... Себя выкручивай — Павлуху не заваливай...

— Другое я говорил, Квадрат, — вздохнул Долото, — ничего вот по новой менять в своих круговертях не стал бы, только бы встречу с альбиносом этим переиграть...

— Ну, у тебя и напрочь жбан перегрелся и крыша — набекрень, — отмахнулся Квадрат. — Вот и дед уже про твою крышу новый афоризм в букварь рисует.

— Да... Савва, — вспомнил Слепухин, — ты же таки не прочитал из букваря-то, зажал мудрости... — Слепухин хотел помочь Квадрату, к досаде которого Долото возвращал все на прежний круг, но, похоже, не «догнал» — услуга оказалась медвежья, по крайней мере, неудовольствие семейника Слепухин, хоть и не с лету, но уловил.

— Давай, дед, раз обещал, — процедил Квадрат.

— Обещал, значит, обещал. — Савва отставил тетрадь на вытянутую руку, поворачивая под слабую лампочку. — Каждого ждет своя пресс-хата: минешь — дерьмо, не минешь — петух; кто не петух — тот дерьмо...

— Вот скажи мне, — начал горячиться Малхаз, — пишешь-пишешь — зачем пишешь? кто эту всю шуру-буру читать будет?

— А и не надо читать. Не все, что пишут, читать надо. На кладбище вон тоже пишут — так не для чтения же... Не надо этого всего читать, — повторил Савва.

— Скажи ясно, Савва: согласен с Квадратом? Я твоих этих... — Малхаз пошевелил пальцами, — не понимаю.

— Куда яснее? — тихо придавливал каждый звук Савва. — Не согласен, но и мешать не вправе и не стану. Тем более Квадрат ведь и определил, — он уже усмехался, — каждый по своему разумению... он же не мешает мне — по моему разумению...

— Да вы же с Максимом в яму всех толкаете, правда, каждый в свою — хоть бы про одно, а то — каждый себе... — Квадрат вроде чуть оправдывался. — На гвозди тянете...

— Гвозди и так будут, — вступил Долото, — без того, чтобы кому-то крайним пойти — не бывает, без этого вся их работа с нами развалится... главный их кнут, которым нас в грязь вбивают, — это «без последнего»... тогда только все сбиваются в стадо, когда «без последнего», и стадо послушно и управляемо, когда «без последнего», и даже неплохо себя чувствует, когда и внутри для своего пользования свивает тот же кнут...

— Максим, следи за базаром, — предупреждающе вмешался Славик — именно предупреждающе, а не угрожливо, и, видимо, вовремя: по тому, как вскипающе пузырились слова и как близко они подбирались к личным обвинениям, по всему этому чувствовалось, что Максим может вгорячах «зехнуть»...

— Ладно... увлекся, — устало бросил Долото. — В общем, одним Павлухой, хоть и мертвым, псы не насытятся — убедить им надо, что Павлуха сам виноват, а значит, еще припугнуть, а значит, — крайняков найдут. — Максим встал. — Вот этим-то, кого на гвозди кинут, мы сейчас отказали в помощи и надежде... А гвоздей у них на всех хватит...

— Все! хана! приплыл! — завопил, шепотом, но завопил Малхаз. — Сели все! ничего не понимаю! один кричит: ты на гвозди бросаешь! другой кричит: они на гвозди бросают! третий кричит: эти бросают, а эти не помогают! У меня одна голова, и ваши все в нее никак не влезают! Кончай базар! садись все! Сидим все — молчим!

— Долго молчать будем? — улыбнулся Савва (на Малхаза он смотрел как на любимое дите).

— Присядь, Максим. Базарили по-человечески и добазаться надо по-человечески. — Малхаз пробовал говорить степенно, как, по его мнению, следовало говорить в подобном случае. — Квадрат не мешает делать Савве, что Савве хочется? Какие предъявы к Квадрату? В чем и кому Квадрат отказывает помочь? Максиму нужна помощь? Я Максиму всегда помогу — Максим знает это. Какая тебе помощь нужна?

— Спасибо, Малхаз. — Долото кривился, пряча улыбку. — Ты мне, если к Красавцу попаду, мойку туда загони.

— О чем разговор? Зачем даже просить? Малхаз знает, что надо делать. Павлухе — все загал и тебе — все загалю: и курево, и мойку, и сушняка пожевать... Даже обидно, что ты беспокоишься...

— Ну, значит, не о чем беспокоиться, — улыбаясь, окончательно поднялся Максим.

— Мужики. — Квадрат играл голосом в раздумчивость. — Может, раз спорняк вышел, сделаем по-путнему: на бумажках и по большинству?

— Оставь, Квадрат, — махнул рукой Савва.

— Пустое, — согласился Долото.

— Тогда — решен-но. — Квадрат надавил голосом, ставя точку.

— Спасибо, Квадрат, — цифирек отменный.

— Отменный-то отменный — жалко, мало.

— Можно еще.

— Ночи мало.

— Ты, Абрек, в медчасть!

— Здесь спать буду. С подъема побегу.

...Слепухин угнездился под одеялом раньше, чем шнырь успел унести оприходованный чаплак и выставить табурет на положняковое ему место — в сквозном проходе.

Шнырю сегодняшний день тоже удачно образовался — вон

сколько чая выгреб себе из всех выпитых чаплаков, пожалуй, на пару дней хватит вторяков гонять. Слепухин осознал, что радость его по поводу миновавшей поры, когда изводился он отсутствием курева или отсутствием вот этих щедро отдаваемых сейчас не кому-то там, а занюханному шнырю вторяков, радость эта чуточку стыдная, неправильная какая-то, но ничего с собой сделать не мог и радовался...

Он блаженно потянулся, охая и выкручиваясь в потяге, проверил плотность одеяла, затыкающего отовсюду его нору, убедился в том, что телогрейка не съехала с одеяла, и закрыл глаза. Мысленно перекрестился, мысленно прошептал «Пусть все будет хорошо» — это все, что осталось в нем на сегодняшний день от ежевечерних заклинаний судьбы, ежевечерних договоров с судьбой. А ведь недавно еще договоры эти были длительными и серьезными и не успокаивался Слепухин, пока не проборматывал все слова, им же и навороченные в попытке предусмотреть все, учесть все возможные напасти и заранее отгородиться от них, загодя предупредить (судьбу? Бога?), что этого вот сюрприза не надо завтра и этого тоже не надо. Бормотания его долгие были стилизованы под подсмотренные где-то молитвы или навеяны давними какими-то книгами, но более походили на переговоры где-нибудь в синоде, как Слепухин эти переговоры себе представлял. Если же он сбивался, то заставлял себя начинать все сначала. И вот, что осталось на сегодня судьбе, так щедро осчастливившей его, вот она, цена человеческой благодарности: «Пусть все будет хорошо» — ты, мол, сама там должна знать, что мне хорошо, и будь добра, сооруди все это.

Слепухину стало неудобно, что он так вот запанибрата с судьбой, но он сразу представил себе судьбу свою роскошной и чуточку шалой девахой, которая, конечно же, неравнодушна к нему, к Слепухину, и вообще — нормальная подружка, преданная и незлобивая.

С удивлением Слепухин обнаружил, что мягкое облако сна, всегда подхватывающее моментально его измочаленную за день душу, сейчас даже краешком не подплывало еще к нему. Он попробовал выдавить из себя все лишнее, подгоняя поближе хоть перистое какое-нибудь облачко, чтобы упасть в него, растворяясь... поддувал даже, но все было напрасно: вспухающие пузырями стремительные воспоминания, мысли, жела-

ния — все это раскрученное карусельно сегодняшней его удачей продолжало вертеться, напрочь отгоняя необходимый сон. Лучше закурить и, неторопливо дымя, успокоиться. Удобно все здесь у Квадрата устроено: предусмотренная дыра в полу с сучком-крышечкой — идеальная пепельница под самой рукой...

— Че не спишь? — Квадрат только укладывался, — Перечифирил с непривычки?

— Какое там!.. Зуб, зараза, ноет...

Все же изумительная у Слепухина реакция, просто звериное какое-то чутье — не сказать ничего, могущего усомниться кого-то в его пружинной правильности. Вот ведь со сном этим: ну, и перечифирил, подумаешь... это еще не косяк, но лучше и от этого «еще не» подальше... Кто же тебе, например, в чем серьезном доверит, если ты собой даже управить не можешь. Сегодня перечифирил, завтра переел.. это же все не просто так, а от жадности, от заглотной страсти все захватить немедля... Значит, сам в себя не веришь, значит, и серьезный косяк упороть можешь. А тут вот — зуб ноет, и все в порядке... Надо бы, конечно, что другое сказать — теперь вот накаркаешь, еще и вправду измучаешься зубами...

Нет, не зря Слепухин с первых самых шагов «руки за спину» старательно всовывал себя в жестковатые латы этакого веселого волка, не позволяя расслабиться в более мягкий и не столь напряженный образ. Теперь-то видно, что каждый его шаг здесь — точненько приходился на стрелочную прямую к нынешней удаче. Даже вспомнить смешно, как его размазывали недавно еще отчаянье и сомнения...

Уже то одно, что загремел Слепухин не по какой-то там плевой статье, а за мошенничество, — это одно определило его положение здесь (впрочем, статья статьей, но если сам пролопушишь — никакая статья не прикроет).

А как упрямо, без продыха буквально Слепухин следил, чтобы не уступать кому ни попадя дорогу!.. сколько веселой изворотливости на это угроблено... Даже забавно, как он вначале норовил с чаплагом нестись, громко предупреждая вроде бы, чтоб не ошпарить случайно... потому нащупал стремительную проходку, как бы задумавшись, как бы размышляя, но не мечтательно там, не размазанно, а чуть поугрюмее, глаза прищуря... Да и уступая кому следует, всегда умудрялся приостановить для разговора или для шуточки, но чтобы не выглядело совсем уж уступчиво...

Нет, раньше еще, отмучившись только-только тяжким этапом, Слепухин ловко сделал свой первый в зоне шаг. Не зря впитывал он все базары повторников — представлял, в общем, каково здесь будет, хоть и знал, что зона зоне рознь, но в общем — представлял. Пока другие себе мечтали избавиться от тюремной маетной пустоты, уговаривали друг друга, что в зоне наконец заживут — как же, тут тебе и кино крутят, и телевизоры в бараках, и то и се (может, на самом-то деле заглушали всеми этими уговорами страх, чувствуя уже возможную цену телевизорам ихним, догадываясь, что тюремная скука — не самое еще плохое... здесь вот не соскучишься)... тогда еще Слепухин примеривал тяжкую ношу свежего этапника, долгий испытательный срок, когда присматриваются к тебе с разных сторон, когда шпыняют и всерьез, и проверочно, когда курить только на улице в уборной и даже к шконке своей подходить, когда позволят... Ох, а шконка-то будет на пике, у дверей самых поначалу... Никак это Слепухина не устраивало, особенно после устоявшегося довольно авторитетного положения в камере. Правда, землячки могут найтись, но надежда на них мизерная совсем... Да и кроме как покурить оставить или какой съестной крохоткой, чем тебя земляк поначалу поддержит?.. Каждый должен пройти испытание этапником... (А долгие месяцы без ларька, пока сгребут с тебя за все вперед выданные тряпки, у Слепухина еще и иск от обштопанной им дурынды...) Нет, не радовался Слепухин телевизору, все изворачивал фантазии, как сразу же определиться половчее, и не зря изводился — удумал, и рискнул, и получилось...

Хорошо, что здесь раскидывал этап по отрядам сам хозяин. Не успеет зайти один, как уже следующего — и высказывают ошпаренно друг за другом. Главное было Слепухину не переборщить. Вызвали его, он и закрутил: хозяин сначала в матюки, что, мол, молчит Слепухин, не докладывает по-положенному метрику свою: фамилию, статью и прочее...

— Слепухин я... позвольте, гражданин начальник, сделать важное признание, очень важное... — И грудь ходуном, и губы дрожат, и не игрушечно даже — вправду ведь мандраж напал. — Я тут долго думал, все решал, чтобы по-правильному было... В общем, не хочу я участвовать в передаче пятаков и анаши (длинный майор сразу ноздрю раздул, и медицинский майоришко чуть очки не стряхнул, крутанувшись) — ... ну, чай

там я бы, может, и согласился — все же пища, но анашу, да еще крупную партию!.. считаю неправильно это...

Выбил все-таки себе паузу в конвейерном занятии хозяйна. Теперь можно и не гнать так, теперь и потянуть немного.

— Закурить дозвольте, ради Бога — простите, но никак успокоиться не могу, все решался, все думал, что правильной...

Хозяин и сигареточку дал, и усадил, и успокоительно повел издали о честной жизни и труде — умочиться только, как он отца родного представлять начал. Делом даже внимательно зашуршал, вник наконец-то в дело...

— У вас (да-да, на «вы» перепрыгнул)... у вас тут мошенничество, но единичное ведь, не испорченный, значит, вы еще человек...

— Да какое мошенничество? какое мошенничество?! бабенка эта сама кошкой подлезть норовила, и сама деньги совала, чтобы привязать посильней. Хорошо, что раскусил ее вовремя. Вона ведь, еще и свадьбу не справили, а уже как прокатилась она по мне... А если бы женился? — хана! Да, я счастлив, что не влез в этот хомут... Отсижу себе и гуляй на свободе, а при жене, да еще такой, — какая тебе свобода?! Да вы же все женаты — сами ведь знаете...

Расщерило их, растащило, правильно, значит, проехался.

— Ну, так что там с анашой, — не выдержал хозяевой паузы тощий майор (видно, по его это ведомству).

— Так я и говорю (Слепухин поднялся заранее, напрягаясь к взрыву) не надо мне эти макли, даже не предлагайте ничего... чай если только, а анашу или там оружие — ни за что... я себе...

Ох, какой был кавардак! Хозяин лично приложился и все махал, норovia сигаретку выбить из рук, всего обиднее пришла к нему сигаретка эта. Только и успел Слепухин гавкнуть один раз в той лихой возне:

— Я же говорил, что от женитьбы характер портится...

Угнали его на кичу мигом — аж ветер посвистывал, как гнали в спешке, но и там длинный майор самоличным глазом в задницу заглядывал — все чудилось ему, что появится еще анаша...

Вот этого Слепухину и надо было: лучше сразу на киче перемучится, но отношение к тебе после совсем другое — не часто этапник с кичи начинает, а тут еще и слушок, что за лихое безумство — хозяина ущучил... По такому поводу на

киче — это удача, тут и псы сами посмеиваются, и хозяин, если не кретин клинический, отойдет, думая, что вот наказал лихача, и хватит с него... Нет, здесь Слепухин и вправду хлестко все провернул... тоненько сыграл... минутную бурю вызвал только и как раз в духе своей же статьи... короче, Остап Бендер почти, побескорыстней чуток, а в остальном — он...

Кто же после такого номера погонит его курить из барака на улицу?.. Всего и тяготы было Слепухину перетерпеть пятнашку на киче...

Правда, в то время на киче было куда вольготнее... это уже заслуга Славика. Вот ведь восхитительный экземпляр, один, пожалуй, такой на все зоны страны...

Славик, попав в зону, обратил на себя внимание тем, что тут же почти пристроился на самое козлячье место — бугром в столовую. Как уж он убедил хозяев — не знает никто, но вроде и по воле у него какая-то поварская специальность, и, кажется, из самых первых московских ресторанов... короче, убедил — с его башкой и выдержкой он бы и не в таком убедил...

Так вот, утвердившись в столовой, Славик моментально подвязал всех самых кусачливых псов: козлы конченные, менты из своих, мыши всей статей, прапора и воины — все были схвачены потребностями своего брюха и башковитостью Славика. Вроде до того дошло, что через прапоров начал он макли и посерьезней: гнал наружу зоновский ширпотреб, загонял в зону чай, крутился, одним словом, но вот загадка в чем: не для себя крутился, то есть и себя, конечно, не забывал, но большая часть энергии и забот шла на подогрев лагерной тюрьмы. Жратва в БУРе и на киче была такая, что там только и можно было подкормиться (даже одну неделю он умудрился загонять в подвал натуральное вольнячье мясо). Чай, курево — это уже было вроде положенного. Даже на киче при кормежках через день исхитрился Славик организовать в пролетные дни не просто кипятки, а — с сахаром, не просто пайки хлеба, а — с маргарином внутри... В общем, фантастика, и именно в фантастическую эту эпоху Слепухин и отсидел свою пятнашку. Не санаторий, конечно, псы всегда псами будут, но чтобы хату заморозить или в толкан торкать, как нынче, — представить никто не мог... Ну, вмажет Проказа распахивавшись, ну, облаешь его, а он тебя ответно или опять вмажет — редко что большее...

Считай, полгода крутился Славик, но подошло и ему...

Говорят, что хозяин, решая дальнейшую участь отсидевших в БУРе, однажды чуть дуба не дал в остолбенении... Обычно-то он на мразей этих и не смотрел: скользнет поверху и — в бумаги, скользнет еще привычным матюком и — проваливай себе, сглотив от выплюнутой хозяином доброты... Но увидав настолько раскормленного бугая, что заплывших глаз на мордене не найти, хозяин сначала даже усомнился в правильности бумаг — медика вызвал на осмотр — не болезнь ли какая... Ну, а потом пошло...

Славика после его пятнашки встречали в зоне по-королевски, и хоть от козлячести не отмыться уже, но его единственного не выламывали мужики на следующих его пятнашках в козлячью хату. Так он и жил после: для серьезных решений оставался козлом, но, заслужив свой совсем особенный авторитет, заставлял этим к себе прислушиваться остальных авторитетов. Да и осталось у него от прежних связей, и крутил он себе по-тихому, помогая, если обратятся. Вот ведь и Квадрат не решился сегодня Славика обойти.

Теперь Слепухин подумал о Квадрате спокойно, не смазывая того восторженной благодарностью. Да и в самом-то деле, если пораскинуть как следует, не за что ему особо уж исходить в благодарственном извие. Квадрат рулевой, а рулевому без семейника никак. (Не то чтобы было такое четкое правило — в этом виделась какая-то гарантия основательности)... в общем, никуда ему без семейника... Так кого же он мог, кроме Слепухина, выбрать?.. Вот они все самые путние собрались сегодня здесь, а у остальных, в кого ни ткни, — свежие косяки на памяти... Так что именно у Квадрата выбор был ограничен, а Слепухин мог бы еще и потянуть, помурьжить его. Славик в семейники не годится — козел все-таки. Долото и Савва не пойдут — издавно наособняк и по-своему, что, конечно же, почетно, но в семейке с рулевым надо жить правилами этого мира, а не своими, хоть и уважаемыми... Малхаз? Этот не согласится — сам рулить метит.

Только не выбиться ему в рулевые. Рулевому надо все время создавать какую-то устойчивость, пусть иллюзорную, а Малхаз хоть и виртуозно держится в равновесии, но не в устойчивости равновесие его, а наоборот, в стремительной гонке, как на вертикальной стене — дух захватывает. Вот ведь неделю назад совсем было его отрядный припрессовал: при-

цепился к нормам на работе, и здесь уже — все, здесь — готовь себя к БУРу (кто же нормы эти выполнить может? тут яма любому готова, кого только наметь на убой). Всего-то осталось отрядному, что рапорта оформить за систематическое уклонение и все такое прочее, а Малхаз — взжик — и спланировал каким-то виражом в медчасть отлежаться (может, Славик давними связями помог?). Теперь на неделю-другую спасен (на большее-то и сам мудрец Соломон не загадает)...

А как под Новый год Малхаз повеселил всю зону?.. Это же конфетка — на зависть любому, не хуже того давнего слепухинского номера у хозяина. Дело в том, что к празднику запечатали, сволочи, все дороги. Скорее всего, вздумали прапора поднять цены на чай и сговорились для этого: цены-то подняли, уже и за три пятака плитку чая не найти было, но что-то разладилось у них, и чай в зону так и не зашел. На работе в последний день все как шальные: прапора пасут, мыши пасут, а не встретить Новый год для таких, как Малхаз, — всего хуже. Тут и авторитет, но и кроме него — колотящий суеверный страх: как встретишь, так и промучаешься... Зная Малхаза, опер к нему приставил не новичка какого, а Проказу. Малхаз в сортир — Проказа следом. Короче говоря, поспорил Малхаз с Проказой на две плитки чая, что до съема еще с работы, при Проказе же, раздобудет себе плитку. А был у него курок на второй промзоне, и в нем — ровненько три плитки чая на черный день. Никак ему не выкрутиться было от прапора к тому курку метнуться — вот он и придумал. Дождался какого-то лопухастого офицера и потребовал немедленного свидания с режимником для важного дела... Отвел его офицерик к дедушке-режимнику, и Проказа, естественно, следом. Майору Малхаз заявил, что желает, мол, открыть упрятку одной конченной мрази и, если в упрятке этой будет чай, и, если режимник ему одну плитку отдаст за усердие, то он при всей своей кавказской ненависти к стукачам все же откроет... Сговорились — плитка чая — обычная плата мышам, а режимнику сладко, что еще вот один подался на мышиный промысел. Самое потешное, что режимник и Проказу взял для помощи: вдруг в курке том горы добра хранятся? Распечатал Малхаз курок свой (жалко ему, конечно, было такой ладный тайничок засвечивать, но у него тайничков этих — по всей зоне), и, никому не доверяя, режимник сам вытащил три плитки чая. Одну — Малхазу по уговору, тем более что Малхаз намекнул, будто у

курка этого крутился Жердя, а Жердя ведь был супермышью — самому замполиту шуршал... А к следующему дежурству и Проказа припер две плиты — ведь и у Малхаза есть возможность прижать — например, перекрыть сбыт Проказе купленных в ларьке книг, до которых тот стал вдруг большим охотником.

В ларек как раз начали завозить дорожные книги и, пользуясь тем, что покупка книг не ограничивалась и не входила в месячную отоварку, многие из опогоненных воспитателей начали спешно собирать библиотеки, благо на лицезовом счете у немалого числа зеков бесполезным грузом лежали присланные родными деньги. На ларешную отоварку деньги те не шли, а расходовать их было — только на книги или еще газеты выписать, или, если припрет, глаза начальству замазать — в Фонд мира перевести... Ох, и устроили соревнование офицеры да прапора в сооружении личных библиотек!.. Впрочем, похоже, что Проказа книги те таскал попросту на толкучку, по крайней мере, он один начал быстро ориентироваться в рыночной ценности книг, так ведь не потому, что читал?.. Этого за Проказой никак не наблюдалось.

...Наконец-то Слепухин начал размываться, терять контуры, погружаясь в покойное тепло... Теперь только не спугнуть сознание названием этого ласкового погружения, не то оно встретится, пугаясь, и ...пропало... В бараке накапливался раздраженный, но и придавленный гомон — третья смена собирается к выходу. Значит, еще вся ночь впереди. Хорошо бы в вольном поезде сейчас оказаться, в купе — не гоношиться, отдыхать себе, а тебя укачивает... поезд несется, несется, и можно блаженствовать сколько влезет, даже жалко время на пустую лежачку переводить. Сначала, конечно, в ресторан и закупить всего на всю дорогу, чтобы было — вдруг ресторан закроется, что тогда? Слепухин заволновался, заторопился успеть и выскочил из купе. Теперь быстрее — помчал по вагонам, только двери тамбуров грохают. Ну вот, как чувствовал, — закрыто! Слепухин заколотил в белую дверь. «Умри там, — рывкнуло изнутри, — люди спят уже». Сейчас ты, козляра, узнаешь — кто люди и кому умереть! Слепухин заколотил сильнее. Дверь приоткрылась, и мелькнул край белого халата. Пусти, пусти — Слепухин протиснулся внутрь и пошел следом за халатом. По бокам вагона — шконки, шконки, и на них — клиенты, укрытые с головой и перетянутые поверх ремнями от тряски.

- Мне бы купить... — робко заискнул Слепухин.
- Ресторан закрыт — все кончилось.
- Как это — кончилось?
- Съели все.
- Кто?
- Ослеп, что ли? Вон клиентов сколько лежит.

Из белого халатного кармана торчала плита чая, и Слепухин, выхватив ее, бросился обратно. Хоть чай есть запарить, но жалко-то как, что с едой лажанулся... Главное — побыстрее вернуться, а то еще на прапоров наткнешься. «Где твой билет?» — и кранты... А какой у него может быть билет? Слепухин всем подрагивающим нутром чуял, что прапора не отстают, и мчал по вагонам — только дверь грукала. Стоп! А вагон-то у него какой? А купе?? Все — сгорел, и ноги подкашиваются, и шагу не ступить. Слепухин принялся торкаться в каждую дверь по порядку, зная заранее, что все они закрыты. Следующий вагон — и снова немой ряд запертых белых дверей. Распадаясь от страха, Слепухин выкатился в еще один тамбур и там, теряя всю силу, сумел сорвать с неподвижности тяжелую дверь наружу. Теперь — спасен. Он выпрыгнул в тугую зелень, пытаясь прорвать ее, но не сумел. Его поволокло неудобно, неловко — боком, и тут же швырнуло вниз. Слепухин осознал, что сейчас он может еще спастись — только захотеть и, крутанувшись как-нибудь порезче, он выскользнет из тугого потока, его подхватит шконка, устойчивый пол барака... нет, только не это — Слепухин замер и пролетел мимо шконки, угодил в ворох прелых листьев, которые с шорохом разлетались из-под Слепухина, поднимаясь вверх, кружась все выше вверх, а Слепухин мягко погружался, опадал в листья...

Проснулся Слепухин от неудобства: на шконке в ногах кто-то сидел, и никак из-под него не вытащить было одеяло, чтобы получше укрыться. Слепухин сообразил, что, может, это к Квадрату — теперь ночные гости будут часто, да и дневные, что же делать? на любом месте есть свои удобства и свои неудобства, но что же он — гад, одеяло-то прищемил? Впрочем, как ни странно — выспался Слепухин совершенно, даже удивительно, как хорошо выспался, видимо, главное во всех этих делах: еда, сон, и другое разное — главное здесь настроение, вот у Слепухина хорошее настроение, и сна ему не надо — на один глаз только. В бараке было пронзительно тихо, и Слепухин ре-

шил, что сейчас уже и балда скоро — чего же спать? Да и этот сидит — не торкать же его ногами! Слепухину захотелось закурить, тем более и предупредить как-то надо по деликатней Квадрата с гостем его, что не спит он, — мало ли какой у них базар... не всякий базар для ушей даже и семейника.

Слепухин закурил, повернувшись для этого на спину, и в упор глядит на гостя. Странно, тот совсем и не говорит с Квадратом, а сидит себе и сидит, не разберешь зачем. Шугануть? Квадрат вон спит, и дела ему нет, а тут решай...

— Закурить не желаешь? — пошел в разведку Слепухин.

— Можно и закурить.

— Павлуха? Вот это да! А мы тут узнали, что ты... что тебя, в общем, что ...кони двинул... Вот здорово. Ты не сомневайся, — зачистил, захлебываясь, Слепухин, — место я твое мигом освобожу...

— Да ладно, чего там? Ты закурить обещал.

Павлуха взял губами сигарету и, шумно втягивая воздух, прикурил.

— Ты давно сидишь-то здесь?

— Да порядком уже.

— Что же ты не разбудил? Чудило.

— Да так... чего будить? Самое время — спать.

Павлуха вытащил сигарету изо рта и начал ее крутить перед глазами.

— Ты чего ищешь в ней?

— Да тянет где-то... прорвана, наверное, и не найду никак: воздух втягиваю, а дымка — шиш.

— Это не сигарета. У тебя вон из горла тянет — весь дым через дыру и вышугивает обратно.

— Ах, да... я и забыл. — Павлуха закрыл дыру ладонью и с удовольствием втянул крепкую порцию.

На пальцах Павлухи проступила кровь и засочилась по пальцам, по руке, затекая под рукав телогрейки, а тому — хоть бы что. Курит себе, и что-то побулькивает у него внутри. Слепухину стало неприятно. Пришел тут, расселся. Сейчас вот загадит всю постель. Слепухин принялся потихонечку ногами под одеялом подталкивать Павлуху к краю. Павлуха неловко протестовал, но Слепухин сильнее поднажал, и Павлуха загремел на пол. Господи! грохоту-то...

Приснится же!.. Слепухин обескураженно заглянул под

шконку. Раз уж повезло привидеть такое, надо было спросить все же — что там и как? может, и есть там что-нибудь после смерти?..

— Ты чего шебуршишься ночами? — недовольно спросил проснувшийся Квадрат.

— Да так, приснилась чертовщина.

— Может, лунатик ты?

— Да какой я лунатик... Говорю — приснилось.

Квадрат сел и поглядел в упор на Слепухина, голова которого все еще свешивалась в проход.

— Так если не лунатик — чего ты шебуршишься?

— Я Павлуху тут увидел.

— Где?

И не Квадрат вовсе, а именно Павлуха смотрел на Слепухина.

— Вон ты куда пересел, — засмеялся Слепухин.

— Так ты же сам — толкаешь и толкаешь...

— Слушай, я спросить у тебя хотел, как там у вас?

— Что как?

— Чай у вас есть?

— А, чай? — чай есть.

— Ну, а вообще... все там?

— Что вообще?

А и действительно — что вообще? Чай есть — ладно...

— Ну пошли, что ли? — спросил Павлуха.

— Куда это?

— К месту своему пора определяться.

И правда — пора. Слепухин встал, помогая подняться соседу. Павлуха попытался подняться, но голова его все время съезжала, и Слепухин придержал эту сползающую голову рукой.

— Да брось ты ее совсем к черту, — предложил он.

— Жалко.

— Чего жалеть? — Слепухин смахнул Павлухину голову, и та покатила по проходу, громко клацая зубами...

От этого нового грохота Слепухин проснулся окончательно.

Двери хлопали без перерыва. Вторая смена возвращалась в барак. Слепухин сообразил, что спал он — всего ничего и сейчас еще около двух часов, значит, не меньше четырех часов можно еще блаженствовать. Хорошо-то как! Сейчас и встать бы не трудно было. Слепухин прозондировал всего себя: со-

всем не трудно — бодрый и отдохнувший, полон сил и энергии. Оттого же, что вставать как раз и не надо и можно спать себе полночи еще — ощущение чуть ли не праздника, нежданного подарка... Надо бы накрутить шныря, чтобы каждую ночь — в это время будил и одно только сообщал, что спать еще — четыре часа, вот и будет счастье на каждый день. Слепухин укрутился, упрятав подбородок в колени, прислушался, укрыт ли он плотно, и радостно уронил себя в мягкие ладони сна...

Прежде чем заново осознать себя, Слепухин ощутил тревогу. Что-то враждебное подбиралось к нему, и надо успеть предупредить. Так и есть: отрядник, отпыхиваясь, неловко подоткнув полы тулупа, копается в тумбочке. Надо предупредить Квадрата — мало ли что у него в этом шкафу, в разных специальных курках запрягано. Слепухин незаметно протянул руку за тумбочкой и стукнул кулаком по шконке семейника. Отрядник глянул прямо в глаза Слепухина и сделал вид, что уловок его не заметил. Чего это он, волчара? Издевается, что ли? Слепухин гримкнул еще раз и здесь только понял, что именно этого отряднику и надобно было — ишь, заулыбался, задергал жирными булками щек... Ему того и надобно было, чтобы сам Слепухин сигнал к подъему дал, в балду гримкнул. Может, сон еще?.. Нет, какой там сон!.. Подъем...

Эхом утихающий звон балды вытягивал Слепухина в новый день, в прежний отвратный мир, непосильную тошнотную жизнь. Душа пыталась зарыться глубже, не пустить Слепухина на поверхность дня, укрутить его с головой телогрейкой... Да пропади все пропадом. Пусть делают что хотят — пусть и прикончат даже здесь на шконке, чего мучиться лишнего? Пусть — что будет, но не вылезать в эту жизнь, в этот отвратный день на новые мучения!..

— Подъем, первая смена! — заорал, забегал по проходкам шнырь. — При-иготовиться на завтрак...

Как ни старалась зарыться обнаженная душа в спасительные покровы сна, сознание было уже отравлено неотвратимостью наступившего дня и, не умея в бессилии своем надежно оберечь душу, втискивало ее в оболочку раздражения — первую пока еще оболочку — вытягивало в мучительное утро. Потом окутается мечущаяся душонка, спасаясь от ран, скользкой скорлупой безразличия, сверху еще — наждачным обво-

ротом всегда тлеющей злобы — так и спасется... Пока же грубовато обласкивал Слепухин воспаленный комок в груди, повторая услышанное: «приготовиться к завтраку... к завтраку».

Завтрак — это совсем неплохо, даже плохой завтрак. По крайней мере, это много лучше, чем без завтрака... Так вот и обуздывал Слепухин бьющееся уже в поисках выхода раздражение.

Теперь скоренько управиться с омовением... теперь еще — быстренько заправить шконку, и, готовый уже догонять вываливший в столовую барак, Слепухин успел-таки осознать, что завтраки ему с этого дня заказаны — не по месту суета (то-то Квадрат, покуривая под одеялом еще, внимательно любознается сквозь сизый дымок).

— Эй, сосед, — окликнул Слепухин мужика, что в запарке оправлял ближнюю шконку (вроде Игнат? нет, не вспомнить точно, как его зовут...), — ты мою тюху принеси, пожалуйста... а завтрак — себе бери... Лады?

— Спасибо, — обрадовался Игнат (или не Игнат?).

Слепухин кивнул приветственно семейнику и, закурив, улегся поверх одеяла. Подумаешь, черпачок размазни с парочкой овсяных зерен... Давали бы хоть сахар положняковый — тогда жалко, а так — сунут в шлюмке полусладкую водицу, мол, вот вам сахар ваш... Тюха будет — и ладно... Обходится ведь Квадрат как-то, значит, и он перебьется... А что, если Квадрату шнырь в баночке его баланду носит? Вполне может быть...

— Ты как с утра любишь: чифирек или просто чайку с перекусом? — Квадрат выполз из-под одеяла.

— Чифирек — это хорошо, — чуть нараспев протянул Слепухин. — И чаек с перекусом тоже хорошо.

Квадрат ухмыльнулся, почесываясь и размышляя.

— Тогда так чифирек, перекус, если успеем, а чаек — по боку. — И пошел неторопливо справлять утренние надобности.

Примчавшийся шнырь заправлял уже Квадратову шконку и, управившись, понесся по проходу с чаплагом. Слепухин подтрунивал ласково над собой и своей минутной паникой, но и красовался перед собой же умением ни на капельку не выплеснуть такую вот панику...

Когда гагакнула балда на работу, они только-только запустили кружечку с чифирным варевом по маленькому своему семейкиному кругу.

Бугор Квадрата и бугор Слепухина терпеливо ждали, не выводя бригады, и полсотни человек радовались несколько лишним минутам в тепле: на эти же самые минуты позже начнут они обмерзать и, может быть, этих вот минуточек как раз и хватит, чтобы, не обмерзнув вконец, укрыться где-нибудь на промзоне.

Всю эту маету Слепухин чувствовал на расстоянии — это ведь была его вчерашняя еще маета, и вчера только Слепухин топотался так же у дверей, и терлись плечами бригадники, тормозя сколько можно выход, и раздувался в тусовке этой ослепляющий жар внутри, готовый плеснуть яростью на любой царапнувший пустяк...

В общем, не испытывал Слепухин ни малейшей неловкости по причине того, что вся бригада его дожидается — бригаде в радость, а козел-бугор пусть помается...

И все-таки пришлось поторопиться: хлеб — уже не успеть, и Слепухин завернул доставленную Игнатом — не-Игнатом тюху; Квадрат протянул ему пачку сигарет и увернутый в фольгу обломок от плиты чая на запарку — это за пазуху; хорошо, что сапоги здесь же, под шконкой, а не у дверей в общей куче; фофан... готово...

— У тебя есть где в рабочее перебархлахляться?

— Есть.

— А то можешь со мной...

— Да нет... есть у меня.

Бригады двинулись, и Слепухин, выждав, чтобы не тереться особо своей чистой телогрейкой между измызганными, выскочил следом. С нерастраченным остервенением морозный воздух царапнул лицо, полез за шиворот фофана, изловчился прорваться к груди. Слепухин уширил шаг — у распахнутой калитки из жилой зоны под замерзающими на лету и потому недейственными матюгальными угрозами подравнивалась в пятерки бригада. Слепухин занял свое место в первой пятерке, когда порубленная на ломтики бригад серая колонна отползла уже от ограды жилой зоны метров на пятьдесят.

— Бригада 26, 23 человека, — пискнул бугор.

— Пошла первая... пошла вторая... куда прешь, пидер?.. назад все... назад... мать... занюханые... Пошла первая...

Взвывнула тоненько труба, звякнул в тарелку барабанщик, и трое качаемых ветром музыкантов, сообразив, что развод

еще продолжается, быстро подладились заново и погнали по кругу одну и ту же музыкальную фразу: «Все выше — и выше — и выше — брум-блём — стремим мы — в полет — наших птиц, — вопреки желанию застучало в голове, и опять: — Все выше — и выше — и выше...» — не заслониться от медной кувалды... тарелками бы этими да по головам псовым и под ту же трубу... «Всевыше-ивыше...» — представилось, что всю жизнь свою ускользает Слепухин от матюков сзади к новым матюкам впереди и всегда убеждают его при этом медные трубы, что на самом-то деле «стремитон-вполет-нашихптиц»... вот, значит, какие медные трубы упомянуты в приговорке, где огонь с водой...

Грымкнув вдогон уползшей бригаде «брум-блём-стреми», оркестр захлебнулся, и можно было уже рассмотреть впереди на выходе из штабной зоны черную шевелящуюся массу. Ровный поток, подходя к запертым воротам, втискивался в остановившихся ранее, но по инерции продолжал напирать, и от напора этого набухал густой людской ком, расплываясь по сторонам, теряя четкую змеиную форму, превращаясь в копошащийся грязный рой, совсем уже неуместный в нависающей отовсюду свежей белизне.

Незачем было выгадывать лишние минуты в тепле барака — ровно на них бригада Слепухина позже попадет в ворота промзоны и, значит, эти-то минуты и проморозится лишние, в отличие от выползших сразу по балде. Никогда не угадаешь тут, как лучше... Доведись Слепухину каким-либо чудом разом отомстить всем здешним псам — он бы не искручивал их узлами разными, а всего-то оставил на морозе и начислил им все свои замороженные минуты враз, скопом...

Перетаптываясь и приминая себя пониже под защиту поскрипывающих вокруг бригадников, Слепухин попытался упорядочить все свои насущные заботы. Получалось много, сверх головы даже: помыться и постирать, раздобыть новый фофан, а этот, что на нем, разжаловать в рабочий, а рабочий надо будет подогнуть хотя бы тому же Игнату, чтобы и вперед исправно тюхи таскал... главное, раздобыть новый (теперь-то не по чину эта вот куцая телогреечка), сапоги тоже надо бы на смену, чтобы рабочие — отдельно, для жизни — отдельно, костюм у него вроде еще ничего, можно и не менять, хоть и не совсем черный, как надо, но вроде черного... ладно, образумится все...

Вывалились наконец-то из приворотной будочки солдаты, прапор со счетной доской, козлы из нарядчиковой кодлы. Как они все только умещались там?.. Слепухину пришлось вместе со всеми податься назад, заскрипели ворота, и упиривший в них ветер дунул сквозным взвивом, пригибая головы зеков.

На этот раз желания караулящих ворота и проходящих через них совпадали — дело шло быстро, и очередная бригада, мгновенно оформившись из колышного кома в ровенького толстенького червячка, скоренько переползала воротный проем и тут же рассыпалась в спором беге одиночных уже червячков, которые буквально исчезали из вида чуть ли не на открытом месте...

— Становись, 26-я, — бригадиру удалось-таки влезть в паузу замешкавшейся бригады, и Слепухин вместе с остальными мигом просочился сквозь шевелящуюся массу. — 26-я, 23, — твякнул бугор прапору, и бригада пошла.

«Только бы не вернули», — загадал Слепухин, прислушиваясь.

— Третья... пошла четвертая... еще два да бугор... все на месте, ммм — пошла 26-я.

Слепухин свернул и, еле успевая шагом за своим же дыханием, запетлял между заваленными снегом холмами разного забытого до весны казенного добра.

Вот теперь-то Слепухин, можно сказать, полностью очнулся для проживания наступившего дня... и для выживания в нем. Он плотненько умещался уже в образе злобно-веселого волчары, в меру осторожного, чуточку ироничного, но в полный разворот — опасного и стремительного зверя... Ни с какой стороны эта звериная, им же придуманная роль не ущемляла его, не утесняла — все в самый раз... по росту...

Всякие вылезавшие из этой шкуры сомнения, всякие рассуждения и рассусоливания, парализующие немедленные действия, которые вообще-то не были чужды Слепухину, сейчас были надежно упрятаны даже и с глухим кляпом. Конечно, в стремительной раскрутке, которая уже лихорадочно захватила его, не всегда удавалось правильно оценить ситуацию, уменьшалась ширина и глубина охвата и понимания, реагировать соответственно с ролью надо было сразу же, по первому промельку, но удивительная вещь — сама ситуация, сама реальность как бы перестраивалась задним чис-

лом под его, Слепухина, реакцию (этот непостижимый феномен Слепухин обнаруживал каждый раз, раскручивая наново прожитый день, в относительной безопасности вечернего расслабления, когда волчья шкура лежала наготове, рядом с телогрейкой, до смешного маленькая — как только умещался в ней рассудительный Слепухин со всеми своими предусмотрительными опасениями?..) — но сейчас и это знание повязано наглухо и запечатано тем же кляпом.

Если бы дни отсчитывали, как зеков, те же прапора, то сейчас бы Слепухин услышал: «День девятьсот тридцать четвертый, пошел...»

Сначала уладить с земляком... Не зря, вспоминая в перетаптывании у ворот все необходимое, Слепухин даже и не качнулся к самому желанному еще вчера: на день рождения к земляку он не пойдет, не пристало ему теперь хлебать чай на денюхе с очень сомнительными пассажирами. За самого Алешку можно и голову подставить — не подведет, но голову подставишь, а слова не вымолвишь: действительно ведь скользкое у него положение. Вроде мужиком живет, но получил вот местечко в специально для него придуманной мастерской, и сам опер все это приладил, чтобы Алекса пристроить. Попробуй объясни кому, что там да как, особенно если и сам не очень понимаешь...

...Алекс рассказывал, что вся непруха началась у него, когда он поддался на уговоры приятеля и поехал на заработки. Что-то у них там не сладилось и пошло у Алекса наперекосяк: ему бы в Москву обратно, а он уже к тому времени с бабой связался, дите на подходе в общем, тормознулся на юге. Руки у Алекса — на удивление, и в конце концов пристроился он совсем неплохо: будочка у него была и там он ремонтировал всякий западный ширпотреб: часы, зажигалки, разные сони, грюндиги и прочие шарпы. Занесло к нему случаем борова из городских псов с необычным заказом: на маленькой блямбочке написать «такому-то и такому-то в знак благодарности», а блямбочку в видик приблямбнуть понезаметнее. За нестандартную услугу и оплата совсем нестандартная. А потом пошло: все тому же «такому-то» и прямо «в виде взятки», и все это в разную мелочевку вставлять. Алекс приспособился мелкую эту граверку прямо на деталях рисовать, одним словом — умелец, вроде тех, что на конском волосе рисуют кто Ленина,

кто — черта лысого... Жил себе Алекс барином, пока не допер, что все местные псы с его помощью поплавок себе на будущее забрасывают, а если что обвалится — так за эту помощь и Алексу с ними — соучастником. А тут как раз новая власть новой метлой зашуршала наводить порядок — Алексу уже и денег тех не надо, закрутился в переполохе и не удумает — как решить и что лучше сделать. В этой закрутке и дернула его нечистая разыскать того хрена, которому дары подписывал, а тот уже в Москву спланировал в высоко-окий кабинет. Домогся до него Алекс и все — как на духу... Тот сучара сначала не верил, а потом, наверное, связался с мастером каким или что там, но — убедился, а заодно и в мастерстве Алекса убедился. Им бы и разойтись как-нибудь мирно, а тот волчара возьми и попроси Алекса об аналогичной услуге совсем уж какому-то псу из кремлевских небес. После этого Алекс и окончательно запутался в своих страхах и опасениях, но и волчара этот в своем высоком кабинете той же придурочной мухой бьется: а вдруг Алекс опять стукнет теперь уже кремлевскому псу? Короче — упекли Алекса: навесили по самые уши и ювелирных работ, и спекуляцию — только про главное молчок. Упредил сволочара этот со своих высот, чтобы Алекс не залупался — с тем и упек. Может, это он теперь Алекса поддерживает, может, еще как, но вот опекает его опер, и как бы там ни было — все это нечисто и потому глядят в зоне на Алекса косо...

Но Слепухин ему благодарен — он Слепухину хорошо помог, все время поддерживал и особенно первое время, безларешное и приглядное. Тут уж совсем конченным надо быть, если такое забывать... И сейчас Алекс привечает Слепухина: и раздевалку свою Слепухин у него устроил, и в такой вот хмурый час по заходу в промзону, считай, ежедневно у него чифирыком согревался, а то и хлебушко находил, от себя ведь отрывал, и не важно совсем, что хватало (иначе не оторвешь), у семейников и то каждый свою тюху ест... тюхой поделиться — это редко кто способен...

Но и того нельзя забывать, что из-за таких, как Алекс, и гуляет всеми этапами раздуваемое недоверие и презрение к москвичам. И москвичи вынуждены сбиваться отдельно и изворачиваться, кто как способится, а от изворачиваний этих недолюбливают их еще больше и только укрепляются в уверенностях, что все москвичи — ловчилилы крученые... Слепу-

хин сразу же себе установил — с земляками в кучу не сбиваться... так и держался все время — только с Алексом, а компанию его на дух не признавал... Так что совсем не с руки на денюху к нему... Сейчас Слепухин его поздравит отдельно... и чай на запарку как раз есть... Первый раз может Слепухин для Алешки чай запарить — всегда было наоборот.

Слепухин докарабкался до прилепленной и как бы парящей голубятно над громадным цехом конуры и толкнул дверь с табличкой «Мастерская по ремонту аппаратуры» (солидно-то как! принести бы Алексу кувалду какую и попросить: «Аппаратуру мою отремонтируй»).

Алекс уже возился с какой-то очередной мелочевкой над ярко освещенным столом — только стриженная макушка высвечивала под мощной лампой из-за завального нагромождения бытовой и служебной техники в разных стадиях умирания (или оживления).

— Вижу — ты рад. — Алик выбрался к гостю и взял небрежно отдаваемый ему сверточек с тюхой и лошпарь чая.

Вот ведь кто нисколько не изменился — тот же парнишка из Слепухиного девятого класса, вечно ковыряющийся в проволочках, транзисторах и прочем барахле. Слепухин в десятом переехал в другой район и одноклассника прочно потерял, пока тот не выцепил его в толкучке у ворот промзоны. Если бы не морщины у глаз — тот же лопухий «сделаю сам»...

...Чистое — в аккуратную стопку и собраться с духом, прежде чем влезть в рабочие обноски. Алекс шурует с махонькой плиточкой и разматывает сразу же машину вскипятить воду. Все причиндалы эти были растыканы по укромкам; за каждый из них — пятнашка без разговоров, но так уже привыкло, что за все жизненно необходимое глушат наказаниями, что и не замечалось: даже у самого последнего чертяки была упрятана своя машина или сооружалась следующая взамен пропавшей.

— Сделал бы мне. — Слепухин и сам мог сделать, не велика наука: две мойки с куском расчески между — ниткой перемотал, по проводочку к каждой присобачил, и — готово: в минуту чаплак кипит — гудеж как от высоковольтной линии, однако теперь хотелось машину фирменную, по уму...

— Ладно... тебе, может, еще что надо — так не стесняйся... чтобы целиком тебе от Квадрата не зависеть... ширпотреб или для жизни чего... соображай, в общем...

— Похоже — не одобряешь?

— А что мне?.. Одобряю... не одобряю... Своя голова — ей и живешь. Только по моему пониманию — не для тебя это. Смотри, еще заявишься ко мне портачи рисовать и бамбушами шпиговаться.

Алекс разговорился и спешил, орудуя заодно над цифирем и жаровней с ломтиками хлеба... Спешил выговориться, чувствуя, что в колее, потянувшей Слепухина своим неуклонным ходом, подобные разговоры неуместны и впредь будут отметаться напрочь.

А с бамбушами подметил он точненько. Повальное безумие это у авторитетов правильной (по зонавским меркам — правильной) жизни становилось чуть ли не обязательным ритуалом. Считалось и укреплялось в мечтательно-обслуживаемых рассказах, что если отодрать бабу с бамбушами, то привяжется она навечно, как приколдованная, и лишённые чьей-либо надежной привязанности, зеки загоняли в совсем никчемные им здесь трахалки выточенные из чего кто сумеет бобины и горошины бамбуш... И портачились тоже поголовно — у некоторых, кроме лица да рук, места чистого не было — вся зонавская атрибутика, соизмеримо с фантазией только и свободной от татуировок головы... Впрочем, случалось, и головы портачили...

— Видал, у Квадрата твоего?.. Куполов на спине больше, чем в монастыре каком.. и инструмент заготовил для будущего — натуральный кукурузный початок... видно, большую любовь ждет...

— Ты Квадрата не цепляй...

— А я его и не цепляю. Мне до него дела нет... Я про тебя говорю... Так что, если понадобится, к неумекам не суйся — ко мне иди, сделаю на зависть...

— Не понадобится...

— Хорошо бы... А вовсе бы хорошо — не спешить тебе, пораскинуть еще... Я вот смотрю на все, считай, сбоку, пристроился так вот сбоку... самому противно, но по этой жизни я, наверное, лучше любого понимаю... Кишка тонка, духу не хватает себя отстоять, но и зла никому не делаю... Мне бы хоть на ноготок твоей вот закалки: разве бы я пригibasя здесь под псовыми прихотями?.. Но зато и разумею и просвечиваю — как здесь и что. Ты охвати, какой у вас отряд собрался?.. Вы же числи-

тесь штрафным отрядом... как залетит кто — его из подвала к вам бросают... Зато и собрались колоритные фигуры, зато и вся зона на вас смотрит и по-вашему решает... Здесь ведь как? живешь по своей основе, хоть и по сумасшедшей самой, но своей — к тебе и уважение сразу, а потому что понятно — если по основе, значит, не размажешься дерьмом на радость псам всем... значит, сохранишь себя... Нету своей основы — предлагают прилепиться к здешним понятиям воровского толка... воров-то настоящих распушили давно, по нынешним законам им на волю не выбраться (не поддаются перевоспитанию, так им и добавляют сроки), потому и придумали те же почти правила называть «правильными» вместо «воровских»... Это ты все и без меня знаешь, и не ругать я собираюсь правила эти — тоже ведь вполне крепкая основа, чтобы не сломаться перед хозяевами... Самое страшное — сломаться, знать про себя, что слизняк... этого уже во всю жизнь не заглушишь: выпендривайся потом, вешай лапшу, воображай перед зеркалом — все равно жабой сидит: слизняк... и жена почует, и дети унюхают, и друзей запашок обдаст... Так и жить мне вперед... тут уже можешь и жену смертным боем бить, чтобы боялась, и детей стращать, и перед друзьями гоголем хорохориться — не будет по-людски ни того, ни другого, ни третьего... так, название одно... В общем, и авторитетные эти правила для многих соломинка, чтобы выдержать, для того и предлагаются они... Но и в правилах тех яма непроглядная... Многие лезут без ума заправлять этой «правильной» жизнью и воображают себе одни сплошь удовольствия... чаек, уважение, страх, курева вволю... А подойдет такому авторитету к звонку поближе — тут-то на него и насыдут... и кодекс под нос со статеечкой: либо второй срок, либо самая чернючья служба, перед которой и я, слизняк, ангелом незапятнанным сияю... Вот этой минуткой проверяет себя тот, кто в авторитеты лезет, а своего скелета на самом деле и не имеет прочного?... А если лишь день пережить да ночь продержаться?... тогда нечего лезть, притормози — от тебя ведь много чего зависит, если авторитетом стал: люди по твоей вине и твоему недомыслию могут слизью по стенкам здешним размазаться...

— Это ты про меня?

— Нет, теперь как раз не про тебя... Про Квадрата твоего. Ты думаешь, зачем он тебя подтянул вчера? Большинство ему надо было — вот ты это большинство и сделал против Саввы и против Максима.

— Тебе откуда известно все?

— Мне и вообще много чего известно... Ну а про ваши вчерашние решения, думаю, все уже знают... может, не в тонкостях, но про решения — наверняка... Не одни же вы прикидывали, как после Павлухи быть. Его перерезанная глотка либо другим теперь маячить будет вечной угрозой, либо поможет псов от беспредела придержать... Много кто прикидывал, а слово вам, потому что — ваш Павлуха... Вот и получилось, что тобой Квадрат остальных пересилил. С Абрека спрашивать нечего, его куда поверни, туда он рванет... Ты обмозгуй без гоношбы, что вчера было... Возьмем для начала Савву: восхитительный дед и гнет всегда, чтобы «по совести», по максимуму гнет. Никаких уступок сволочам — только заставить признаться в палачестве, никаких разговоров с ними — палачей сначала убрать, а потом чтобы по совести начали руководство свое руководить... Ну, что тут скажешь? Взрыв безоглядный, без надежды — разве ж отступят псы?.. Зато совесть чиста, и.. леший его знает — вдруг бы да отступили?.. времечко-то для них зыбкое... вдруг бы да подались?.. Теперь глянь на Максима... этот все пытается согласовать, чтобы и по уму, и по совести... ну, и терзаться ему вечно, что всего не учел, что можно бы умнее... Максим за переговоры, готов и договариваться и выговаривать, но наступательно договариваться... и к разуму взывать будет, и к страху, и к благоразумию — но долбить и долбить, чтобы отступились от беспредела... Вполне достойно... трудно, но достойно... трудно, но есть надежда, и не малая, особенно если не одному, если — с поддержкой... Ну, а Квадрат, с большинством в тебя, чего достиг? Крохоборный сговор (да-да, не заводись, сговор, а не переговоры), чтобы глоточек себе отторговать, а беспредел пусть гуляет... Ларьки эти и свиданки, что ему обещал отрядник, — пряником по губам... Весь твой Квадрат знаешь в чем? Авось сами испугаются, авось сами беспредел прекратят, авось пронесет — вот и весь Квадрат... И туда же — рулить...

— Не тебе судить.

— То есть, мол, я — не лучше?.. Это верно. Я тоже весь на вздерге живу: авось пронесет... авось другого схавают... не меня... Только я при этом рулить не лезу. Мыслишь кроликом — живи кроликом, не хватай власть. Кто где отступит на чуток — общий потолок, считай, на чуток тот же опустит надо всеми. А Квадрат твой не за себя только уступил, он всех

отступить турнул — вот и прикидывай, насколько душей станет. Гнильцой он уже пошел... К звонку прислушивается. Я так полагаю: если человеком хочешь остаться и к звонку, что в хозяйевой руке, ухо клонишь — слезай с рулевых...

Не так все это виделось Слепухину при вчерашнем чаепитии, и он начал спешно прокручивать тот разговор, вытягивая из него убедительные Квадратовы резоны.

— Ты же не понимаешь ничего... Залупись только сообща — таким прессом всех придавят... Максим твой на гвозди тянет.

— Ну-ну... Если без ума залупиться, точно — придавят... а вот если по уму... вдруг да нету у них такого пресса, на всех чтобы?..

— Не боись — найдется.

— Ну так пускай они пока не всех, а кого им надо, давят? как Павлуху?

— А ты бы сам попробовал, а? Тебе тут хорошо прикидывать: придавят? не придавят?.. Под крылом у опера только и вякать...

— Мне — хорошо...

Слепухин пожалел о сорвавшихся словах. Поздравил, называется... Но и он сам хорош: тоже мне — умник выискался!.. В его семейку Слепухин ведь не лезет... Нет, все равно нехорошо...

— Ладно, ты не сердись... Давай завяжем с базарами этими... Покажи лучше, чего строгаешь.

Алекс отложил натфилек, которым взял было что-то там выстругивать и, прикурив у Слепухина, примостился рядом.

— Знаешь, мне представлялось, что здешние псы уверены, будто есть у меня мохнатая рука с поддержкой, и от этого чуток мандражируют. А местный опер вчера что учудил? Приносит печать по техосмотру и приказывает: к утру ему такую же... Я на дыбы, мол, не умею, да и — уголовщина новая, ну, он мне и рассказал, кто я такой и куда он меня вывернет... Так что чихали они на все мохнатые руки, знают, что успеют концы упрятать и отмазаться от всего... Я тут еще газету в сортире прочитал старую: в пол-листа рожка этого американского индейца, которого вся наша страна от родной тюрьмы защищает, прямо ночей не спит никто, как бы Петиера этого вызволить... Так представляешь? — рожка в фотографию не влезает и волосья до плеч, наверное, разрешено им... и одежда вольнячья, и сооб-

щает по телефону в Москву, что и дальше будет бесстрашно бороться... Меня за письмо, вольным переданное, в подвале сносят... А еще петух этот индейско-американский картины в камере рисует и волнуется, что видит хуже прежнего... Ну? Краски, значит, ему дают. Рисовать ему, значит, разрешают, не тайком под шконкой малюет?.. времени, значит, тоже навалом... и вся наша страна за него испереживалась, подписи тысячами собирают... А до своих никому дела нету.

— Да ладно тебе — лапша все это... Печать-то выстрогал?..

— А куда ж я денусь? Вот она, родимая... Статья 196 — два года. Ладно, ты на денюху-то придешь?..

— Не получится... Беготни сегодня — выше крыши. Я постарюсь, — смягчил Слепухин, видя огорчение Алекса (теперь-то он полностью превратился в насупленного паренька из другой совсем, никогда не существовавшей, приснившейся жизни)... — Я постараюсь, но если что не склеится — не сердись и дольше отбоя не жди. На всякий случай — поздравляю. Ну и удачи тебе....

Маленькая голубятня уже довольно давно равномерно вздрагивала. Из компрессорной по голубым трубам и трубочкам нагнетался в тело промзоны необходимый для ее жизни воздух. Издали, из слепухинского цеха, доставал даже сюда ляг очнувшихся мастодонтов — здоровенных штампов, ящерно выстроившихся ровными рядами по сквозному цеху. Бронтозаврам этим, вывезенным, по-видимому, из Германии в порядке послевоенного мародерства, годочков вдвое больше, чем Слепухину. Как ни сбивали фирменные знаки по приказу хозяина, чтобы орлы, стало быть, не смущали и без того не слишком патриотичных зеков, как ни замазывали — все равно проступали цифры допотопных лет. (Охота же было солдатам-победителям мудохаться с этими многотонными ископаемыми?! А может, своего же брата и запрягли — тогдашних зеков?) Лязгают штампы, клацают тяжелыми челюстями, пережевывая вместе с металлом силы и жизни очумелого народца...

Сегодня Слепухин не особо волновался, что работа в цехе уже пошла, что промзона ожила, а он — сам по себе. И раньше-то с молчаливого угрюмого смирения бугра (а куда, козляра, денется?) частенько втыкал за свой штамп какого-нибудь чертяку, а сегодня уж — бугор и сам позаботится... Главное — быть на месте к заходу начальства, но и отсюда —

пора уже. Почифирили, покурили, побазарили... отогрелся Слепухин — пора...

Приткнутая к высоченным опорам, дрожащая лихорадочно лесенка опускала Слепухина в громаду цеха, соседнего с тем, где клацали ящеры-штампы. В этом же — перемальывались две бригады, включая Квадратову, переплавлялись споренько полсотни жизней в игрушечки-вагончики для всяких бродяжно-строительных надобностей. Вообще-то цех — сильно сказано. Бетонные опоры держали высоко вверху крышу и зашиты были наспех с двух сторон разным матерьялом от бетонных же плит до хлипких досок, еще две стороны, два торца — зияли сквозными проемами, и от одного до другого впритык были уставлены шестью вагончиками в разной степени недоделанности. В дальнем конце под рассыпающимися брызгами сварки прижималась к бетонному полу рельсовая основа будущего вагончика, дальше — он рос в высоту ребрами стен, дальше — стоял ребристый с крышей, потом ребра обтягивались жестяной кожей, еще один утолщал кожу прослойкой стекловаты и наготове стоял, доводимый лихорадочно глянцевою красотою: обои, электропроводка и последние штрихи грима... Вытолкнутый наружу вагон, выплюнутый в готовую продукцию, загораживал сколько мог цех от сквозного ветра. Этот тоже был очень даже недоделан, но, правда, в меньшей степени, чем ползущие к нему из глубины цеха. Когда-то довелось Слепухину заночевать в таком, был неприятный эпизод, когда оба они — вагон со своими обитателями и Слепухин со своими огорчениями — затерялись среди одной непогоды. Ох и клял он тогда неведомых создателей сооружения, к непогодам не приспособленного (обитатели утешали, что еще хуже — в летний зной). Знать бы тогда, кто именно эти создатели, — Слепухин бы умилялся и удивлялся, что так хорошо умудрились спать...

Сверху хорошо просматривалась отлаженная возня на всех этапах судорожного рождения основной продукции (вот она, воплощенная мечта народа, всегда колотящегося между страхом — не добыть места в поезде и не пристроиться на койку в общежитии, — вагон-барак, ни езды тебе, ни жизни, зато при месте и на кречке...). Несколько человек, не мешая остальным, курили в затишке, кто-то из чертей и петухов околачивался у выходов, еще несколько (Слепухин этого не видел, но хорошо знал) что-то скребли и сгребали дальше от цеха...

Не утихает ни на минуту, пугаясь и плескаясь, междоусобная ненависть загнанных сюда на созидательный труд, но перекрывается с верхом вполне сознательным отношением и к продукту труда, и к организаторам его. Поэтому и не разрушается такой вот порядок работы, и оказывается, что самые главные ее участники — именно те чертяки и петухи, что околачиваются вокруг, правда, благодарности они не дождутся и все самое грязное и тяжелое, связанное с уборкой и доставкой материалов сюда, сделают заодно и тоже без благодарностей. Однако стоит появиться кому-то из начальства, мелькнет только любой офицеришко, прапор или солдат — резкий свист сигналов мигом перебрасывает все цеха зоны во всплеск совсем иной суеты. Каждый начинает крутиться именно у того места, где начальство желает его видеть, никто уже не курит и не отогревается в закутках, темп возни возрастает, толкучка такая, будто сам Броун, предводитель движения частиц, витает над промзоной...

Слепухин шел по цеху, неотличимый почти в грязном равнине от копошащихся вокруг. Теперь только сжатая стремительность человека, знающего свои привилегии, расчищала ему дорогу.

Ерунда все, что плел Алекс... Ни черта он не понимает — милое дело рассуждать с его верхотуры... Хотя все же...

«Надо будет навестить Савву и Максима», — наметил себе на сегодня Слепухин.

Свой цех, того же проекта и воплощения, что и соседний, встретил Слепухина оглушительно (поезд, ворвавшийся в тоннель, так же измарцивает пассажиров, сколько бы они ни готовили себя к этому грохоту). На слепухинском месте сидел Штырь и рванул было уступить, но Слепухин остановил его порыв (кричать здесь бесполезно, и все пользовались жестами и мимикой, в чем были свои удобства, особенно ощутимые в попытках начальства что-то немедленно указать, направить, наладить... Всякое такое вмешательство, если идеи начальника становились навязчивыми, приводило к остановке работы, что временной радостью перевешивало неудобства опасностей любого с начальством общения...).

Конечно же, стремительность жизни цеха имела много больше уровней, чем виделось с летучей лесенки, хотя всегда обратная пропорциональность стремительности и результата

сохранялась. Уровни, в которые перепрыгивал энтузиазм зеков и с внешней, и с содержательной стороны, определялись положением того пса, который сюда направлялся. Дело в том, что, при всей схожести своей униформы и неотличимости внутреннего наполнения, все они были для зеков куда различимее, чем зеки для них. Одно дело, если на подходе начальник цеха, или мастер, или отрядник, или, наконец, помощник отрядника по производственным заботам, короче, любой из тех, кто вдруг да сумеет припомнить тебя лично и то место в производственно-воспитательном процессе, которое он (они) тебе отвели, другое дело — шествует пес поглавнее — этот воспринимает масштабно, охватно, ему только энтузиазм общего верчения виден и радостен, еще иначе, когда занесет начальство соседних цехов или отрядов — тут лишь бы каждый куда-нибудь двигался, ну, а если совсем уж занесло псов, вынюхивающих только, где бы что уволочь для личной нужды без прикрытия даже морщинкой раздумий о тяготах производства, — тут лишь бы не курили, не сидели в угревках, не передыхали в сторонке... У любого прибавлялось еще энергии от маниакальных опасений, что вот этот-то пес лично его хорошо знает. Редкие умницы имели наглость догадаться — никого они не знают, не помнят и вспоминают наново, только сличая по бумагам со своими же записями вздрючек, вернее, записи вспоминают, а тебя лично — ни в какую, — на кой ты им сдался?..

Слепухин подошел к Максиму, который за соседним с его штампом ловко перебирал руками в бесперебойно чавкающей пасти чудовища. Дождавшись, когда руки выскользнут из шмякающей челюсти, чтобы передвинуть поближе новую стопку железных полос — пицци мастодонта, Слепухин тронул Максима за плечо и руками-губами-глазами условился о перекуре. Теперь найти кого-нибудь на подмену Максиму — и порядок.

Отрядник определил за штампы в первую очередь самых для себя в бригаде ненавистных. Сесть на штамп — это по первому же взморгу отрядного или кого другого — на кичу. Всей остановки только на обрыдлую необходимость оформления соответствующей бумаги при появлении соответствующего позыва. На каждом штампе (и на слепухинском тоже) норма установлена в шесть тысяч фигурочек (у Слепухина — кругленьких), которые откусывает из длинных полос тупая железная животина. Выбивает Слепухин только три с полови-

ной, и все — около того: чуток туда, чуток сюда. Когда-то давно Слепухин опробовал свою животину на максимум, уговорившись, конечно, с бугром, что больше ежедневных трех с половиной отмечено не будет, уйдет про запас. Заклинив все кнопки и добившись равномерно чавканья (в секунду одно), приспособив чертяку бесперебойно подавать полосы под правую руку и другого — забирать фигурешки из-под левой, Слепухин, не разгибаясь, фокусничал полсмены без продыху. Результат — две триста, значит, в смену все равно норму не вытянуть, хоть сам клацай в помощь.

Так и получалось, что любой сидящий на штампе сидит почти уже в подвале (уклонение от выполнения производственного задания). Ну а если что-то разладилось в железных внутренностях ископаемого — тогда прямиком и без бумаг даже — потом оформят (уклонение с изломом необходимых органов). Так и колеблется здесь работа, неуклонно наращивая фигурешки к максимуму. Слепухин помнил, как выдавалось по две с половиной со штампа, потом — по три тысячи... каждое увеличение выработки сопровождалось долгой осадной войной, переходящей в междоусобную, со своими жертвами и своими штрейкбрехерами...

Наращивание выпускаемых фиговинок на самом деле было невыгодно всем, включая и псов, поэтому нагнеталось медленно, в соответствии с итогами какого-то там социалистического соревнования между лагерями за очередь на переходящее знамя и сцепленными со знаменем новенькими звездочками, к которым, в свою очередь, много чего понаприцеплено... короче, раз в год.

Когда-то Слепухина угнетала невозможность придумать разумного применения хреновинкам, им же производимым (да и тем, что с других штампов — не придумывалось), разве что сама железная полоса после протягивания сквозь зубастую пасть штампа могла сгодиться на ажурные ограды — такой кружевной выделки она становилась. Потом он увидел как-то в дальнем конце промзоны, где прессуют в ровненькие кубы разные металлические отходы, свои хреновушки — их он бы и спросонья опознал. Шварк... и из внушительной горы — ровнехонький куб вмятых друг в друга, уже неразрывно родимых кругляшей...

На самом деле, необычное и поразительное во воспомина-

том эпизоде — именно Слепухин. Надо быть сильно прибахнутым, чтобы хоть какое-то время среди гибельного многообразия жизненно необходимых интересов сохранять празднично-любопытствующий интерес к дальнейшей судьбе каких-то кругленьких хреновинок...

Натурно изогнутый Угорь приволок к подножию штампа порцию железных полос и швырнул освобожденно. Полосы бесшумно устраивались лежать поудобнее, пока Угорь отдыхивался.

Слепухин быстренько растолковал Угрю требуемое, показывая на Максима, но тупорылый Угорь ухватил прилежные было полосы и поволок их к штампу Максима. Слепухин пошел следом и уже на месте без лишних объяснений усадил Угря перед мордой чудища.

Устроились Максим со Слепухиным в том же вытолканном из соседнего цеха вагончике у окошка, чтобы по быстроте мелькания вокруг вовремя угадать начало утренней псовой охоты.

Слепухину не столько надо было что-то там понять, сколько высказать Максиму свое расположение, чтобы не отчеркивал он Слепухина от себя той же чертой, что и Квадрата... Но и от семейника не собирался Слепухин отступаться, и, может, даже получится примирить Максима с Квадратом.

— Объясни мне кратенько, — Слепухин поднес Максиму огонек, — на что ты надеешься?.. Ведь сам говорил — все псы одинаковы, и все они — псы?

— Ладно, Слепень, попробую... — Максим хмуро курил, глядя в окошко только. — Конечно, мы для них — ничто... недолюди, с которыми и чикаться нечего, и играют они в свои псовые игры, а нас им — растереть, всех-то забот. Но в свое они играют нешуточно: и правила есть, и косяки нарушившим, и награды со звездочками, и наказания, отодвигающие от звездочек тех или даже срывающие их... Вот отряднику нашему, задолбавшему, одно удовольствие — кому-то зубы пересчитать. Теперь возьми случай, когда этот, зубами пересчитанный, осмелится жалобу тиснуть — в ящик или лично кому из псов — неважно, все равно, считай, к хозяину попало... Зубы жалобщику этому, конечно, вторично пересчитают, и не раз еще потом, но за отрядником — косяк... не из-за мордобоя, а потому, что не сумел шито-крыто... тупорылый, значит. Отряднику же мнение хозяина важнее всех наших жизней, вот и ему надо шито-крыто... А если кто осмелится плес-

нуть жалобой за зону? к псам покрупнее? Опять же его умнут всем скопом, с помощью тех же прокуроров, кому он вякать решился, но тут уже косяк всем местным, включая хозяина, и, может, в первую голову — хозяину. Ведь у исправных работников мрази свое место должны знать, а не знают — какой ты работник?.. Ну а если повыше плеснуть? Допустим, в Москву? Да еще коллективно? Им же это должно быть хуже худшего, и пусть даже растопчут тот коллектив в прах — это не утишит их отчаянья: ведь сколько им всем еще тыкнут потом разных замечаний на разных уровнях... Теперь представь, что под угрозой расплескивания в разные стороны мы предлагаем компромисс: вы с нами, как положено, и мы кончаем залупаться...

— А вдруг не так у них все крутится?

— Может, и не так.. Может, и выдумка — эти их игры... Ты не замечал, как выдумки наши становятся нашей жизнью?.. Может, и вообще все это вокруг — одна наша воспаленная фантазия? Только прикинь: как только уверяемся мы в безнадежности — пошел гулять беспредел. Так если уверим себя, что им есть чего бояться, — их, может, и захолонет?.. Пора! — углядел Максим, приминяя пальцами недокуренный чинарик.

Слепухин с Максимом уже сидели за штампами, когда сигнально мигнул свет и покатилась разворачиваться ежедневная пантомима. Начальник цеха замер в сквозном проеме, глядя насупленно вроде бы под ноги, а на самом деле внимательно принохиваясь к своим владениям. Потом он ковыльнул медленно раз, другой, постепенно осваивая единый для всех оглушительный ритм и уже не выдергиваясь из него более. На каждом шагу подтанцовывали, пристраиваясь сзади, организаторы работ, приказчики и надсмотрщики, погонялы и зашибалы — из вольнонаемных и из своих. Всякий сразу же занимал именно свое место во все более внушительном и угрожающем кордебалете, а обрастающий ком катился дальше по цеху, нависая рассыпаться в искрах на подвернувшуюся неловко голову.

Еле успел Слепухин выдернуть руку, так и не ухватившую кругляш из сомкнувшейся пасти. Так вот засмотришься, а потом фигу ввернуть какому-нибудь козляре нечем будет. Ритм, в котором предпочитал существовать слепухинский мастодонт, постепенно подминал всего Слепухина, изменяя и подстраивая к себе — даже сердце согласилось уже поторапливаться в унисон. Загипнотизированный Слепухин только кра-

ешком отмечал жизнь, выгнутую на границах обозримого пространства. По замедлившемуся мельканию там, на границах, он осознал, что кордебалет укатился уже в приторкнутые к цеху пристроечки кабинетов на ежедневные свои людоедские разборки. Еще немного потерпеть, и можно будет отлепиться от завораживающего грохота и отдохнуть, пока козлячья и псиная свора ловит переменчивые настроения начальника и накачивается ими, податливо выдуваясь в нужную на сегодня сторону. Вот на это время у зеков настоженный отдых под прикрытием десятков глаз, что держат впригляде двери начальственных кабинетов. Работать в это время просто нелепо: вдруг да вынесут козлячьи глотки в цех совсем иное указание — всего обиднее будет тогда сделанная лишней сотня хреновинок.

Мимо Слепухина пронесся мужик с дальнего штампа — помертвелое лицо плыло само собой, а ноги еле поспевали, боясь уронить это выбеленное пятно.левой рукой он все пытался прилепить к правой отдельную уже и ненужную кисть. Боль еще не захолонула его, а радость неожиданной удачи выплескивалась ошалелыми глазами.

Рано радуется — еще корябать ему оставшейся левой объяснения, а уже потом определится: решат, что причиной его преступная халатность, — тогда повезло, тогда недельку отдохнет, ошиваясь при медчасти, а решат, что умышленно оттяпал, для той самой недельки отдыха посмел испортить государственное имущество, каковым он является, — тогда наплачется еще бедолага.

Слепухин отлепился от штампа, предоставляя тому возможность клацать вхолостую, зверея звуком от неутраченного голода. Максим подсовывал полосу в зубы своего через раз и также неспешно выщелкивал из пасти откусанные железки. Потом тоже бросил подкармливать своего зверюгу и закурил в кулак, места не покидая. Слепухин же решил смотаться к Савве — заглядить, сколько получится, вчерашнее. Он накрутил Штыря, чуть не надорвавшись криком и выводя на сигаретной пачке неровными на весу каракулями «позови у Саввы», а потом метнулся из цеха.

— Что-то ты не по адресу... — Савва срачивал оборванный шланг, — тебе Квадрат поручил козлов предупредить о решениях его. Я-то в курсе.

— Упредил уже всех, не волнуйся... Да и не от Квадрата я, а сам по себе... перекурить зашел.

— Перекуривай... Что у вас, тоже там драй начался?

— Какой драй?

— Всю зону в спешном порядке реставрируют — повыгнали другие смены из барачков... ждут кого-то, переживают, ну а зеки, известное дело, за честь лагеря — горой... красят, чистят, может, и снег белить приладят, если гость чином, конечно, вышел.

— До нас еще не дошло.

— Сейчас объявят... чтобы наручники свои надраивали, до блеска доводили.

— Значит, работа побоку?!

— Вот и ты обрадовался... Общий порыв — он захватывает.

— Брось ты, Савва, колотья... Горбатиться сегодня не надо будет — вот и радуюсь.

— Так ведь задницу хозяину вылизывать еще противнее, хоть и полегче, конечно, чем за штампом...

— Ну что ты набросился на меня? Я снег белить не собираюсь.

— И то хорошо.

— И вообще, Савва, я с Квадратом не полностью согласен... и на проверке, если будет, гнуться не стану... ну, и если тебе что надо — можешь на меня рассчитывать...

— Эх, Слепень... на что тут рассчитывать можно?! Слово сказал вот душевное и — спасибо... большего не бывает... Ты кури, кури себе — я привычный.

— Савва, а что это ты вчера нас всех в покойники записал?

— Не помню такого.

— Ну, ты говорил, что здесь кладбище и поэтому ничего про нас написанное читать не надо... Что не для того на кладбище пишут, чтобы читали.

— Может, и не совсем кладбище, но очень уж похоже...

Савва наконец-то растормошился и закружил помутненно в своих фантазиях, а Слепухин был доволен, что сумел-таки порадовать старика, так ловко подыграв на его слабости.

— На кладбище, считай, все люди в одно перекручиваются — в землю возвращаются... Ну и здесь нас успешно вполне перемешивают в одно — в липучую грязь, в единую кучу, чтобы при освобождении ухватить горстью случайный ком из

кучи этой и шлепнуть за ворота — иди пока... пачкай дальше. Кладбище — это производство по переработке людей в первооснову, в родимую землю... Здесь — экспериментальное производство по выделке одинаковых монстров из разных людей... И здорово выделяют по заданному образцу... здорово ведь... Тело — равнодушие, сердце — страх, кровь — ненависть, душа — скука... а скелета нет — перемололи совсем... разума тоже нет... Да и сами они, экспериментаторы, лаборанты наши, в такое же...

...Штырь всунулся в будку, исчезнув тут же, и Слепухин мигом сорвался следом, кивнув Савве... Напролом, через засыпанный снегом неведомый хлам, они запетляли к уборной, а там уже притормозили и, не особенно поспешая, направились теперь тропинками к своему цеху.

— Что там?

— Козлы как кошпаренные... уродоваться сегодня не надо... — Штырь выбрасывал в Слепухина порцию слов, задыхаясь и захлебываясь короткими морозными глоточками... — Шухарят по общему облику... глянец им нынче понадобился...

Хоть и ворчит Савва, до тошноты нахлебавшись своими фантазиями, хоть и готов Слепухин ему поддакнуть, но эти вот редкие авральчики Слепухин любил. Переполох быстро взвинчивался до состояния полной бесконтрольности, и побелевшие глаза начальников никого уже узнать не могли, еле успевая выхватывать отовсюду прущие дыры, требующие немедленного затыкания, замазывания и окрашивания... Кто именно будет это делать? кого туда кинуть? чьими руками заткнуть? — тут полностью полагались на схватчивость козлов. Вся козлячья свора приосанилась как-то (покрупнели, что ли?), дорвавшись наконец до чрезвычайных полномочий, и среди впавших в летаргию железных чудищ громко рявкали командами и проклятиями. Впрочем, не забывались настолько, чтобы не корректировать свалившуюся радостью реальную власть с не менее реальной для них значимостью каждого проклинаемого, по крайней мере, проклинаемого вслух.

Слепухин раздобыл себе измызганную краской кисть, стряхнул с нее несколько свежих капель на драную одежду, стараясь не заляпать сапоги, и теперь мог слоняться свободно и где вздумается, не опасаясь лающего окрика: «Кому шатаешься?» (кому-кому?! Наведению порядка — вот кому!).

Потускневшие после новогоднего аврала воздушные артерии снова расцветивались празднично-голубым... огромные туши мастодонтов поблескивали свежими зелеными пятнами, будто испачкались в грязном болоте, и угадывалось, что скоро уже их в том болоте искупают целиком... опасные пасти чудищ резво окрашивались по толстым рельсовым губам ярко-красной помадой... Все сгущался, выбивая слезу, ацетоновый дух — самый верный признак перепуганного метания псов и задыхающегося их вылизывания своих псарников...

В этот раз перепуг был позахватней обычного, метался и по стенам цеха, дотягивался до углов и укромов, куда обычный начальственный зрак не поднимался (то есть не опускался).

Из небытия проступали лозунги, плакаты, таблички разные... Всегда они здесь прятались, потонувшие в отходах и испарениях лагерного труда? наново вытащены из кладовочек воспитательных закров?.. теперь уже не понять...

«Не приступай к работе на неисправном оборудовании!» — тыкал восклицательным знаком в лицо Слепухину мордатый фраер в новехонькой спецовке. Ох, полюбовался бы Слепухин этим бараном здесь, не приступи он к работе... Первым делом тот сам бы поподбирал с бетона белые свои зубные фасолыны, вылущенные начальными аккордами долгого перевоспитания... Так бы и ползал среди псовых сапог, собирая и поглядывая при этом на стену, вспоминая себя в давешней плакатной силе...

Однако ненависть Слепухина не успела сфокусироваться именно на этом ублюдке — отовсюду тыкали в него пальцами бараны-близняшки, различимые только цветом нулевых спецовок, и все они были одинаково ненавистны. А тот вон, в цивильном костюме с козлячьим значком депутата... тот бы у Слепухина попрыгал тут... поискал пятый угол — ишь, расщерился гададь! (Депутат разворачивал перед Слепухиным букварь, полученный, видимо, в подарок, и рад был подарку этому до опупения... на титульном листке букваря золотилось: «Охрана труда — забота партии о народе», а над тупорылой депутатской башкой тянулись красные буквы, его, значит, ответное слово: «На заботу партии — новыми трудовыми свершениями».)

На людоедских штампах, на их тяжелых боках белели остро отточенные зубки, сквозь которые совсем уж метко цвиркали тоненькие презрительные плевочки: «Не включать при неисправной системе безопасности» и следом без остановки: «Готовую

деталь доставай специальным приспособлением»... Штампы переходились беззвучно, распяливая красные пасти.

Слепухин помнил, что и за оградой всегда вдосталь хватало таких же плевков, но там можно было плюнуть встречно и стряхнуть с ушей эту лапшу почти без следа; здесь же стряхнуть не получалось — здесь реакцией твоей на эту труху как раз и выверялась успешность твоего перевоспитания... так что сильно башкой не тряхнешь, а от незаметных псам покручиваний — не свалится... Казалось, что в сравнении с остальными воспитательными приемчиками эта шелуха с плакатов — такая малая мелочь — смешно даже взвизгивать ответно. Однако сейчас Слепухина доводила до испуга именно малая эта мелочь, лапша эта гнилая, которая не просто облепляла голову, а ухватив с цепкой неотвратимостью за ухо, выкручивала в рабски покорный выверт — беспомощно-унизительный, даром что не больно...

Не зря до ослепляющей ненависти часто доводил не хозяин со всей своей гнусной бранью под тяжелую руку, а, например, дедушка-режимник со щипками колючими и дебильным остроумием... или еще больше — Боря... Вот этот-то хоть и бил трусливо, потому и не очень сильно, не до фейерверка в глазах, но приговорочки его при каждом ударе доводили до остервенения («наш гуманный закон гарантирует защиту общества от преступных элементов» — хрясь! — «мы не позволим тебе черной неблагодарностью отвечать на всемерную заботу партии и государства» — хрясь!)...

— Слепень, — Квадрат вызволил Слепухина из водоворотного захвата вспенивающей злобы, — стоишь, зубами скрипишь... нашел занятие. Идем-ка...

Слепухин старался не отставать от семейника. (Бугру Квадрат вдолбил, что тот сам послал их на крышу оглядеть, что там да как.)

Оказывается, Квадратов брат приехал в поселок, да не один, а уговорил в помощь трех пацанов. Те будут сейчас делать кид, а семейникам предстоит кид тот принять. С нарядом, что дежурит на промзоне, у Квадрата уговорено: они спешить не будут (через них-то и передал старший брат про кид, им он и оплатит медлительность).

Кид — это клубок страстей, это — долгие волнения, медленно затухающие несколько дней, это — всплеск надежд, ожида-

ние праздника и страх провала с бесконечным вколачиванием всего всплеснувшего обратно в зубы, ребра, куда попало...

Кид — это осколок забытой жизни, увернутый в крепкий пакет. Надо исхитриться, подойти из вольного мира поближе к ограде и швырнуть этим осколком наугад, посильнее, как бутылкой в волны — авось подберут. Если перелетел пакет через стену, если пересилил переметнуть через полосы запретки и оград внутри (снаружи не видных) — тут на него и налетают вороньем отовсюду с шумом и ветром, с вороньим же выклевыванием глаз и лиц.

Одни, чтобы упрятать и отдать потом адресату (им за помощь — свой кусочек), а может, еще и адресат не отыщется... другим — надо ухватить и вручить псам (мышинная служба требует), себе откусить уже псы дадут в уплату... самим же псам сладостно самостоятельно вырвать: и почет от хозяина, и никому отщипывать не придется от добытого куска...

Кид нужен всем, загороженным на одном огрызке земли. Опер будет еще долго вынюхивать — кому кидали да что там было? Режимник не раз еще пошлет своих гончих со шмоном и перетряхами по баракам. Затурканные козлы будут еще несколько дней выпрашивать свое за благосклонное участие (не сдали вот, хотя требовали от них и сулили всякого). Кид — это ворвавшийся камнем глоток иной жизни.

Слепухин взобрался на плоскую крышу цеха и, проваливаясь в снег, задыхаясь от набросившегося сразу ледяного ветра, медленно двинулся к самому краю в другую сторону от осторожно ступающего Квадрата. Долго здесь не выдержат... очоленеешь к чертям, и слизнет ветряным языком — ойкнуть не успеешь...

Квадрат приготовился к приему киды солидно. Внизу маячили расставленные по промке мужики, готовые по сигналу с крыши переместиться к нужному месту запретки. С высокой крыши хорошо охватывались и промка, и здоровенный ломоть заоградной земли. Запретка своими запутанными нагромождениями тянулась параллельно цеху метрах в ста от него и справа от Слепухина, который на правом же краю крыши топтался, уворачиваясь от тугих, отовсюду хлещущих ветряных пощечин... далеко справа запутывалась запретка целым коридором шлагбаумов и ворот.

Оттуда раз в сутки на промку подавался короткий состав из

нескольких открытых платформ и старчески пыхтящего маневрового тепловозика. Сейчас по телу готового к подаче состава блохами прыгали маленькие солдатики, торопясь побыстрее обшмонать платформы. Потом только позалезают они в теплые свои будочки и забудутся в них до самого, считай, вечера, пока не загудит призывно и с натугой тепловозик. Вот тогда они уже попотеют, попрыгают, обнюхивая каждый сантиметр загруженных платформ, уверенные, что зеки могли приклеиться к любой части, к колесу даже, пугая друг друга неожиданной встречей с готовой на все лагерной мразью, подрагивая пальцем на автоматном спуске, подзуживая разгоряченных собак лезть вперед в совсем уж немыслимые места... Ослепленные страхом, они не заметят, конечно, что прямо перед их носом сгружены в изделиях промки ошметки зековских душ, жил и нервов, страшные в своей ядовитой заразности, невозможные и недопустимые к вывозу из зоны, пропитанные смертным духом посильнее самой мыслимой радиации... эх, нет счетчиков на это, да и были бы — солдатам все равно бы выдали испорченные, чтобы не щелкали и не тревожили напрасно народ...

Автомобильная дорога, которая выныривала из небытия слева, пропетляв немного в виду каменной ограды, снова круто забирала в сторону и пропадала за бугорком начисто. На нее-то и поглядывал Слепухин, не разлепляя уже помертвевшие губы даже для проклятий.

Квадрат свистнул, но Слепухин и сам заметил черного жука, медленно ползущего по снежной дороге, аккуратно выписывая все извивы пути и вроде бы даже пофыркивая. На изгибе, ближе всего петляющем у ограды, жук остановился, оформившись сразу в довольно потрепанный грузовичок. Шофер вышел из кабины и поднял капот. Слепухин махнул рукой, и мужики, ожидающие вслепую, не сводили уже глаз с крыши (только бы мыши не пронюхали раньше нужного). Трое мальчишек вывалились из кузова и, потолкавшись с шофером, затеяли показную возню со снежками и догонялками, пока шофер чуть ли не целиком вынырнул в раззявленную морду грузовика — только ноги болтались наружу.

Мальчишки все ближе куролесили к ограде и не видели того, что уже заметил Слепухин: солдаты наружной охраны бежали россыпью из-за каменного плеча стены. Слепухин вытянулся всей душой за забор, стараясь перелететь к пацанам с под-

сказкой и помощью, но увидели и они, переполошившись до полной потери ориентации и припустив кто куда (дураки! щенки сопливые!.. чего им-то бояться? — кидать надо!..).

Солдаты старались отрезать пацанов от дороги, и те запетляли совсем уж по-заячьи, теряя на ходу пакеты и ничего, видимо, не соображая. Затравленно оглядываясь, не обращая внимания на сигналы шофера, они в панике летели прямо в капкан... к платформам, прямо в руки окончивших шмон солдат... сейчас, сейчас новая свора с веселым лаем включится в вечную погоню.

Тепловозик свистнул, и этот свист как отрезал от Слепухина недоумистых пацанов — они исчезли неразличимо в мелькании гончих псов с развевающимися полами шинелей.

— Эх, балда! — Квадрат спускался по заледенелой пожарной лестнице, умудряясь одновременно с остервенением растирать лицо... — Не мог сам кидануть!.. связался с сопляками!..

Слепухин не отвечал, поторапливаясь следом, буквально видя, как грохается он вниз, не удержавшись одубевшими пальцами за неоощаемую перекладину (хорошо, хоть ледком охватило — не то прикипали бы руки в кровь).

Квадрат внизу сразу же испарился, а Слепухин метался по цеху в поисках теплого уголка, не переставая хлестать себя помертвевшими пальцами, и затихал ненадолго, зажав руки вперехлест под мышками в распахе телогрейки. Краем сознания он отметил водоворотное верчение у входа в цех, но откликнулся любопытством только тогда, когда обрастающий зеками серый клубок тел покатился по цеху. Слепухин нырнул в этот ком наперерез его ходу и остолбенел от полной нелепости увиденного: двое из тех пацанов затравленно метались в охвате хохочущих зеков, растеряв и последние крохотки своего разума — только ошалелые глаза во все лицо. (Прорвались со страху вместе с тепловозом?.. Конечно, остальные пути им отрезали наглухо — вот и рванули в заячьем невидящем перепуге... могли и под колеса... Вот идиоты!)

— Мужики, как выбраться отсюда? — писканул один, чуточку приходя в сознание.

— Знали бы — сами бы выбрались, — хмыкнул Максим и будто подтолкнул дружный веселый хохот вокруг.

Зеки старались хотя бы дотронуться до чудом залетев-

ших сюда пацаненочков, и те вдруг отошли от ошалелости, очнулись, встряхнутые повальным хохотом, и засмеялись встречно... ожили.

— Сынки, не тушуйтесь, — успокоил Штырь, — ничего они вам не сделают.

— Точно — плевать вам на псов этих...

— Штрафанут родителей — и всех делов.

— Ну, может, отмудохают слегка...

— Не слегка... Отмудохают дай Бог...

— Будут бить — орите во все силы и грозите судом...

Мальчишки совсем опомнились и стали быстро выворачивать содержимое своих карманов в мелькающие вокруг ладони. Один пакет сохранился... Сигареты... рубли мятые — все вытряхивали подчистую (Слепухин глядел — кому что достается). Парнишка постарше сбросил куртку и мигом стянул с себя свитер, второй отстегнул часы — в минуту они распотрошили себя, насколько могли, до носков и пытались всунуть и еще свои кроличьи шапки, не понимая, что здесь это — совсем ни к чему... даже псам не загонишь — у них пусть и другой, но обязательной формы, а на продажу?.. не ондатра же.

Мелькнули в дверях шинели, и вроде наученные уже мальчишки все равно не выдержали: извечная потребность гонимого — убежать от погони подхлестнула их и понесла сквозь цех, замотала по выходе в петляниях и увертках от вконец озверевших псов... Зеки, вывалив из цеха, свистели и подбадривали криками пацанов, когда их, выуженных из сугробов, тащили солдаты к воротам промзоны...

Взбаламученные невероятным происшествием, к прерванным занятиям возвращались медленно и через силу. Даже совсем согнутые в послушание огрызались на козлов, заставляя их притушить выстрельные щелканья команд.

День, качнувшийся уже в сторону от оупляющей неизбывной обыденности, так и не замер в замороженной неподвижности. Не утихли еще разговоры о заехавших на промку под настилом платформ лихих парнях, успевших и прапоров отметить, и небывалый грев передать, а из жилой зоны просочились совсем иные, обжигающие каждого слухи.

Стоило только дохнуть им, и мгновенно испарялись остальные волнения и заботы. Никто не хотел верить, и каждый отгораживался как мог, не принимая, не желая принять именно по-

тому, что парализующая пустота подо всеми жаркими возражениями как подсказывала — все верно... кто же помешает псам...

Шептались о небывалом шмоне, о том, что видел кто-то солдат, еле утаскивающих мешки барахла из барачных, о шмоне, отматающем все вчистую, выравнивающим всех на одной безнадёжной черте.

Всегда шмонали, вытряхивая все вольное, все, напоминающее оружие, хоть мойку ржавую, хоть шило для сапожных дел... все подозрительное и непонятное им... шмоны — это привычно. Но не представлялось никогда, что могут отшмонать лагерный же фофан или книги, здесь же в ларьке купленные, или сапоги лагерного образца... зачем?

Зеки блуждали хмурые и взвинченные, прислушиваясь к отовсюду вслухающим лопающимся возражениям, кивали мудрым рассуждениям чуточку успокоенные и снова в смятении прислушивались к не верящим в разрушительный шмон резонам.

Драй завял — никому дела не было теперь до начальственных волнений, и запыхавшийся бугор еле продвигал наведенные последнего глянца.

— Мужики, себе же гадим, — молил бугор. — Обозлим псов — на самом деле все отшмонают.

— Шел бы узнал — что там в жилке? — буркнул Максим. — Тебя выпустят.

— Кто ж меня выпустит, Максим? — ныл бугор. — Обед уже скоро — там у шнырей все и узнаем.

Слепухин, как ни стыдил себя, все время возвращался к радостным мыслям о том, что у него-то чистый фофан хранится в закутке Алекса... и сменный костюм, и чистое белье на смену... а вот тем, у кого все чистое на пересменку в бараке, — тем не повезло, тех, считай, с чертями измызганными поравняли... революция, одним словом, — изымание излишков. Зачем тебе, мразь лагерная, чистый фофан? Тебе чистый фофан, а ты нос дерешь? воображаешь о себе? Ходи чертом измызганным — не повоображаешь... и голос уже не тот будет, уже с нудиночкой... лучше всего бы — голыми, тогда точно — не повоображаешь... голый перед одетым много лучше, чем грязный перед чистым... Нет, неужто точно — отмели все до последнего?!

Совсем уж невиданным аккордом этому дню была козлячья собственноручная уборка разного хлама вокруг цеха. Даже петухи двигались еле-еле, хоть и пинали их козлы со

всех сторон, хоть и отвечивали сапожничьи удары куда доставали только — все как заснули... Зрелище козлов, занятых петушиной работой, отогревало сердце — видно, сильно накачали их угрозами и посулами на утренней планерке.

Наконец и начальник цеха соизволил осмотреть свою охорошенную территорию. Глаз, однако, не поднял — продержался ходульно в мертвячьей тишине, остановился, потрогав блестящим сапогом забытую банку из-под красок (бугор лично выхватил банку из-под сапожка начальника) и прошел насквозь. Тут же дозналось — совсем ушел псина, за ворота... значит, на обед... Чуть погода разбежалась и псы помельче. Попробовал было бугор вякнуть о возобновлении основных работ, но даже он заткнулся, потрогав необсохшие еще бока и хохочущие пасти чудовищ. Цех опустел — все разбрелись по уголкам, по угревкам перемалывать в разных утешающих предположениях оставшееся до обеда время.

Видимо, весь марафетный переполох оказался напрасным. То ли вообще никто не прибыл проверять, что здесь творится? то ли прибывшим хватило впечатлений устных... за столом где-нибудь? Во всяком случае, никакие проверяющие не потревожат уже дообеденный покой зеков — только абсолютная уверенность в этом могла выгнать псов на обед.

Слепухин, переполненный бурлением длинного дня, раздумчиво выбирал, где ему пригреться, чтобы не донимал никто не влезаящими уже в душу разговорами. Ничего не придумалось, как опять забраться к Алексу (к кому другому заявишься в тепло, в гости с таким вот подарочком — приструнить разговоры?).

Алекс возился у себя за столом, так, наверное, и не выбравшись никуда из этого чуланчика.

— Запарить?

— Не надо... я покемарю... — не против?

— Устраивайся, если не опасаясь...

— Услышим заранее по железным-то ступеням.. если что, скажи: аппаратуру принес ремонтировать.

— Какую?

— Ну, не знаю... Навешай им что-нибудь... Вот, например.

— Это? — Алекс захохотал вздохом. — В этом никелированном футляре, дружище, самогонный аппарат моей личной конструкции — заказ замполита.

— Н-ну, дела...

— Вот, держи дрель в руках — ее ты и принес... Отдыхай...

Слепухин удобненько пристроился между ящиками, но прежде чем отдаться полностью на волю теплой волне из самодельного обогревателя, попытался всполошить себя испугом: а что, если совсем не на обед умотали псы? что, если нагрянут сейчас? — всполошить не удалось, вспыхнула была паника начальным взметом далеко где-то да сразу же и растворилась в потоке теплого воздуха (позовут... по-сигналят... штампы включат...).

Перед глазами в суматошной суতোлке толкались картинки длинного дня, но ошалелые глаза пацанов пробились вперед, и один подмигнул многозначительно, сразу же объяснив Слепухину все: надо было раньше сообразить — такой шанс упустил... Правда, острижен Слепухин наголо... Знать бы заранее, чтобы пацан парик с собой притащил... Слепухин мигом поменялся с пацаненком одежками, и вот уже его, а не пацаненка, протаскивают через дежурную часть и лающих офицеров (только бы парик не сполз), потом на пинках выталкивают за ворота...

Грузовичок все еще ждал у дороги, и можно бы было ехать — лететь отсюда без оглядки, но не отпускала досада обязательного еще дела. Только вспомнить бы — какого?.. Все прояснилось, когда Слепухин заглянул в кузов и увидел рассыпанные вокруг пакеты. Вот что терзает душу, не отпускающая ее на волю!.. Слепухин подхватил сколько мог и что было сил помчался к ограде. Заметили, сволочи!.. Он растерялся, метнулся вдоль стены, заметил хохочущие морды солдат и запетлял в ужасе, успев в последний момент чудом прилепиться к грохочущей мимо платформе. Здесь знакомы были уже все закоулки и, ощущая над плечами жаркое дыхание погони, Слепухин крутанулся в свой цех, где его тут же ухватил обманутый им пацаненок. Он мычал что-то и клещом вцепился в свою куртку, пытаясь сдернуть ее обратно себе...

— Вставай, Слепень, пора уже...

Покачиваясь и не до конца очнувшись, Слепухин брел в полуяви к воротам промки, не успевая вровень с отовсюду вынырывающими зеками, упуская их вперед. У ворот стояло человек тридцать — по несколько чертей из каждой бригады заранее занимали места в очереди на выход — и сейчас к ним пристраивались остальные бригадники. Маленькая серая кучка на глазах разрасталась в огромную колышливую и гудящую толпу.

.. Открылись ворота, но мелькнувшие возле них солдаты исчезли опять. Провисшая в проеме ворот цепь дуговой линией перечеркивала дорогу в столовую.

Слепухин все надеялся вернуть себе окутывающую благодать недавнего тепла и бессознательно сопротивлялся невозможности этого здесь, на нестерпимом продуве... Он влез в толпу, пробираясь вперед к своей бригаде, и вместе с толпой его качнуло к воротам, но стукнувший радостью выплеск крови (выпускают уже) заморозило сразу же, как только глаза нащупали перед собой на прежнем месте висящую цепь. И все-таки что-то там происходило...

По выскобленной в накат прямой от дежурной части сюда, мимо длинного здания столовой, неуклюже оскальзываясь, бежал очередной бедолага, попавшийся на всем известный подвох режимника. Сам режимник, заткнув полы шинели за ремень, быстро настигал его. Когда-то и Слепухин безмозглым куренком клюнул на этот фокус. Ухваченный рукой режимника по выходу из столовой и доставленный в дежурную часть за попытку вынести в барак свою же пайку хлеба (с этой бескультурной привычкой зеков лагерные псы борются постоянно), Слепухин смирился уже с безвозвратной потерей тюхи, и болело все только о предстоящем наказании. Тогда режимник и предложил эту игру в догонялки, и если догонит он Слепухина от вахты до промки, «тогда уж не обижайся, тогда мы тебя, прорву прожорливую, обезжирим кругом» (этот афоризм означал лишение не только ларька, но и посылки, и свидания, на что Слепухин, ожидавший подвала, был готов сразу, без догонялок). Уже с первых же шагов Слепухин удивился, что проиграл, и это удивление помогло ему продержаться подольше, пересиливать себя еще и еще... Вот ведь где проступало всего ощутимее, что с ним (и со всеми) сделала зона: ты мог двигаться, ползать, копошиться — не больше... Кормили тебя только на медленное это копошение — пробежать хоть сто метров ты не мог, и если казалось тебе раньше, что ты бежишь, поспешая по своим делам, то это только казалось — двигался ты смешно и жалко, может, и не быстрее, чем шагом, — разве позабавнее только...

На чудилу, уже и не бежавшего, а уворачивающегося только из лап режимника, Слепухин смотрел с жалостью и презрением, однако, вопреки очевидному, желал ему всей душой удачи. Никакой удачи быть, конечно, не могло — режим-

ник в своих забавах подстраховывался от любых неожиданностей: вот уже из будочки высыпались солдаты, готовые перехватить увертливого дурика, если удастся ему ускользнуть от наступающей пятерни... Готово — трепыхается чудик, теперь уж и совсем зря трепыхается. Однако, не зря: оставил в кулаке режимника телогрейку и без нее закружил дальше, не видя куда... вспрыгнул на помойную тележку, прикорнувшую у столовой, шаг по ней и прыжок на землю, а тележка от толчка тыкнулась под ноги наступавшего, принимая его на грязный свой настил под одобрителный свист всей промзоны... Здесь и иссякли последние силы убегающего, которому уже не отделаться ларьком или свиданкой...

«Пошла, бригада!» — Слепухин занял свое место в пятерке и одновременно с остальными шагнул к воротам — «пошла пятерка».

Еще на пороге столовой стало понятно обрывками гудящих звуков — не обманные слухи сквозили по промке, все так и было... Шнырей ни о чем расспрашивать не пришлось — на подходе к столам отряда они сами выложили: «отшмонали начисто... то, что не одето на себе было — то и унесли... из тумбочек выгребали, не разбирая... следом рапорта рисовали. Считай, на каждого... хранение недозволенного...»

Все прыгало внутри, и долгожданный обед был не в радость, хотя менее других подрубленный известиями Слепухин отметил, что и обед по случаю общего переполоха совсем не такой, как всегда. В супе зачерпывалась настоящая картошка среди очисток, а второе и вообще на удивление: постоянная обеденная перловка была прикрыта радужными разводами какого-то вонючего жира, вряд ли пищевого, но все же...

Бригады быстренько отваливали от столов, уступая место следующим, и крутились на улице у выхода из столовой, ожидая сигнала для возвращения на промку, в бурлящем кипении, не замечая уже и холода даже. Выталкивались с разных сторон худосочные надежды, что, может, хозяин еще и не знает, может, отменит еще и все вернут обратно... Чем невероятней были надежды, тем быстрее они шли в рост, захватывая всех кажущейся разумностью именно такого выхода...

Бугор собрал отдельно всю 26-ю и объявил, что им велено в клуб по вызову прокурора. Новость эта сразу захватила все вокруг, и на 26-ю смотрели как на избавителей, напутствуя кто чем мог...

- Мужики, выдайте там ему...
- Про шмон не забудьте...
- Пусть вернут все...
- Смотрите там, — хмуро кивнул Квадрат.

Клуб, отгородившийся со всех сторон огромными и сейчас вот особенно яркими плакатами, тянулся одноэтажной конюшней в противоположную промке сторону от столовой. Повернули туда, притихли в длинном коридоре, по одну сторону которого — ветхий зрительный зал, по другую — кабинеты опера, замполита, режимника — комнатухи для приема мышей, дальше — библиотека, в которой ровненько и, может, даже приклеенно красовались на парадных полках нарядные книги (исключительно для порядка и удовольствия самим видом — попробуй возьми...). Заканчивался коридор голой комнатой-предбанником перед наглухо заколоченным запасным выходом — туда и определили бригаду.

Дальнейшую процедуру скоренько объяснил молоденький лейтенантик — замполитов приبلудок. По одному их заводят к прокурору, после беседы — сразу на промку, и «чтобы ни одна сволочь не пыталась даже заскакивать обратно сюда для разглашения полученных у прокурора сведений».

— У меня не заскочут, — хмыкнул прапор Тюха, прозванный так за фантастическую проницательность при выгребании у выходящих из столовой их кровных паек.

Здесь бригаду и заперли, оставив Тюху надзирать снаружи за бесперебойностью процесса прокурорского приема.

— Мужики, — решительно объявил Максим, — как хотите себе, но я — последним пойду.

Никто с Максимом не спорил — тут и ежу понятно, что лучше ему последнему: он так может разозлить прокурора, что после него соваться уже просто опасно.

Тюха выволок первого, и закружила бригада по предбаннику, отъединившись друг от друга, пережевывая каждый свое, надеясь всякий на свою удачу. При этом никому не хотелось отстреляться пораньше — потом ведь на промку угонят и еще, может, вкалывать заставят... Бригадники кружили, незаметно, но упорно выталкивая наружу, на край своего клубка тех, кто побезответней... но не особо выталкивали, а как бы случайно... Ведь подними возню тут, всколыхни шумом — сразу же всунется Тюха и наведет по-своему: кого пожелает, того и выхватит — пусть и из самой кучи...

Немного осмелели по мере того, как Тюха заматывался в очумении. Потихонечку и курили по очереди, выпуская дым в щель забитой двери наружу. Потихонечку и бледнели, заостряясь лицами, с трудом выдерживая уже маету ожидания. Оказалось, что здесь вот ничего толкового для будущей беседы продумать и придумать нельзя. Единственное, что придумалось Слепухину, — пробормотать скороговорочно молитву свою, которую он проборматывал в последнее время только вечерами, только перед сном. Укололо воспоминание о вчерашнем вечере, когда, кажется, про молитву он и забыл. Тем более необходимо сейчас, и даже лучше — три раза... или трижды три.

Наконец они остались вдвоем с Максимом, и неприятно было, что Максим ему подмигнул. Неужто и у Слепухина заострилось и побелело лицо? Максим вон — усмехается себе по-прежнему... хотя если приглядеться...

Снова хлопнула дверь, и загремели, приближаясь, Тюхины сапоги — теперь за Слепухиным. Короткий путь до кабинета Слепухин пытался подгадать так, чтобы количество шагов осталось кратным трем и, просеменив последними двумя, подгадал.

— Слепухин. Статья 147 УК РСФСР, часть...

— Присаживайтесь, молодой человек, присаживайтесь.

Через стол от Слепухина расположился вполне симпатичный мужик лет сорока, какого-то чуть пижонистого даже вида. Удивительно, но форменный прокурорский китель несколько не размазывал своим синим цветом пижонистости удобно сидящего внутри человека.

— Ну, как жизнь, гражданин Слепухин?

Нет, правда — вполне приличный мужик и улыбается сочувственно... с пониманием улыбается.

— Да какая же здесь жизнь, гражданин прокурор?!

— Не надо унывать, молодой человек — у вас еще почти вся жизнь впереди.

— Так что здесь творят! Вот сегодня — отшмонали, считай, всю одежду, обувь, книги даже — разве можно так?

— Не надо горячиться... По закону, гражданин Слепухин, каждый осужденный имеет право на установленное законом имущество: одна телогрейка и шапка, одна пара сапог, одна пара тапочек, один х/б костюм, одна х/б спецовка.

Больше всего поразило Слепухина это вот выражение

«х/б костюм» — люди так не говорят, так только специальные роботы могут говорить из кошмаров фантастических... Даже хозяевы псы, мало на людей похожие, не могли бы выговаривать этого... Может, он не живой вовсе?..

— Это же глупо, — загорячился Слепухин. — Одна телогрейка, значит, она грязная... вот, как у меня — смотрите. А в бараке телогрейкой еще и укрыться надо — грязь ведь будет... свинарник...

— Укрываться надо специально выданным одеялом.

— Холодно же! зверски холодно!

— Надо утеплять жилище, гражданин Слепухин. Руки у вас есть — кто же за вас это сделает? В стране идет всенародная экономия энергоресурсов, а вы тут разбазариваете тепло...

— Ну, а книги — они же в ларьке куплены...

— По закону вы имеете право хранить не более пяти книг, включая журналы...

— Но ведь куплены в ларьке — на свои деньги...

— Лишнее вы можете сдать в библиотеку — всем польза будет. Закон, гражданин Слепухин, обязателен для всех, поймите это и не пытайтесь обмануть закон — вы уже пробовали один раз и оказались здесь... и здесь пытаетесь, а это может очень плохо кончиться.

— Где я пытаюсь? Где?

— Вот возьмем, например, вашу работу. Закон для вас — выполнение производственных заданий. Вас сюда направили для искупления своей вины перед государством... для трудового искупления, и поэтому главная ваша обязанность перед законом...

— Да их же нельзя выполнить! Нас по две смены пахать заставляют, чтобы сделать невозможное!

— Все нормы справедливо обоснованы технической и технологической документацией. И потом, кто вас заставлял работать две смены?

— Как это — кто?

— Вот видите — никто вас не заставлял... Вам разъяснили, что, несмотря на ваше, например, лично злостное невыполнение заданий, администрация исключительно в ваших интересах согласна не применять наказаний, если вы в нерабочее время добровольно дадите стране недоданную вами продукцию. Так?

— Ну, не разъяснили, а кричали и угрожали.

— Дело не в интонациях, а в фактах. Так стоял вопрос или иначе?.. Вот вы и молчите... и сказать вам нечего... Поймите, наконец, что, не выполняя норму на производстве, вы совершаете очередное преступное действие по отношению к своей стране и своему народу. Наше государство проявляет исключительную заботу даже о таких, как вы. Несмотря на то, что вы совершили тяжкое преступление — вы продолжаете оставаться гражданином нашей страны, вас не лишили заботы, которую проявляет государство о своих гражданах, хотя в любом другом обществе...

Слепухин не слушал, он увидел вокруг себя те же непробиваемые стены, что и всегда. Он пытался докричаться своей правдой до этого синего пса, но тот выставил бетонной стеной другую правду, слепухинская — жалкая и худосочная, смешно даже, как прыгает на эту стену, бьется об нее своим хилым тельцем — и никакого толку... Может, и нету никакой слепухинской правды? Может, только и правда, что перед ним — железобетонная? несокрушимая в уверенности своей? и своей силой?.. Измотанный гладкими и совершенно не запоминающимися словами, против которых и возразить-то нечего, Слепухин только моргал да сглатывал, выискивая щелочку, чтобы просунуть туда свое несогласие, но щелочки не было. Прокурорская стена вздымалась ровно и мощно.

— ...особенно важное значение приобретает сейчас, когда партия преодолевает последние искажения ленинизма. В то время, когда в жизнь страны вернулись ленинские нормы демократии, мы все с особой ответственностью должны относиться к перевоспитанию преступников... Мы не можем позволить себе заразить очищенное общество преступными элементами. Мы будем безжалостно отсекаать не желающих стать на путь перевоспитания и исправления. Им не место в светлой жизни страны, преодолевшей застойные явления и неуклонно развивающей экономику, демократию и идейную сознательность...

Совсем изнемог Слепухин в карусельной правильности ничего не говорящих слов, изнемог и осел на стуле, готовый согласиться со всем и готовый взречься, протестуя по любому поводу.

— ... что же вы молчите? Я к вам обращаюсь, гражданин Слепухин.

— Простите... задумался.

— Вот это хорошо. Вам надо очень серьезно задуматься... Ответьте мне, в чем же у вас могут быть претензии к администрации, которая защищает интересы государства и, значит, ваши интересы, хотя вы этого еще и не осознали? В чем?

А и действительно — какие у него претензии? Заставили пахать в две смены? — так могли сразу врезаться в морду буром. Отшмонали что-то там? — так этот питух говорит, что законно все... Какие претензии?

— Вот отрядник у нас в Фонд мира собирал — так выколывал силой.

— Опять вы не понимаете: вам оказывают огромное доверие тем, что не отталкивают вас от общественной жизни. Вы гордиться должны, что своими вкладами способствуете...

— А еще вот — один хотел в Фонд милосердия сдать, верующий он, так отрядник ему в зубы, чтобы не высовывался куда не просят...

— По закону, гражданин Слепухин, осужденный имеет право на перевод денег со своего лицевого счета только близким родственникам...

— Так не разрешают тоже, если хоть одно нарушение...

— А каково родственникам сознавать, что они живут на деньги нарушителя? то есть несправившегося преступника? — об этом вы не подумали? И прекратите эти свои штучки — «у одного!»... «у другого!»... По закону вы имеете право говорить только о себе. Я повторно вас спрашиваю — какие у вас могут быть претензии к администрации?.. Молчите? Значит, не может быть претензий?.. Вот и хорошо — вот вам лист бумаги и напишите.

— Что написать?

— Правду и напишите, что претензий у вас нет.

Слепухин взял лист.

— Вот вам карандаш.

— А ручки нет?.. или шарикового?

— Нет.

— А кому писать?

— Пишите на имя начальника учреждения.

Слепухин сопел, скорчившись над столом, сломал карандаш, вырисовывая шапку этой бумаги... Прокурор дал ему другой из стаканчика. Слепухин написал слово «Заявление»,

прокурор попросил исправить, и Слепухин послушно приписал ниже «Объяснительная», потом написала строка: «претензий к администрации не имею», и Слепухин задумался...

— Ну, что вы тянете? Давайте! Дату и роспись!

— Могу я подумать? — Слепухин начал заводиться и по тому, как лицо напротив разгладилось радушно, понял, что прокурор тоже углядел его вскипание. — Так могу или нет? Имею хоть на это право?!

— Имеете, имеете, — успокоил прокурор. — Просто поздно уже, и я, честное слово, устал.

— Я — больше устал, — буркнул Слепухин.

— Понимаю, вполне понимаю, — перед Слепухиным на минуту появился прежний пижонистый мужик. — Идемте сюда.

Прокурор завел Слепухина в смежную комнату и предложил присесть за столик в углу.

— Здесь вам будет удобно думать.

Прокурор вышел, закрыв тонкую дверь, а Слепухин все не мог заставить себя расписаться на листочке, все казалось, что надо еще добавить что-то... (Хорошо хоть про Павлуху базар не зашел... хоть Квадратово условие выполнено.)

— Вызывали?

Слепухин узнал голос Максима.

— Фамилия?

— Долотов, 191-я...

— Присаживайтесь, гражданин Долотов.

Зашелестели бумаги, и Слепухин, оставив свою писанину, вытянулся слухом туда, к столу, где устроился прокурор.

— У нас к вам, гражданин Долотов, весьма серьезные претензии... серье-езные, и мне вот заодно поручили побеседовать с вами. Видите, сколько скопилось у нас всего? Это ваши кляузы, которые вы рассылали по инстанциям...

— Я рассылал заявления, а не кляузы...

— А я вам говорю — это кляузы. Все они спущены к нам с указанием разобраться на месте, и после обстоятельного расследования мы пришли к единодушному мнению: все это кляузы, и ни одно ваше обвинение не подтвердилось. Более того — это клевета, а если вам интересно знать — за клевету предусмотрено наказание. Как вообще вы решились отвлекать нас от нашей работы на копание с вашими кляузными бумажками?? Или вы думаете — у нас других дел нет??

— А разве у вас есть другое дело, кроме соблюдения законности? Мои заявления уведомляют о нарушениях...

— Ваши заявления — все сплошь клевета, и, кроме того, сами эти писульки ваши — злостное нарушение установленных законом правил... Все они отправлены нелегально и тем самым являются попыткой установить недозволённые контакты... Мы обязаны решительно пресекать всякие нарушения законов и законных требований...

— Я вынужден был на нарушение правил действиями администрации лагеря...

— Какого лагеря?

— Как это какого? Этого.

— У нас в стране нет никаких лагерей... Вы сами разоблачаете себя и свои злобные вылазки, оскорбляя работников учреждения...

— Какая разница? Пусть — учреждение... Главное — откуда не отправляют заявления, сколько их в ящик не бросай. Вот и приходится решаться на нарушение. Но нарушение это вынужденно и поэтому...

— Никаких «поэтому»... Закон для всех един, и каждый несет наказание за свои нарушения. Если бы ваши обвинения против администрации подтвердились — администрация была бы наказана за несоблюдение правил пересылки жалоб, а вы — за нарушение правил подачи жалоб... Но проверка установила, что обвинения эти по сути своей — клевета. Вы ведь каждую клязу начинаете обвинением, что ваши заявления не отсылаются администрацией... Нам пришлось именно с этого и начать свое расследование... Действия администрации соответствуют закону, и, стало быть, нарушение только у вас, значит, и наказания должны быть только вы...

— Интересно, как это вы установили, что все жалобы отсылаются по назначению?

— Я мог бы не отвечать вам, гражданин Долотов. Здесь вопросы задаю я, а не вы. Но я вам отвечу. Вот видите: целая папка бумаг. Это по вашей милости работники учреждения давали объяснения по каждому пункту каждой вашей кляузы. Потом работники прокуратуры выверяли все это по документации учреждения... Вы понимаете, сколько человеко-часов вы съели?

— Ну и что таким престранным методом можно выяснить?

— Напрасно вы иронизируете тут!.. Может, вы не знаете, так я вам поясню: все жалобы проходят регистрацию, и легко проверить после этого, отправлены они по назначению или нет.

— А если их не зарегистрировали?

— Как это? Поясню вторично: по установленному правилу все жалобы регистрируются.

— Вот я и сообщаю вам о нарушении установленных правил — жалобы не регистрируют.

— Сначала вы, значит, клеветали, что жалобы не отсылают, то есть что нарушают правила пересылки жалоб, теперь вы пытаетесь клеветать, что жалобы не регистрируют...

— Но это же — один черт: если не регистрируют, то и не отсылают.

— Никто никогда не поверит вам, что работники учреждения сознательно идут на нарушение одного правила за другим... Ну, сами подумайте: порядок такой — регистрируют, потом знакомятся, потом отправляют вместе с необходимыми документами. Так установлено законом.

— Я только о том и говорю — нарушается закон...

— С вами невозможно разговаривать... Ну скажите — почему не регистрируются жалобы?

— Читают и видят, что вскрываются беззакония лагеря.

— Учреждения.

— ...учреждения, черт возьми... видя это, не регистрируют...

— Ну вот вы и запутались: я же пояснил вам, что сначала регистрируют, а потом — читают, а вы говорите: читают и не регистрируют... Поняли свою ошибку?

— Да кто же им помешает сначала прочитать? ведь ящик этот местный опер самолично по утрам выгребают — кто помешает ему!

— Во-первых, я категорически предупреждаю вас, что за употребление жаргона, оскорбляющего достоинство работников учреждения, вы можете быть подвергнуты серьезному взысканию, а во-вторых, по существу заданного вами вопроса ответчу: жалобы, адресованные в прокурорские инстанции, могут быть запечатаны, в отличие от остальных. Так что вы могли писать нам и сами заклеивать конверт.

— Писал и заклеивал. Все равно — как в воду...

— Вот вы и сами себе противоречите: никто же не мог в этом случае прочесть вашу жалобу перед тем, как зарегистрировать.

— Почему не мог?

— Поясняю: по существующим правилам жалобы, адресованные в прокуратуру, пересылаются в запечатанном виде и незамедлительно. Ни один работник никогда не решится нарушить это правило, так как последнее грозит серьезным замечанием...

— Да как же может обнаружиться «последнее» это?

— Все жалобы, в том числе и в прокуратуру, регистрируются в установленном порядке...

— Все! Приплыл!...

— Сядьте, гражданин... мг-гм, вот: гражданин Долотов, и не паясничайте. Мне поручено дать вам обстоятельный ответ по всем пунктам ваших так называемых заявлений... чтобы никогда впредь... вы понимаете меня? Никогда!

— Что никогда?

— Никогда впредь! Вы понимаете?

— Что? Что — понимаете? Впредь — что?

— Я думал — вы умнее, гражданин Долотов. Я надеялся — мы найдем общий язык.

— Я тоже надеялся найти общий язык. Давайте уже кончать с этим... Что там у вас ко мне еще?

— Ну что ж... Вот вы возводите напраслину на всех скопом работников учреждения в том, что они якобы избивают осужденных...

— Не напраслина... будьте покойны — бьют и будь здоров как...

— Кто? Когда? Кого? При каких обстоятельствах?

— Легче бы указать, кто не бьет и кого не били...

— Вам известно, что категорически запрещается осужденным подавать жалобы за других лиц? Категорически! Это — еще одно грубое нарушение установленных правил, и даже если вам это правило почему-то неизвестно — это не снимает с вас ответственности...

— Что же вы спрашиваете — кого?!

— Вас били?

— Прикладывались и ко мне.

— Кто?

— Например, отрядник мой — лейтенант Клевицкий Борис Борисович.

— Чем можете доказать? Где следы побоев? Где медицинский документ о снятии побоев?

— Интересно вы все это представляете... Кто же справку-то даст?..

— Вы же взрослый человек, гражданин Долотов, а рассуждаете, значит, как ребенок... Так ведь можно бездоказательную напраслину на любого возвести...

— Когда меня судили за противодействие милиции, мне встали заодно и избивание сержанта, так сержанту тому поверили без справки и без следов, хоть и был он вдвое здоровей...

— Если вы не согласны с решением суда, гуманное советское право позволяет вам обратиться с соответствующей жалобой.

— Это хорошо.

— Вы опять паясничаете? Мы, собственно, по вашему делу беседуем — извольте вести себя соответственно...

— Надоела бодяга эта. Кончайте скорей...

— Нам ваша, как вы выразились, бодяга тоже давно надоела... Лучше прекратите ваньку валять и отвечайте по существу: вы отказываетесь от своих наветов?

— Ни в едином пункте... Беседа с вами абсолютно ничего не прояснила.

— Тогда я вынужден продолжить по остальным пунктам. Вы указываете, что работники учреждения постоянно унижают человеческое достоинство осужденных, и ссылаетесь на какую-то там конвенцию... Вы продолжаете упорствовать в этом?

— В конвенции? Есть такая конвенция, и с большим воодушевлением подписана руководством партии, и...

— Конвенция не по нашему профилю. Вы продолжаете утверждать, что ваше достоинство унижают?

— Не только мое...

— Напоминаю, говорите за себя.

— Постоянно.

— Каким образом?

— Всеми мыслимыми.

— Вас оскорбляют нецензурно?

— Это, по-вашему, единственный образ?

— А как можно еще унижить?

— Вот, например, здесь всех называют мразями...

— Говорите за себя.

— Меня постоянно называют мразью...

— Кто?

- Все.
- Конкретно?
- Начнем с хозяина... Начальник здешний...
- Ну, это он не всерьез... Это у него такое, знаете, бывает... слово-паразит... Смешно даже обижаться...
- А я и не обижаюсь...
- Зачем же вы жалуетесь?
- Здесь унижают человеческое достоинство людей...
- Ваше?
- И мое тоже.
- Вас оскорбляют нецензурно?
- Ну... вы — скала...
- Оскорбляют или нет?
- Да на каждом шагу...
- Кто?
- Любой прапор... Поговорите с ними — они кроме как нецензурно вообще не разговаривают...
- Вот видите... Вы же грамотный человек — должны понимать... ну, какое у них развитие? Что с них спрашивать? Все это — честно вам скажу — наша главная беда: мало идет к нам работать грамотных и сознательных ребят. Так что к этому временному явлению нам с вами надо подходить с пониманием и быть снисходительными...
- Почему же за наши нарушения с нас — полной мерой?.. Почему к их нарушениям надо снисходительно, а зеку...
- Осужденному.
- ...а зеку! наказание — и весьма чувствительное?
- Потому что осужденные своими нарушениями не только замахиваются на закон, но и развращающе воздействуют на младший воспитательный состав — отсюда и бескультурье, и низкая сознательность, на которую вы жалуетесь.
- Ну, ладно... надоело... Что у вас с этим?
- С чем?
- Что вы расследовали по этому пункту?
- Наконец вы включились в беседу... Вот смотрите: целая стопка объяснительных, и большая часть из них — от осужденных... Ни осужденные, ни работники учреждения никаких унижений не подтверждают... Эй! руки!
- Вы же сами сказали — смотрите...
- Я имел в виду — смотрите, как много.

- А-а... Я бы на вашем месте и больше собрал.
- Тем самым вы признаете свою неправоту.
- Чем?
- Тем, что собрали вы больше...
- Ничего я не признаю...
- Ваше признание меня не интересует... Главное — вы подтвердили факт, а факт...
- Ну, вы меня достали... кончайте быстрее.
- Так вы отказываетесь от поклепов?
- Гоните дальше — ни от чего я не отказываюсь.
- Хочу вас предупредить, что ваше поведение на этой беседе вынудит меня в конце концов составить рапорт начальнику колонии для наложения взыскания.
- Козе понятно.
- Что? Опять жаргон?
- Это не жаргон, а поговорка... народная мудрость... короче — понятно все.
- Тогда продолжим... Самая возмутительная ваша ложь — в утверждениях о якобы имевшем место принуждении работать по две смены подряд.
- Это — не якобы... Это имело место, и если вы не вмешаетесь, уверен, будет иметь место — и в две смены, и в выходные, и когда начальству захочется...
- Да понимаете ли вы, что подтвердись только этот факт — на следующий день начальник учреждения был бы отстранен...
- Всего-то?
- Этого мало?
- Судить надо...
- Я не перестаю удивляться вашей озлобленности. Наши гуманные законы...
- Ладно, отстраняйте.
- Кого?
- Начальника. Вы же сами сказали...
- Но я для того именно сказал, чтобы на наглядном примере показать вам, что начальник никогда не решится на такое...
- Наш отряд и, в частности, 26-я бригада целую неделю работали в две смены. За отказ от каторжной работы в две смены шесть человек попало в ШИЗО, двое из них переведены в БУР...

— В ПКТ.

— Вот вы сами, оказывается, в курсе... именно — в ПКТ. Один, а именно Семенов Павел, в ШИЗО был доведен издевательствами до самоубийства...

— Семенов осуществил суицидальную попытку...

— Попытку только?

— ...успешно осуществил суицидальную попытку в приступе шизофрении. Здесь у меня заключение экспертизы. Игнатьев и Кротов переведены в ПКТ за злостное уклонение от выполнения производственного задания и с правильностью наказания согласны — тут вот их объяснительные... Еще трое были водворены в ШИЗО за разные нарушения режима содержания и с наказанием тоже согласны, более того: никаких претензий к администрации не имеют — объяснительные их здесь же... Поймите же, наконец, гражданин Долотов, по этому пункту я сам сегодня проводил расследование и опросил всю 26-ю бригаду поголовно, отряд — выборочно и других осужденных — по их просьбе. Здесь вот у меня все объяснительные, и никто — понимаете, ник-то — не подтверждает ваши измышления... Сознательные люди исключительно добровольно работали сверхурочно по 2 часа...

— Все, значит, добровольно?

— Все.

— Да... И все же — правда то, что я говорю, а не то, что ими в испуге у вас там написано.

— Вы, значит, один — в ногу?

— Значит, один.

— Ну, тогда и говорить не о чем.

— Я давно предлагал закончить.

— Хорошо, представим только на минуту, что вы правы...

Почему вас не водворили в ШИЗО?

— А я вышел работать в две смены.

— Добровольно вышли на сверхурочную работу для выполнения задания?... Ну вот и хорошо.

— Не на сверхурочную, а полностью на вторую смену, и не добровольно, а по принуждению...

— Почему же вы не отказались?

— Вас хотел дожидаться.

— Чтобы рассказывать мне сказки...

— Чтобы добиться от вас установления законности.

— Я не имею права верить одному вам и не верить всем остальным.

— Права вы действительно не имеете...

— Вот и здесь вы согласились... Ну а последний пункт ваших кляуз — это утверждение о незаконных водворениях в ШИЗО... Мною лично проверены все постановления на осужденных вашего отряда, все законно. В частности, все ваши водворения, а их у вас чересчур много, очень даже много, и пора сделать выводы из этого... все — в соответствии с законом. Вот возьмите последнее... вот — «за злостную поломку оборудования»... Я считаю, что вы счастливо отделались. Это ведь вредительство, это уже преступление, и в Уголовном кодексе...

— Штмп сам сломался.

— Не смешите людей, Долотов. Этот штмп столько лет работает, а у вас — сломался вдруг.

— Вот именно — столько лет... Знаете, в технике есть такое понятие — «усталость металла», даже металла... а тут — механизм все же.

— Ну, уморили, честное слово... Это же надо придумать — устал металл!.. Нет, Долотов, с вами не соскучишься... У меня — все. А вам я советую сделать правильные выводы — у вас еще есть время.

— Я могу идти?

— Распишитесь только и идите.

— Зачем это?

— Распишитесь, что вам даны разъяснения по поводу всех ваших заявлений.

— Меня не устраивают ваши разъяснения.

— Это неважно. Вы расписываетесь не в том, что вас устраивает, а в том, что — даны.

— Не буду я ничего подписывать.

— Тогда я вынужден буду вызвать двух работников учреждения, чтобы они подписали, и составить рапорт...

— А что они подпишут?

— Что вы отказались от подписи.

— От подписи в чем?

— Вам не удастся вывести меня из равновесия и спровоцировать необходимый вам скандал... От подписи в том, что вам даны разъяснения.

- А откуда они будут знать, что мне даны разъяснения?
- А зачем им знать?
- Так они же подписываются, что я отказался от подписи в том, что мне даны разъяснения.
- Они подписывают не то, что вам даны разъяснения, а то, что вы отказались от подписи в том, что вам даны разъяснения.
- Вот теперь ясно. Тем самым вы согласны, что их подписи кто-то может расценить как ваше уклонение от дачи мне разъяснений?
- Как это?
- А вы, может, со мной и не беседовали? Вы, может, сразу вызвали двоих работников, и они подписали, что я отказался от подписи в якобы данных мне разъяснениях. Ведь кто-то может так подумать? Особенно если не знает вашей лично добросовестности?
- Чего вы хотите?
- Чтобы все было законно: два работника должны выслушать, что мне даны разъяснения, а потом только подписать, что я отказался от подписи в том, что мне даны разъяснения.
- Не будем формалистами.
- Это вы мне говорите? Ну а если приедет еще кто-то расследовать по другим моим заявлениям и этот кто-то окажется в данном вопросе большим формалистом?..
- Не волнуйтесь. Все ваши заявления ко мне придут, но, я надеюсь, мы это ваше творчество прекратим.
- А вдруг вас уже... того?
- Меня?
- Я, когда шел сюда, видел, как зеки машину, считай, наново собирают... Не ваша машина у ворот? Темно-синий «жигуль»?..
- Никто ничего не собирает... Помыли машину только — я и сам мог.
- И новый двигатель... и четыре колеса нулевых...
- Вы мне угрожаете?
- Я обращаю ваше внимание, что руководство, преследуя свои цели, заставляет осужденных делать капитальный ремонт вашей машины...
- Нет, вы мне угрожаете — вам это даром не пройдет.
- Вы мне угрожаете?

— Я не угрожаю вам, а ставлю в известность, что ваши действия...

— Нет, вы мне угрожаете, что несовместимо с вашим положе...

— Нет, я не угрожаю, а ставлю вас в известность...

— Очень приятно с вами беседовать, честное слово... Разрешите вопрос?

— Хотя мне с вами беседовать и неприятно, все-таки разрешаю. Спрашивайте.

— Советник юстиции по табели о рангах — это выше, к примеру, капитана первого ранга или не выше?

— А зачем вам?

— А это что — военная тайна?

— Нет, ну зачем вам?

— Да просто интересно — сможет капитан поставить вас «смирно» или не сможет?

— Какой капитан?

— Капитан первого ранга.

— Кто этот капитан? На кого вы намекаете?..

Слепухин услышал тяжелые шаги по коридору, властный толчок в дверь и сразу же неожиданно добродушный хозяйский говорок, оборвавший облегченно-радостное мгыканье прокурора.

— Беседуете, значит?.. Так-так... А ты что это — не встаешь? Опять нарушаешь, Долотов?.. Вот — давно бы так... Ну — как беседа?..

— Упорствует он, Васильевич... злостно упорствует. Думаю — пора принимать меры. Нарушений у него предостаточно, и есть все основания в возбуждении дела по 188-й за злостное противодействие администрации...

— Слышишь, что прокурор говорит?.. Что думаешь, Долотов?..

— Думаю — правильно говорит. Иначе мне про вас всех и не докричаться никуда... А там — следствие... там — мои родные уже с адвокатами договорились — я их успел предупредить... Так что правильно говорит прокурор. Надеюсь, на суде мы встретимся и, может быть, даже местами поменяемся.

— Вот чешет, вот чешет... Видал, прокурор, какие у меня орлы? Эх, Долотов, Долотов... здоровый уже лоб, а послушаешь тебя — тьфу и растереть... У тебя вон был уже суд, и что?..

— Время изменилось чуток, гражданин начальник, и у меня теперь опыт какой-никакой, а знаний про делишки ваши — на несколько томов... Знаете, кто у меня адвокат будет? Тот самый, что в «Литературке» уже начал пощипывать ваше ведомство. И не за прошлое — это все щипают наперегонки... за сегодняшнее... Ему мое дело — подарок просто...

— Ну брешешь же?.. Сам знаешь, что брешешь, а — брешешь... Жалко мне тебя, Долотов, сам себя в яму толкаешь... Умный ведь парень... И брось ты эти свои намеки — «ведомство», «щипают»... Вот ведь, прокурор, что бывает, когда разные безответственные писаки начинают смущать неокрепшие умы... Ты пойми, Долотов, вся эта писачья возня — временный шум, необходимое партии в сложный момент тактическое отступление... А по поводу прошлого я тебе скажу надежнее всех этих писак — я ведь работал тогда уже в органах... Я начинал свою службу в МГБ...

— У Берии?

— Какой Берия? Замусорили тебе мозги — смотреть прямо жалко. Всеми нами непосредственно руководил товарищ Сталин.

— Тоже хорош.

— Ты своим поганым языком Сталина не трожь!.. Я тебе прощаю, потому что ты с чужого голоса поешь, но поверь мне... вот, положи руку на сердце...

— Сердце выше.

— Не перебивай, мразь!.. Стряхни наконец с себя все эти вражеские происки и стань советским человеком... Вот так, а то расставил костыли — никакой выправки... Так вот, за все годы моей работы в МГБ я не видел ни одного — клянусь — ни одного нарушения. Веришь мне?

— Охотно...

— Ну вот... С тобой, оказывается можно договориться... Знаешь, наверное, и моя вина есть — упустил я тебя... Но ты же мог ко мне сам... на прием... И не надо было всей этой писанины... зачем тебе за кого-то там?.. Прокурор, как этого куренка звали?..

— Семенов.

— Вот... зачем тебе за какого-то Семенова себя и нас изводить?.. Он получил что хотел... Если бы выжил — мы бы его судили со всей строгостью. За членовредительство. Ты

же посмотри, за кого ты заступаешься — все же насквозь прожженные мрази, преступники. Гниль, одним словом. Ты представь, что будет, выпусти их скопом на людей. Это же звери... Их далеко от колонии отпускать незачем — почти все назад придут... И ты — грамотный и культурный парень — глотку рвешь за это зверье. Представь, как они в твой дом нагрянут... Жену твою как они? Представил? То-то же...

— Если даже добродушнейшую дворнягу посадить на цепь и измываться — волком станет.

— Так ты думаешь — мы их волками сделали?.. Вот как у тебя мозги набекрень перекручены. Все — наоборот. Мы очищаем от этих волков здоровое тело... гниль очищаем, а ты не понимаешь... Вот возьми, к примеру, война: они все в мародеры и дезертиры пойдут, а нам с тобой Родину защищать... Ты чего ухмыляешься?!

— А мне рассказывал один тут... как вы дословно почти убеждали его, случись война — вам с ним в одном окопе, а Долотов в полицаи подастся...

— И подашься, если не станешь насквозь нашим человеком. Я же чувю — нутро у тебя наше, советское, только вокруг — гнили много... Так ты соскребай, соскребай — а мы поможем... И кончай писанину свою, кончай, значит, связи недозволенные устанавливать... Ты много еще наотправлял жалоб своих?

— Много.

— Куда?

— Да куда только не посылал... И копии все — адвокату своему, в его архив... он сам просил. Вот вчера только отослал ему предсмертную записку Семенова из ШИЗО...

— Опять врешь... Ну ведь врешь — по глазам вижу.

— Так вы и раньше не верили... все — как это у вас? — все «крылья обламывали», а что заявки посылаю — не верили. Вот сегодня и прокурор с ответами пришел... Убедились?

— Ну и что тебе ответы те?

— А ничего... Я так скоро и не рассчитывал. Сегодня прокурор с ваших коллег объяснения брал, а завтра — сам давать будет, и все о том, как он здесь объяснительные писать диктовал.

— Слышишь, прокурор? Не страшно?.. Гляди, Долотов, — не страшно ему... Ты лучше сообщи, чего тебе лично надо?..

— Чтоб по закону все было... чтоб...

— Все по закону! Все исключительно по закону!

— Не мешай, прокурор, пусть говорит.

— По закону и по справедливости...

— Вот видишь, Долотов, — мы одинаково хотим. А преступники, за которых ты надрываешься, совсем другого хотят. Им никогда не работать — вот как прогнали они... им бы только чифиря вволю — и балдеть... паразитами жить. Ты спроси у них — хотят они по закону? Не хотят! Понял, наконец? Мы с тобой должны быть заодно, потому что мы всосали с молоком: паразиты никогда! Так ты и помогай нам, помогай... А ты воровские правила в отряде насаждаешь — нам все известно... Вот как тебя перекосило... Но не поздно еще — помогай нам избавляться от воровских обычаев... Мы все равно пригнем эту нечисть, и тебе решать, с кем ты, гражданин Долотов?..

— Помогать вам сооружать «красную зону»?

— Именно так — красную! И ничего в этом названии плохого нет... Это цвет нашего знамени...

— Так на красных зонах еще хуже...

— Мразям — хуже, не развернуться... а советскому человеку — лучше.

— Если бы надо всеми: над зеками и над подчиненными вашими, и над вами — надо всеми одинаково — были закон и справедливость — тогда, может, и лучше... Но вместо этого на зонах таких только ваше понимание закона и только по вашему образцу справедливость, и это — хуже некуда.

— Ишь, расфилософствовался тут... Мой закон — это и есть советский закон... У меня другого закона нет...

— Помните, было как-то в шестидесятых: милиции выдали дубинки и разрешили пользоваться ими в соответствии с законом? Они тогда так лихо показали свое понимание закона и справедливости, что пришлось срочно отменять дубинки те...

— Опять брешешь... Отменили потому, что пропала надобность, умилили хулиганье...

— То-то сейчас каждый второй здесь по 206-й сидит...

— Нет, ты все-таки мразь — все по-своему выгнуть пытаешься. Мы ему одно, а он — опять по-своему...

— Так гласность же, гражданин начальник...

— И гласность ты навыверт извернуть пытаешься для своей выгоды... Понимаешь, прокурор, куда он метит? чем прикрывается?

— Я-то понимаю, а гражданин Долотов никак понять не может.

— Так объясни ему, объясни.

— В нашей стране, гражданин Долотов, права нерасторжимо связаны с обязанностями, с высокой ответственностью. Если партия дала право свободно говорить, то это совсем не значит, что кому-то позволят говорить не то, что нужно. Это значит, что каждый должен сознавать ответственность за свои слова...

— Ты понял, Долотов?.. Дошло до тебя? А то ведь что получается: им разрешили самим думать даже, а они думают не так, как мы?..

— Вам бы в ту же «Литературку» писать, на 16-ю поло-су, — озолотились бы...

— Ах ты, мразь вонючая! В петушиной блевотине больше понятия, чем в твоём пердильном котелке!.. Мы, значит, два заслуженных человека, с ним — по-дружески, а он, паук смердячий, все уколоть норовит.

— Это у вас — по-дружески? Самим развалиться, выставить навтыжку и тыкать — то просто, то захлеб?

— Стыдитесь, гражданин Долотов, — вам полковник в отцы годится...

— Ну уж нет... в отцы он мне — не годится.

— Ма-алчать, мразь!!!

— Не напрягайся — соплей захлебнешься, отец хренов!.. Да я бы тебя и петухом своим не взял, долбить побрезгал бы... но отдолбят... отдолбят...

... Авввва-авввааагззза-ауууббль-яаааа-зи-ааабль-яяааа...

Ужавшийся Слепухин, как ни отгораживался, долго еще слышал не складывающиеся в слова звуки, возню и шумное дыхание, затухающую спираль вертлявого топотания по коридору со все возрастающим по мере удаления количеством ног и голосов...

На столике жалко съежился углами тот же листок с прежним текстом: никак не мог Слепухин текст тот подписать, все внутри вздыбливалось иголками, и лихорадочно искал исхлестанный услышанным слепухинский ум приемлемого выхода.

Слепухин замазал строку на листке, будто вымарал ее заодно из своей памяти, и написал наново: «В настоящее время

претензий к администрации не имею»; его особенно обрадовало это вот умненько вставленное «в настоящее время» — любой догадается, что это значит, и действительно: именно сейчас, 31 января (Слепухин поставил число), никаких претензий у него нет, что совсем не значит, будто их не было вчера или не будет завтра... Обнаглев от собственной ловкой изворотливости, помогшей ему с таким вот прозрачным намеком вывернуть требуемое начальству совсем в другую сторону... осмелев при этом, Слепухин уже ниже даты быстро написал: «А нормы питания надо заново пересмотреть и баню надо — совсем мыться негде». Не перечитывая вторично, чтобы не утонуть среди соображений — как все же лучше написать? надо ли так или умнее без этого? — Слепухин быстро расчеркнул свой красивый автограф и сложил лист вдвое...

— А-а, это ты здесь? — в открытой двери стоял прокурор и морщился, морщился, не переставая. — Я про тебя что-то совсем забыл... Ну ладно — написал? Давай.

Слепухин переминался, готовый сорваться с места по первому же взмору прокурора и исчезнуть отсюда, а прокурор все выше вздымал брови, читая объяснительную.

Увидев эти ползущие по лбу брови, Слепухин ухнул в яму... Теперь все, теперь закроют, сволочи... Но тут же всколыхнулись, суматошно крутятся, сожаления вперемешку с надеждами, не давая успокоиться хотя бы на осознании, что все уже неважно, что все — в подвал теперь... Эх, надо было, если так, врезать им похлеще... Но, может, и обойдется еще... может, и ничего еще по сравнению с тем, что Максим намел тут?..

Прокурор укладывал бумажки и напяливал шинель, закончив, по-видимому, свою работу совсем, а Слепухин все маялся, все перекручивался, пытаясь угадать свою судьбу... Так он и кипел, пока шел впереди прокурора в дежурную часть, ничего почти не замечая вокруг, отхватывая от окружающего случайные огрызочки да и отбрасывая даже их напрочь, если никак не касались они его колготения.

Успел махнуть рукой Славику, выбегавшему вдогонку остальным из столовой (значит, сразу же узнает Квадрат и подогреет его на киче... а может, еще и в отряд отпустят? Лишат ларька — отпустят? Нет, ларька уже лишен... Тогда свидания или посылки... черт, тоже ведь лишен уже... Тогда — просто посмеются и отпустят...). Конечно же, Слепухин определил,

что стемнело давно и съем прошел без него, и вот даже ужин прошел, но только и осознал, остался без ужина и если теперь еще на кичу — совсем худо... Но не может быть, чтобы так вот подряд на него повалила вдруг непруха... И упущенный ужин представлялся уже залогом того, что дальше все наладится...

Исхитриться бы сигареты распотрошить незаметно... только все равно вытряхнут... если бы табачок в торпеду заделать... нет, не выйдет — караулят, волки, и глаз уже не спустят...

Таким вдрызг раздерганным в кипении предположений и опасений он и был доставлен прокурором в дежурную часть и остался там стоять, пока все вокруг занимались своей суетой и своими заботами.

Вошел отрядник, и этот уже точно по его душу... это он только вид делает, что занят чем-то, а сам-то глазом косит, психа... Придется перетерпеть его кретинские речи, главное — не хмыкнуть ненароком... Что же долго так! быстрее бы!... а может, и лучше, что долго... хозяин уйдет, а без него кто же постановление подпишет на кичу?.. Ерунда — посадят по временному до понедельника, а утречком — к хозяину, он в таких делах никогда не отказывает, подпишет не глядя... а временную постановуху ДПНК подмахнет — и всех делов... Зачем надо было приписывать про столовую и про баню?.. Тогда лучше бы — выговорить им сразу все, что на душе...

В дежурке стало тихо, и Слепухин собрался сразу же в тугой узел, но тишина, оказывается, никакого к нему отношения не имела — ДПНК передавал по радиации гору цифр и из-за плохой связи то и дело начинал переходить на имена, передавая цифры... Невольно Слепухин усмехнулся идиотской игре в секретность: именами передавать сводку за прошедший день... любой придурок знает, что имена эти обозначают, но вот ведь — играют в свои игрушки... Слепухин мимолетно сожалел, что не расслышал, сколько на сегодняшний день сидит в ШИЗО, и тут же забыл, отфутболился от сводки этой, осознав, что уже ведь пересменка прошла, уже и осталось вот столько же потерпеть и — отбой... если не вспомнят до отбоя, точно отпустят...

Дежурка снова опустела — только Боря-отрядный пыхтел за столом... Вот сейчас бы начал Боря с ним разбираться — все бы и уладилось без свидетелей, заговорил бы его. Это он мне — «бледво»? Ну, метла поганая... впрочем, сейчас лучше не залупаться. «Я не бледво», — буркнул Слепухин. Заявился

режимник и приволок петуха какого-то... От этого лучше по-
дальше — с режимником только свяжись — моргнуть не успе-
ешь, как в подвале, даже если и просто случайно столкнулся
нос к носу, а тут, уже приведенный в дежурку... тут ловить не-
чего, если упрется в тебя, если не загорится чем-нибудь поин-
тересней... Что-то долго они с петухом разбираются... Эх, пе-
тушок — попал к дедушке, считай, откукарекался... Да они его
со жратвой поймали, вон сколько жареных ушей выгребли... а
что это еще там? неужто кабанячьи причиндалы? похоже на
то... теперь петуха хана, теперь его надолго умнут. Отпусти-
ли!.. Ну, может, у дедушки день рождения сегодня? Может, и
Слепухина отпустит... что он, псына, вячет там?.. ишь, пузыри
выплескиваются... Что это он мне сует? Да он мне охмырки
эти кабаньи сует! Он мне зашквариться предлагает петушачь-
ей хавкой, да еще не ушами даже, а этой гадостной кишкой?!
Отпустит он, видишь ли, потом... Потом уже не надо — ничего
не надо... Ах ты, псына!.. Вот этот невесть чей охмырок посо-
сать в его удовольствие?!

— Возьми сам у меня пососи, оглобля червивая!.. На, по-
чамкай — понравится ведь... ты ж — питух прирожденный!..

Ничего больше Слепухин сказать не успел и теперь толь-
ко уворачивался от замахов со всех сторон набежавших со-
бак. Прикладывались слегка только, пугая, не решаясь на
глазах друг у друга... На глазах было непривычно, и тогда
только захватывало сладостно, если из начальства кто пода-
вал пример, а так вот по своей инициативе, да под началь-
ственным приглядом, не увлекался никто.

Слепухин уже не бурлил, не изводил себя попыткой обма-
нуть свою долю, и сразу же пропало изнеможение его, до ко-
торого он себя же и довел в сумасшедших круговых верчени-
ях по карусели: жаль — надо бы — жаль — надо бы... И под-
вал не вселял дрожь, став абсолютно неотвратимым и
поэтому вполне годящимся поворотом жизни... (Славик ви-
дел, Квадрат подогреет — пробьемся...) Даже удивительно,
как он еще несколько минут назад отбивал от себя одну только
мысль о подвале, зажмуриваясь как дите, готовый поверить
в любое немислимое чудо быстрее, чем смириться с неиз-
бежным и как следует к неизбежному подготовиться... (ведь
мог бы как-нибудь затариться табачком...).

Его вели уже двое солдат по вечерне обезлюдевшей зоне

к грубо оштукатуренному высокому зданию, именованному, несмотря на свою высоту, подвалом, потому что подвалом оно и было (хозяева псы из-за высоты постройки нарекли ее спортзалом). Слепухин хоть и пытался унять дрожь, но это уже не было дрожью страха, а вполне естественная реакция на холод, только сейчас наново замеченный, и на схлынувшее возбуждение, под которым он уже столько времени промучился на вздерге весь...

Впереди поскрипывал ДПНК, покручивая на пальце здоровенный ключ, которому вполне подошло бы с его размерами играть роль золотого ключика в одноименном спектакле... Слепухин ухмылялся и умудрился даже выискать замечательный повод для абсолютного довольства собой: хорошо, что не горбатился он вчера на стирку... вот обидно бы было сейчас сознавать, что столько сил — коту под хвост... Удача, стало быть, ничуть не оставила его...

Вслед за ДПНК, опережая солдат, Слепухин пригнулся, проходя в низковатый, но зато очень толстый проем открытой двери (запоры, как на сейфе). Потом вереницей прошли они по длинному коридору или даже железному прямоугольному желобу (прямая кишка подвала), еще одна дверь — решетчатая, десять ступеней вниз, и перед Слепухиным вывернул коридор с дверями камер друг против друга — насколько хватало глаз, все чернели впереди пятна дверей на серой штукатурке льнущих одна к другой стен.

Первая дверь налево, и Слепухин вместе с сопровождающими его лицами оказался в дежурке подвала, хотя сама-то дверь угрожала схватить их безысходностью камеры. Две хаты самых крайних были переделаны из камер в дежурку и в комнату местных шнырей (почему-то проектировщики спортзала этих важных объектов не предусмотрели). Хоть и прошло много времени от виртуозного залета Слепухина сюда, сразу по этапу, но все вспоминалось незамедлительно, вровень с каждым здесь шагом, и Слепухин осматривался хозяйски даже, будто после долгой отлучки завернул случайно домой... А может, так и есть? Все верчения там за порогом этого мощного строения — не попытка ли это во что бы то ни стало обмануть судьбу? извернуться, исхитриться и ускользнуть в чужую жизнь? Сейчас Слепухину было стыдно за те свои извивы у прокурора, и за те, что внутри, которые никто, кроме самого Слепухи-

на, не видел, за то, что каждое ускользание требовало от него так много подлости... да-да, при всей разумности и, может, полезности изворотов этих — никогда они не обходились без подлости, без гниловатой лжи, без истаптывания себя же во всех этих изворотах... Сейчас все скользенькое и лишнее разбилось о толстенные стены лагерной тюрьмы, и очищенный, Слепухин был полностью готов ко встрече со своим домом и своей судьбой... Настолько готов, что даже снизошел скользнуть иронически снисходительной мыслью по оставшемуся за порогом человечеству, посочувствовав им всем, до сих пор извивающимся, обманывающим себя и пляшущим изгибами своими на потеху разномастным псам... посожалев всем, не определившись еще к своему дому...

Именно в этот момент цельное его существо начали раздергивать и разделявать во имя исполнения какой-то там инструкции, детально регламентирующей порядок водворения в штрафной изолятор каждой попавшей сюда мрази.

Однако все участники этой важной операции упомянутую инструкцию знали только в общих чертах и зияющие пробелы наполняли собственным разумением, более всего спеша побыстрее разделаться с лишней докукой. Тормозил их единственно этот доходяга, которого требовалось принять, оформить и определить к месту, а главное — заставить шевелиться побыстрее. Завертелся такой же, как и всюду, размолот, и снова приходилось угадывать, схватчиво оберегаясь от лишних напастей. Опять надо было крутиться в извивах, и начавшаяся только что заново жизнь снова взблескивала знакомыми уже гранями.

Но тут же с каждым мгновением захватывало Слепухина и новенькое ощущение. Сквозным продувом поддергивало каждую жилочку, невесомостью страшноватой свободы, напором разрушительной независимости ото всех и от всего. Не надо больше цепляться последними силами жизни за ломкие и коварные соломинки, не надо карабкаться по ним к разным глупым мечтаниям, не надо в цепляниях этих выворачивать пальцы и душу, не надо больше ничего. Нет ничего, за что стоило бы болеть душой и колготиться в страхе навредить. Ни гроша не стоят привязанности, желания и стремления, если они оказались бесильными удержать Слепухина в своей паутине. Он ухнул камнем — и лучше грохнется вразнос, чем подвиснет опять на плеточной паутинке какой-нибудь надежды. Не надо больше убла-

жать своенравную судьбу (взбалмошную паскуду, капризную фортуна, слепую дуру) — не глянулся ей Слепухин, и к черту ее. Хуже не будет! Хуже не бывает, и поэтому Слепухин свободен наконец от любых долгов и от любых обязанностей. Не надо испытывать благодарности к рыжему прапору, подогнавшему как-то плитку чая, и можно весело порывивать на него. И ни черта они ему не сделают. Нечем его уже ущемить или обделить. Убьют? Так и это не страшно, и даже лихо было бы глянуть на такую потеху. Пусть только тронет кто — достаточно любому глотку перекусить, так остальные сами уделаются от страха. Они еще карабкаются, каждый к своему кусочку, им еще много хочется разных крошечек, им много надо еще, а Слепухину не надо ничего. Самой жизни не надо, потому что какая же здесь жизнь? А вздергиваться на манок укутанного в неразличимый туман будущего! — ищите дураков! прободаешь туман этот башкой и — новая каменная стена упрется в лоб... Слепухин ухнул камнем и, не отвлекаясь воплями, летел свободно и грозно, заставляя псов увертывать бережливо свои головы. Никакой приманкой нельзя было его уже подсечь, и воющий свободный продров выбивался наружу подрагиванием пальцев и веселой злобой ничем не передавленной гортани.

— Ты, псина, замахнешься сейчас у меня! Я и под вышак пойду, но кадык тебе выкушу, вонючка поганая. А ты там, Дэпэнка, что за холуями своими не следишь? Службу не знаешь?! Что ты мне можешь сделать?!

Слепухин стоял голышом на бетонном полу и лаялся залиvisto, поторапливая шмонающих его одежду солдат.

— А вот приседать я перед вами не обязан. Раздеться обязан, а приседать — оботретесь. Вам надо у меня в заднице пошмонать — шмонайте, а сам я для вас ее выворачивать не обязан.

Ничего удивительного не было в том, что звериную собранность зека перед прыжком почувствовали все здесь. Ничем не могли они прищемить Слепухина, и не потому вовсе, что не было ничего такого, что похуже нынешнего его положения, чем нельзя было бы пугануть, добиваясь необходимого послушания, — много еще есть разного у живого человека, требующего защиты и обережения, за многое еще можно потянуть и покрутить, выворачивая в покорного червя. Однако для этого как минимум требуется, чтобы и сам человек знал об этом, и сам

чувствовал незащищенное, болея им и боясь за него. Слепухин же, упустив себя в ошалелый разброс, не видел мутными глазами ничего стоящего защиты и сохранения, и, значит, так все сразу выворачивалось, что ничего такого и не оказывалось, за что могли бы притянуть его в былую покорность. А не имея таких поводов, псы посматривали на доходягу с робостью и даже с почтением. Главное — согласиться подохнуть! всерьез согласиться, без блефа, и тогда — лети свободно страшным камнем, лети вразнос!

А порядки в подвале изменились неузнаваемо. Теперь здесь из своего оставляли только трусы да носки, и то если носки не теплые. Сверху выдавали драный комбинезон из тонюсенькой тряпки и деревянные шлепанцы. Слепухин пособачился еще за теплое белье, которое именно сейчас уворачивал шнырь вместе с остальными сдернутыми с тела шмотками в грязную телогрейку. Пособачился, чтобы только не молчать в овечьей покорности и безответственности.

— Эй, Дэпэнка, заставь обезьян своих сверток надписать — потом концов не сыщешь. Думаешь, не знаю, зачем сдернули все? Знаю — себе барахлишко присмотрели. Вы же чертеней всех чертей зоны, вам не скрывать хоть что — все равно что не жить. Теплухи всегда на киче отдавались. Вас за эту самодеятельность отдолбят еще всех, питухи конченные...

Слепухин все еще стоял голышом, ожидая, пока прапор из подвального наряда вернет трусы.

— Ты их пожуй еще, ищайка куцая... Эй, псина, щупать щупай себе, а рвать не смей... Что ты можешь, недоношенный?.. Рапорт нарисовать? Рисуй... Можешь вдобавок и отсосать... Попробуй, одень только наручники свои! В браслеты закоцывают с ведома хозяина, а хозяин уже дома водку хлещет!..

Напрасно вскручивал себя Слепухин в пружинистый прыжок — не зацепилась звериная ярость ничем и клокотала неастрарченно длинным переходом к двери камеры. «Ноль-шесть»... шестерка... поганая цифра... неважно...

Отгрохнулась тяжелая дверь, и в ярком свете за второй решетчатой дверью качнулись к выходу не менее десяти лиц, вроде бы смазанных в одинаковую неотличимость друг от друга голубоватой пеленой разлагающего безумия.

— Подай назад! Назад, мрази! — загавкал прапор, тарбаня тяжелым ключом по решетчатой двери.

Пятна лиц подались назад, прапор приоткрыл решетку, и тут же загремели засовы одной и другой двери за переступившим порог камеры Слепухиным.

Как удивился было Слепухин в первый раз, попав сюда, так же и сейчас с той же непривычностью ощупывал он глазами несуразную постройку. Хата более всего напоминала длинную узкую щель в ширину двери, а из-за непостижимой высоты казалась щелью между двумя высоченными домами. На уровне потолка коридора сверху камеры ажурным пледом паутинился решетчатый потолок из железных прутьев, а метра на три выше поблескивали инеем на стыках бетонные перекрытия. Коридорный потолок был одновременно полом галереи, на которой прохаживались укутанные в тулупы солдаты, поглядывая через мутные витринные стекла и решетчатый потолок вниз в камеру. По длине камера-щель была не более четырех метров, и как здесь существовало 11 человек, было непостижимо. Откинутые на ночь нары (значит, отбой прошел уже) почти полностью перегородывали камеру по ширине, оставляя свободным пятачок двери с вонючим толканом сбоку. Сами нары могли дать пристанище восьмерым, и то если лежать по два, оставшимся троем и Слепухину предстояло ютиться то ли под нарами, то ли сбоку от них, то ли у толкана самого, если не на нем.

— Покурить хочешь? — перед Слепухиным приплясывал оглобlistый мужик, высовываясь желтыми мослами из рукавов и штанов комбинезона. — На, покури. — Он протягивал в лицо Слепухину плотно сжатые отдельно от стиснутого кулака средний и указательный пальцы...

— Сам кури, — отстранил от себя желтую клешню Слепухин. Мужик подмигнул, дернулся, приложил пальцы к губам и сильно втянул воздух, закатывая глаза до выворачивания белков, потом выдохнул парком над собой.

— Ты Квадратов новый семейник? — оттолкнул курильщика нахохленный кавказец. — Иди сюда, на нары...

Слепухин пробрался к дальней стене, подернутой клином серебристой наледи от высоко угнездившегося окошка чуть ли не до самого пола. Вокруг шевелились, вздыхали, шептали проклятия, устраивались, затихая, и снова погружались в оцепенелое движение угрюмые сокамерники. Однако все шевеления и все проклятия ни на децибел не нарушали звонкой тишины, сразу же облепившей Слепухина зябким охватом.

— Будем спать? — спросил Слепухин кавказца, с трудом вспоминая его лицо, мелькавшее где-то в соседней локалке.

— Спать, наверное, не получится — опять отопление выключили. Десять минут лежишь и двадцать крутишься по хате, отогреваясь, — так и ночь проживешь. Утром, после подъема и до прихода наряда со шмоном, часа на два вон ту трубу подогреют слегка. Вот на ней сидя, с утра, может, и повезет незаметно покемарить... (По стене с окном внизу тянулась ржавая труба, просверливая своим ходом насквозь все камеры подряд.)

Слепухин без особого любопытства поглядывал с нар на пятна лиц, плывущие вокруг в бесполезных поисках удобного места. Из своего отряда никого не оказалось, а из знакомых углядел одного молоденького баптиста, чье лицо покачивалось голубоватым пятном в такт шевелению губ.

Кавказец выкарабкался из закутка и среди чуть потеснившихся призраков начал быстро приседать, выборматывал гортанные звуки, которые лопались пузырями у него на губах и вокруг, и по этим пузырям можно было догадаться, какими словами нужно переводить на русский язык чужую речь.

Склепаяная стылость ухватила Слепухина в немеющее объятие, пробираясь вглубь, поцапывая уже мерзлыми пальцами за самое сердце, и на эти прикосновения тело отзывалось дрожью вдоль всей спины до ломкой боли в затылке. Слепухин пробовал вспенить замерзшую ярость, разогнать жилами горячую злость, но напрасно выдавливал боль стиснутыми зубами — недавний еще, всего его сжигающий тугой огонь не вздувался из замороченной стынью души — только похрустывало льдинками на висках и покалывало в позвоночнике холодным же ужасом: здесь пятнашку не выжить... да какая там пятнашка? — ночь эту пережить невысказанно...

Хоть бы не было этих железных полос, скрепляющих попереки истертые доски нар... Пристроиться так, чтобы стылое железо не вламывалось в тело, не получалось никак, а именно из тех мест, где слепухинские кости болюче втыкались в металл, и начинала вибрировать волна дрожи, расплываясь по всем направлениям. Впрочем, может, дрожь жила в самом металле?.. в самом слове «металл»?.. Хоть бы не выламывало кости об это железяе!.. Как ни повернись, железные полосы опять принимают выгибать кости внутрь, стараясь ими же пропороть дрожащее уже непрерывно тело.

Потом были и приседания, и кручение, и даже прыжки были испробованы, но это упражнение оказалось попросту не под силу. Слепухин замороченно торкался на маленьком кусочке свободного пространства, налетал плечом на стену или на нары и после этого несколько оживал, если, конечно, острое ощущение невозможности жить можно назвать оживанием... Он быстро изнемог и временами осознал, что вроде бы даже спит, по крайней мере, на какое-то мгновение исчезали уродливые стены и появлялись снова, ощутимо врезааясь в плечо. Неожиданная волна дрожи, поднявшись от коленей к затылку, оказалась последней — не была настигнута следующей волной, и Слепухин замер у стены. Слабые его колени подогнулись, и он сполз по стене спиной, сложившись между своих же колен, прикинув грудью к ногам и упрятав мерзную макушку под широкие ладони. Почему так мерзнет голова? чему там мерзнуть? Наверное, для этого и стригут наголо...

Потом опять приседания, возвращающая в мерзлую явь боль в плече и снова мгновенное провальное затишье на корточках с напрасными усилиями ладоней разогнать ломкую боль в голове, стянутой мерзлым обручем кожи.

Главное — дотянуть до утра, до подъема. Если и не включат отопление, то уж шлюмка кипятка точно будет и можно будет отогреть ладони, а потом теплыми ладонями разморозить голову. Квадрат должен к утру раскрутиться и подогнать курева... Только до утра дожить, а там отдышимся. Не может быть такого, чтобы здесь каждую ночь подобный беспредел учиняли. Видимо, это специально для него, для Слепухина — обозлились, волки, вот и крутят его...

Удивительным образом последнее соображение подействовало успокаивающе и чуть ли не радостно. Довел он все-таки этих псов, не согнулся покорно — вот они и мнут его, вот и выдумывают для него мучение. Главное — выдержать, показать себя, не распластаться, не заканючить жалобно им на радость — тогда и отступят... Узнать бы: сколько осталось до подъема — тогда можно бы занять себя счетом. Впрочем, можно и так — один, два, три — только не спешить — семь, восемь — до трех тысяч с половиной досчитал, и час прошел — семнадцать, восемнадцать — нет, на час надо три тысячи шестьсот...

Слепухин сбился и начал наново, потом еще сбился и еще...
...Так вот и кончишься здесь, а все равно — все у них будет

по закону. Этого бы козляру-прокурора сюда засадить — он бы с ходу допер, что такое его закон. Придумали себе, сучары, забор с надписью «закон» и щелкают вокруг бичами, а то, что за забором этим холодильник фурычит, где людей вымораживают в безжизненные туши, — им и дела нет. Того даже не понимают, что заглот холодильника этого ненасытен — ему только дай, ему лишь не вхолостую леденить. Иногда и за забор лютостью дохнет, так они там досочки подправлять и подкрашивать начинают и все шамкают, козлы вонючие: «закон-закон», а додуматься сломать к чертям морозильник этот никак не решатся, сами понимают, что он уже ими не управляем, что уже он главное, а они все только прислужниками его... Самих уже изредка глотает, и тогда все одно шаманят, глазки закатывая, скребутся тихонечко: «разрешите-извините мне лично, говнючку такому-то, наружу выйти» — у-у, пидерюги! Хватило бы и забора одного, за глаза хватило бы — зачем же внутри такое еще соорудилось?!

Слепухин представил, что он не просто мучается здесь, а выполняет задание особой важности. Ему специально придумали все его дело и запустили внутрь чудовищной молотилки, чтобы он все здесь разузнал и рассказал потом правду об этом уродливом мире. Он без труда перенесся в то будущее, когда, выполнив опасное задание, он в силу своего опыта и знания вступит в единоборство с механизированным взбесившимся чудищем. Без труда Слепухин отыскал фальшивый фасад с громадными колоннами и парящим вверху гербом. По высоким ступеням поднимался сплошной поток людей, исчезая в распах мощных дверей. Ниже, перед ступенями, колыхалась толпа, не особенно сознавая, что именно из нее и питается неиссякаемая лента тел, ползущая по ступеням между колоннами. «Закон превыше всего», — прошамкал дряхлый старикашка, ловко уворачивая в сторону от водоворотного верчения рядом. Именно этим верчением и начиналась людская река к ступеням, а старикан увертливо держался на краю водоворота, одновременно подталкивая, будто бы невзначай, менее вертких в воронку, орудя роскошной тростью с изумительным проворством.

— Вы ничего не понимаете, — пробился Слепухин к старикану, хватая его за многочисленные орденские планки. — Там сумасшедшее чудище измочаливает всех людей в отбросы.

— Проспитесь, молодой человек. Все эти люди социаль-

но опасны, и гуманный советский закон изолирует общество от них для их же пользы.

— Туда нельзя... там страшный мир...

— Не смейте очернять нашу прекрасную действительность. Там, конечно, не курорт, но всем известно гуманное отношение советского государства к народу, и, даже изолируя преступников, мы имеем целью не наказание ради наказания, а перевоспитание для возвращения их в общество полноценными...

— Их вернут уродами.

— Их там спасут, потому что они сейчас — уроды...

— Посмотрите на того вон — там, левее... он ведь здесь по ошибке... он не опасен...

— Если вышла ошибка, то рано или поздно ее исправят.

— Сейчас он сгинет в дверях, и будет поздно!

— Если он не виновен, его в конце концов освободят. Ошибки бывают всегда, и нельзя из-за отдельных ошибок...

— Освободят не его, а отруби, в которые он превратится! И вон еще один, и еще... Все это надо немедленно остановить!

— Закон превыше всего! Они идут по закону, а если закон ошибся, они по закону выйдут обратно.

— Откуда выйдут?

— Вот вы не знаете, а кричите. Сбоку этого строения есть дырочка... Вы посмотрите внимательно — вот один гражданин...

— Он уже не гражданин — граждане не ползают так низко, а если ползают, то глазами так не сверкают при этом. Он опасный ядовитый слизняк...

— Глупости говорите, молодой человек. Это или ошибка ваша, или даже похуже... Уверяю вас — им там хорошо. Многие даже выходить не хотят. Живут себе на всем готовом, обуты, одеты, накормлены — и все это им дает государство, а могло бы...

— Тебя бы так кормили, старый хрен! Там за дверями гербовыми они попадают прямо в пасть взбесившейся косторубки — понимаешь ты это или нет?!

— Я не допущу!.. Я не позволю никому пачкать грязью...

Старикан неуловимыми манипуляциями с тростью подтолкнул Слепухина в водоворотный заглот перед ступенями, и того понесло неодолимым течением к темному распаху дверей. Судорожным оглядом Слепухин злорадно заметил, что и сам старикан не увернулся и утягивается следом, жалко

разевая изморщенный рот. «Убедительно прошу пересмотреть... уважение к закону... превыше всего... прошу не отказывать в моей просьбе... заслуживаю снисхождения... обязуюсь всемерно содействовать...»

Дверь и на самом деле оказалась фальшивой, потому что сразу за ней ослепило ледяной пустыней в переплете колючки и понесло с ускоренной силой к невидимому еще, но все более осязаемому равномерному грохоту. Слепухин весь колотился мелкой дрожью, нелепо отодвигая от себя знание про невыносимый уже грохот. Механический монстр, закрученный неведомо когда сумасшедшими умельцами на вечную жизнь, требовал своей пищи. Красивый фасад, сияющий герб, порожняковые словеса — все это придумано тем же монстром для бесперебойности пережева. Вывернулся зеленый, в блесках инея бок чудища, и муравьиный людской поток забурлил мелкими водоворотиками. Мастоdont требовал не только пережеванного материала, но еще и разнообразнейшего ухода, и ловкие муравьишки выкручивались из неуклонного движения к грохочущим челюстям, выпрыгивали и вытанцовывали, демонстрируя любовь к чудищу и страстное желание ему служить. Давешний старикашка с умилением поглаживал зеленую тушу, успевая при этом с восхитительным проворством отгонять остальных, норовящих приникнуть к тому же боку со своей преданностью и своей признательностью. Старикан заметил Слепухина и его попытки выскользнуть в сторону, но, и рискуя быть смытым с безопасного своего островка, все же дотянулся до Слепухина изогнутым концом трости, заталкивая того в самую стремнину неодолимого течения. Ярко-красный рельс пасти чудища взмахнул над Слепухиным, и разрывающиеся ужасом глаза ухватили последнее — прямо в распахнутой пасти щерилось: «Тебя обнимут дети и жена, когда искупишь ты вину сполна, когда самоотверженным трудом заслужишь право ты вернуться в дом, чтобы свою жену опять обнять, режим ты должен строго соблюдать!» Потом на голову обрушился спящий грохот...

Слепухин прислушался к слабым ударам прямо возле уха. Струящиеся вокруг тени тоже остановили свое верчение, выворачивая головы к ритмичному колочению. Слепухин с некоторым удивлением осознал, что все это время вокруг него в том же полубреду, что и он, крутились замороженные до полного

безмолвия жизни... Ему-то, Слепухину, легче: он знает, что все нынешние мучения вызваны им, его строптивостью, его неуступчивостью, а они-то и вообще зазря сходят тут с ума...

— Ответь, там «кабура» рядом, — выпустил в Слепухина замерзающие в сосульки слова угловатистый парень. Сам он сидел на краю нар, обняв длинными руками себя же так, что казалось, будто руки ему удалось сцепить на спине. При этом он раскачивался вперед-назад и при каждом движении чуть ли не тыкался в макушку сидящего на корточках Слепухина.

Еле затеплившаяся надежда, что призывные сигналы как-то связаны с Квадратом и передачей курева, тут же и застыла, не разогревшись: в узенькую, не более толщины сигареты щель о куреве спросили первым же делом. Слепухин вертелся, приныкая к кабуре то ухом, то губами, успевая заодно поглядывать вверх на галерею и не очень-то улавливая смысл разговора. Вроде исполнял он какой-то необходимый обряд, ему лично совсем не нужный, но обязательный к исполнению. Он совсем не обрадовался, опознав в своем собеседнике Максима, и точно ни к чему ему было знать, что какого-то Штыря бросили вечером к Максиму избитым в кровь. Слепухину пришлось сделать усилие, чтобы понять, с какой именно нужды Максим беспокоит сейчас соседей. Предлагал Долото прямо с утра накрутить весь подвал на общую голодовку, убеждая, что только в этом есть их шанс на спасение. Слепухин мог бы и сам ему ответить, но тот же ритуал, который вынуждал его тратить силы на порожняковый базар, требовал и дальнейших движений.

— Погоди, — вышептал Слепухин в кабуру и обернулся к равнодушным лицам сокамерников, которые тоже сообразили, что призывные сигналы совсем не означали какой-нибудь волшебной помощи.

— Курева там нет? — безо всякой надежды спросил кавказец.

— Предлагает общую голодовку.

— Совсем крыша потекла у мужика.

— Жареный петух его еще не клевал.

— Вся надежда на то, что утром отопление включат и кипятку дадут.

— Он достукается, что ему хату водой обольют.

— Без жратвы тут сразу — гроб.

— Завтра кормежный день.

Слепухин где-то в глубине, куда еще не вломился высту- жающий холод, сознавал, что эти возражения какие-то не- правильные, что во всех возражениях присутствует неназы- ваемое согласие с теперешними мучениями и именно в этом неправильность, но и он не мог сейчас устранить, хотя бы и на один час отодвинуть от себя утреннюю шлюмку кипятку, скудный, но согревающий завтрак (какая удача, что завтра — кормежный день), мечты о тепле, которое хотя бы на час по- гонят по заледенелой трубе по всему подвалу.

Максим откликнулся не сразу и, услышав ответ из «ноль- шесть», ничего не сказал — стукнул только один раз в стен- ку, что и означало: понял... отбой.

Снова камеру окутала мерзлая тишь, и звонкая стылость потянула души в обморочное безумие.

Слепухин начал было рассуждать о Максимовой неправо- те, но долго лукавить с самим собой не смог: все эти рассуж- дения нужны были для того лишь, чтобы заполнить неизбыв- ное время до того самого утреннего согрева, от которого Мак- сим и хотел их отшвырнуть в безысходность. Ничего путного из таких размышлений получиться не могло, и Слепухин пере- стал настойчивыми скрепами слов «стало быть» зацеплять одно к другому неубедительные возражения. Принялся нано- во считать, заполняя ночной холодный провал, — и тоже бро- сил... Позавидовал чокнутому баптисту, который, по всему видно, не особенно страдал, целиком погрузившись в свои безумные молитвы... Пробовал угнездиться рядом с кавказ- цем, но снова закружил в надежде согреться и не по камере даже закружил, а на одном месте, сдерживая всеми силами скулящий стон, которым норовила найти выход каждая новая волна дрожи. Казалось, что стоит застонать только — и дрожь не будет уже подниматься выше и выламывать болью заты- лок...

Может быть, во всем этом безумстве есть какой-то иной смысл? Может, это только кажется, что вот издеваются над ним в отместку за строптивость, а на самом деле существует вполне рациональная причина этого кошмара? Просто Сле- пухин никак не может ухватить смысл происходящего...

Когда-то он вздумал поступать в военное училище, и це- лый месяц до экзаменов их, возмечтавших об офицерстве, выгоняли по утрам на цветущую полянку, где они занимались

диковинной гимнастикой. В первый день прыщавенький лейтенантик подвел их к груде красного кирпича и приказал перенести всю кучу на сто метров вперед. Потом это упражнение повторялось каждое утро, и для Слепухина было настоящим откровением узнать в конце концов, что вовсе не голое издевательство двигало всеми участниками сумасшедшей игры, а вполне основательная цель: этими утренними судорожными безумствами на лужайке сооружалась гаревая дорожка для будущего стадиона. Заодно, конечно, истапывалась цветущая лужайка и вместе с ней до кирпичной пыли истапывалась та часть души, где бездумно зеленели смутные мечты, цепляющиеся еще более смутными понятиями «офицерская честь», «слово офицера» и совсем уж непонятно ужившееся рядом церемонное «честь имею» с обязательным наклоном головы под звучный прищелк сверкающих сапог...

Он снова увидел себя маленьким, зареванным, загнанным под кухонный стол в наказание за очередную школьную двойку. Ненавистный отец, будучи поклонником сурового воспитания, заставлял Слепухина целый день сидеть под столом на кухне, делать там же уроки и там же съесть штрафной ужин, что было особенно невыносимо потому, что Слепухин не имел права отказаться от этого унижительного ужина. Считалось, что так вот под столом Слепухин с большей ответственностью проникнется необходимостью знаний и быстрее исправит злосчастную двойку. Перед самым лицом покачивалась ступня, и очень хотелось вцепиться зубами, прокусывая до крови тяжелые набухшие вены. Слепухин не переставал скулить, потому что жалобный скулеж считался необходимым элементом воспитательного процесса и, если бы из-под стола не тянулись воющие звуки, отец непременно придумал бы какое-нибудь дополнительное наказание, в разнообразии которых был неистощимым выдумщиком. В общем, скулить продолжал, но целиком до подрагивающего жаркого комка в желудке был занят одним: удерживал себя от соблазна вцепиться острыми зубами в ненавистную плоть.

...Слепухин еле умещался под низким столом, пригибая застылую стриженую макушку и смеясь в душе над стонущим, скорченным жуткими болями отцом, мечущимся на кушетке. Он понимал, что отец не просто измывался над ним, теща тем самым свою властную гордость, а показывал, на

чем держится мир, в котором Слепухину предстояло маяться долгую-долгую жизнь. Слепухин даже хотел крикнуть сейчас из-под стола помиравшему отцу о своей благодарности: вовремя выполол старик всякую нежную глупость из наивной души, прочно поселив там в диковинной дружбе вечную готовность к скулежу и не менее вечную охоту цапнуть зубами в кровь... Если бы под столом не было так холодно, если бы так не свело замерзший рот, Слепухин бы непременно крикнул, хотя сознавал, что чего-то старик недополол в нем — иначе бы нынешние учителя, загнавшие его опять под стол, давно бы уже свою учебу закончили.

...Рядом с лицом замелькали в грохоте сапоги, и Слепухин попробовал еще теснее упрятаться под стол, чтобы его не зацепили в непонятной суматохе. Загремели запоры дверей, и загомонили вокруг испуганные голоса.

У двери камеры сгрудились бесплотные призраки, жадно ворочая головами в сторону необычной суматохи и надеясь, что, может, из суматохи той выскользнет и им какое-нибудь чудо.

— Сосед вскрылся.

— Поволокли в медчасть.

— Или в морг.

— Долотов какой-то.

— Слышь, это не он с тобой про голодовку базарил?

— Он самый, — отозвался Слепухин. — Максим с нашего отряда... Живой он?

— Не разобрать — гомонят, псы, все разом.

— Серьезный, видно, мужик — чик по венам, и в медчасть на отдых.

— Или в морг.

— Все одно — на отдых.

— Мужики! тепло включили!

Все остальные звуки слились в один облегченный вздох, принявший в себя восхищение, благодарность чумному Долотову, и выше всего — животную радость своей не загубленной еще вконец жизни, ту радость, которая перекрывала благодарность спятившему соседу пренебрежением к нему же, выхлестнувшему взмахом мойки из себя и жизнь, и любую возможную радость...

Железная труба чуточку потеплела, но можно было уже дотронуться бережно, можно было погладить ласково этот

источник жизни, и каждый был в эту минуту предупредителен и с удовольствием даже давал другому убедиться в том, что труба и на самом деле вдыхает в камеру настоящее тепло.

С синеватых лиц сходилась бездумность безумия, заговорили громче, задвигались осмысленней — совсем неплохо начинался новый день, и не накатывали больше волны дрожи, и растворилась невыносимая боль в затылке, и даже чуточку стыдно стало Слепухину за глупый его разговор с Максимом.

Кто-то залез под нижние нары и там обвился вокруг теплеющей больше и больше трубы, а на маленьком ее кусочке, где труба выныривала из-под нар, и до того места, где она всверливалась в стену камеры, разместились Слепухин с кавказцем. Вокруг терлись остальные, пробиваясь поближе к теплему дыханию разогревающегося железа.

— Ого, скоро и сидеть станет невмоготу, — засмеялся Слепухин.

— Испугались, волки, — на полную включили.

Радость выплескивалась в невразумительных возгласах и все настойчивее направлялась на скорый уже подъем и на утреннюю кормежку. Слепухин почувствовал, что согрелся, и с сожалением, но уступил свое место, не решаясь отойти далеко, а тут же присаживаясь на корточках. Совсем приятно было упрятать макушку под разогретые чуть ли не до обжига ладони.

— Эх, пивка бы тепленького, — мечтательно выдохнуло рядом.

— Ну ты загнул... Кто же это теплое пиво пьет?

— Теплое пиво — самый смак... Я завсегда перед работой заходил в пивнушку...

— И допивал там остатки из бокалов.

— Ну ты там — укороти метлу!

— А ну — глохните оба!

— А вот я одну пивную знал в Ростове — ежедневный цирк.

Загремели кормушки по продолу — пошли дубаки поднимать нары. Отхлопнулась и кормушка в «ноль-шесть».

— Падъемь, — заорал приплюснутый солдатик, — падънимай нар!

— Курить, командир! курить дай! курить! сигаретку хоть, волчара-а! — в несколько голосов загомонили из камеры, пока остальные поднимали тяжелые нары и пока из коридора они закреплялись в поднятом положении.

Кормушка захлопнулась, и тут же по камере закружили все ее обитатели, потягиваясь вольготно в неожиданном просторе.

Слепухин быстро вышагивал на отвоеванном себе пятачке — два шага от двери, поворот, два шага к двери. Под окошком вдоль трубы постепенно собрались все остальные, исключая чокнутого баптиста, который вышагивал рядом со Слепухиным, только гораздо медленней и расслабленней. У стены начался обычный в камере травеж и обычным же образом прерывался смехом и чьим-то настойчивым голоском: «Дай теперь я приколю».

Теперь-то Слепухин выдержит, теперь Максим их шуганул, и, может, не решатся они больше искручивать Слепухина, поостерегутся...

— ... и так обидно мне стало — сказать нельзя, — долетало из теплого угла. — Я этому хмырю и предлагаю: «Спорим на литр пива, что за три минуты пришью все твои пуговицы — сколько их есть». Короче, раздраконил его и ударили по рукам. Тут я уже не спеша — все пуговицы, что на нем были, обкорнал, иголку с ниткой нашел и говорю: «Гляди на часы», — а сам медленно нитку вдеваю. Он уже ходуном ходит, быстреей, мол, а то не успеешь, а я минуты две вдевал, а потом и говорю: «Твоя правда — проиграл. Держи рублевку — с меня два бокала». Вокруг хохот — стены трясутся, а ему и рублевку взять нечем — руки заняты, все с него падает...

Покатила по продолу баландерская телега и своим грохотом мгновенно испаряла все разговоры по камерам. Все зашевелились, и сразу стало тесно.

Теперь уж точно выживем!

Как ни сдерживались обитатели «ноль-шесть», но постепенно все начинали кружить по камере, и все кружения происходили мимо кормушки в нетерпеливом ожидании утренней пищи. Наконец пошли по рукам шлюмки с кипятком и урезанные штрафные пайки хлеба. Кормушка захлопнулась, и каждый, припрятав свою пайку, принялся за кипяток, медленно и окончательно отогревая себя от страшной ночи.

Баландеры укатили, и по продолу все замерло, омертвело.

— Чего же они баланду не везут? — не выдержал юркий парнишка.

— Привезут, — отозвался кавказец, чутко вслушиваясь в тишину продола.

Потом и ему надоело вслушиваться, и он быстро закрыл, подгоняя себя гортанными звуками. Когда чуткие уши штрафников уловили дальние погромыхивания телеги, радости уже не было, потому что вместе с телегой нарастал и какой-то иной шум, и обостренный слух различал в нем что-то угрожающее для всех.

— Шлюмки давайте, — полыхнуло из открытой кормушки.

— Баланду.

— Баланду!

— Что удумали, козлы?!

— Кормежку гони!!

— Что он там базарит? А ну — тихо все.

— Кормежные дни — четные! Так хозяин приказал, — хмыкнул дежурный по подвалу прапор в открытый распах кормушки.

Кормушка сразу же закрылась, и все матюки вместе со всем негодованием отскочили от нее обратно в хату. Зато открылась дверь, и сквозь запертую решетчатую прапор угрожающе поглядывал в притихшую камеру.

— Ну кто тут ор поднимает? Кому не ясно?! Приказ хозяина — кормежка по четным, то есть через день, как положено.

— Беспредел закручиваешь, — качнулся к двери Слепухин. — Через день кормить должны, а вчера не кормили...

— Кормежка по четным, значит, через день — все по закону.

— В задницу себе закон этот затолкай! — взорвался Слепухин. — Через день кормить обязаны, а вчера не кормили. Ответишь за беспредел, псина!.. Голодовку объявляю!

— Голодовку он объявляет, блевотина!.. Хлеб схавал и объявляет...

— На тебе твой хлеб, — Слепухин швырнул в красномордого прапора свою пайку.

— Один тут объявил вчера — знаешь, где он сейчас?

— Ты за себя побоись лучше...

— Собрать шлюмки! — загромыхал прапор, наливаясь синюшной краской.

Пока звенели шлюмки, пока гремели дверные запоры, Слепухин уже понял, что сделал непростительную глупость, и всей душой терзался этим своим промахом. Теперь-то пути назад нет, а впереди такой тупик, о котором только башку расколоть — и ничего больше. Но ведь обидно-то как! Неужели никто из тупорылых этих не сознает, до чего унижительно, когда так вот нагло фигой в зубы!..

Из угретога конца камерной щели долетал очередной треп. Тот самый парнишка прикалывал что-то знакомое к полному удовольствию окружающих.

— ... а телке этой женитьбы — тьфу и растереть. У ней все чешется, дойки наружу лезут, ну и пока там у них пир и все прочее, она своего хахаля — на сеновал и подвернула ему там...

Черт, никак не мог вспомнить, что же это он прикалывает, но определенно Слепухину эта история знакома. Впрочем, что за дело сейчас Слепухину до всех на свете историй?! Ему бы из своей выпутаться... Непреодолимая преграда отделила его от остальных обитателей «ноль-шесть», и теперь уже слепому было видно — никто Слепухина не поддержит и дальше ему бедовать в одиночку против всех здешних псов. Этим соображением немножко подогрелось его тщеславие, а уверенность, что сейчас вот красномордый прапор перебивается с дежурной частью и докладывает, что здесь произошло, и они там все ищут выход и сообщают, как бы уломать Слепухина на попятную, — уверенность эта если и не успокоила Слепухина, то чуточку укрепила его... Но ведь и вправду нестерпимо такое вот унижение...

Закон для них — это палка, которой они лупят по каждой высунувшейся башке. Но ведь всегда кто-нибудь хоть на чуток да и высунется — тут его хрясь по башке, и снова вокруг все ровно. Так и получается, что с законом, с палкой своей, они пригибают всех ниже и ниже. Но ведь такие способы поносные для пригиба этого находят!.. Слепухин вспомнил, как в давнем уже году, когда принимали очередную их фанфарную конституцию, его просто до тошноты дергало от мерзейшей уловки, которая с головой любому ежу и любой козе выдавала, чего на самом деле стоит вся эта конституция и все эти — ее принимающие. Дело в том, что новый праздник был назначен на новое число, и в тот год это выпадало на пятницу, только объявлено было в конце работы, когда народ уже в пятницу отпахал. А два следующие года выходил их праздничек на субботу и воскресенье, то есть все учли, собаки, и так перенесли, чтобы три года подряд хоть по дню одному, да уворовать. Особенно обидно было углядеть в календаре, что старый день задрипанной их конституции выпадал на понедельник, а в следующие годы, значит, вторник и среда. Вот это мелкое воровство было особенно обидно, до перехвата в горле, ну а то, что

жульничали так вот по мелочам да под громкие фанфары и рукоплески — это уж и до рычания доводило... Так и теперь, с четными кормежками. Неужо никто не дотумкает, как нестерпимы такие вот щипки, — лучше бы уж прямо кости дробили...

— ...она по комнатам бегаёт — «Помогите-спасите», а ей навстречу мужик, прикинутый с иголки по ихней моде. Он ей хрясь по зубам и отодрал тут же на диванчике...

Что это он прикалывает?.. Интересно, созвонились они уже или нет? Наверное, сейчас листают его дело и прикидывают, как бы к нему подступиться. Ничего, сегодня воскресенье — один день можно и поголодать, а в понедельник все равно к хозяину поведут — он же в подвале по временному сидит, хозяин еще не утвердил, и, может, даже он этой голодовкой себе и лучше сделает: может, хозяин, чтобы голодовку снять, и вообще его из подвала выгасит... А то еще возьмет и подпишет только суток трое, чтобы замаять все... Нет, рано еще отчаиваться, еще пободаемся. Вот только плохо, что в одиночку. Если бы всей хатой упереться — точно бы замандражили волки, но разве этих поднимешь!..

Слепухин глянул на тесный кружок разомлевших своих сокамерников и острой завистью посожалел, что отделится от них. Сидеть бы сейчас там, слушать порожняковые приколы, подремывать в тепле, а вместо этого зябкое подрагивание неведомого будущего, вылепляющее то непроходимый тупик, то неожиданно заманчивые повороты. Сейчас, после Максимова залета, скорее всего, не решатся морозить — можно было бы спокойно перетерпеть пятнашку, тем более Квадрат подогрел бы... А потом Квадрат бы и встретил, запарил бы чифирька вволю... эх, непруха какая пошла!.. Вот сидят себе, и все им по фигу — только слюни пускают, как этот дерганый по ушам им шоркает.

— ...она гонит во весь дух — прямо из комбинашки выскакивает и орет: «Жофрей! Жофрей!», а он пи-издюхает на своем костыле и не оглядывается...

Загремели засовы, и все скоренько вскочили на ноги. В камеру втолкнули новичка — хмурого парня со второй промзоны, и когда двери, лязгнув по напряженным нервам, захлопнулись, новенький вместо приветствия спросил:

— Как тут нынче?

— Беспредел тут, — пояснил Слепухин, надеясь обрести в решительном парне союзника.

— Там тоже понеслось, — отозвался парень. — Какой-то пидер пожаловался прокурору, что баня плохая, вот и пошли выгонять на строительство бани. Теперь подвал загрузят до предела: удумали пахать все выходные, и в будни каждая свободная смена по четыре часа вкалывает на бане...

— Тогда и выходить отсюда нечего, — хмыкнул кто-то в углу.

— Красавец сегодня вышел дежурным, — добавил новенький. — Он и здесь нам чего-нибудь учудит.

— Эх, совсем не вовремя ты со своей голодовкой, — покрутил головой кавказец, обращаясь к Слепухину.

— Что же ты так? — заинтересовался новенький. — С Красавцом не поголодуешь — всю кровь выпьет.

— Ничего... может, подавится еще, — отозвался Слепухин, более всего боясь сейчас, как бы не узналось, что вся банная круговерть пошла с него.

Но ведь чем он виноват? чем?! Эти же псы по любому поводу готовы издевательства напридумывать — при чем же здесь он?!

Снова загремели засовы, раскупоривая дверь, и в камере застыла напряженная тишина, когда в открытой двери проявился из тусклого коридора кургузенький Красавец, расставив кривые ножки, подергивающиеся в слишком широких для них, надраенных в зеркало голенищах.

— Кто тут не доволен нашими порядками? — Рыженькие редкие усики покручивались и подрагивали. — Я спрашиваю, какой педераст вздумал нарушать установленные правила?

Теперь уж Слепухина освобождаяще захлестнуло безоглядной яростью:

— Правила вздумал нарушать дежурный прапорщик — он отказался выдать пищу.

— Ты кто такой? — Прищуренные глазки уцепились в Слепухина. — Кто такой, спрашиваю!

— Слепухин.

— Врешь, мразь! Отвечай как положено: «Педераст по фамилии Слепухин». Ну, повторяй!

— Ух, метла у тебя поганая, начальник...

— Выходи!..

В подвальной дежурке Красавец уселся за стол и стал перебирать карточки, отыскивая слепухинскую. Пересмотрел всю пачку и начал сначала.

— Как твоё фамилие?

— Слепухин.

Здесь-то с провальным озарением Слепухин осознал наконец, что никто про него не перезванивался, никто про него даже секунду не думал, никто не собирался и не собирается бодаться с ним — попросту до него никому нет ни малейшего дела. А ведь из одной только мысли, что его лично ненавидят, ему лично стараются сделать что-то особо непереносимое, — от мысли этой набирался Слепухин силой для противостояния в тяжелом поединке. Они даже не помнят его, они его под страхом смерти не смогут отличить от кого другого, им совершенно все равно, кого растереть и у кого кровь выпить. Вот от этого, что сидящий за столом недоносок даже не отличил Слепухина в личные свои враги, оттого, что сморчку этому все равно, на кого излить свою желтую вонючую злобу, — последние надежды на какой-то удивительный поворот оставили Слепухина, и будущее его тыкнулось в лоб глухой стеной, и колени сразу ослабли...

— Значит, не по вкусу тебе наша пицца?

— Пицца по вкусу... — Слепухину не очень понравился его собственный голос, но он заставил себя подзвучать его еще чуточку просящими нотками. — Только вот не кормят ведь, гражданин начальник. А я и вчера не поужинал...

— Ты бы так и сказал сразу, — хмыкнул Красавец. — Эй, воин, принеси-ка мужику похавать.

Слепухин с удивлением поглядывал на Красавца, боясь верить, что так вот запросто все обойдется.

Припыхтел солдатик, всовывая Слепухину в руки шлюмку с застывшей баландой.

— Значит, так: лопай, если не поужинал, и — в хату. Согласен?

Слепухин кивнул и поискал глазами ложку.

— Нету весла, — понукнул его Красавец. — Так хавай.

Всей-то размазни было в шлюмке на одну маленькую горсть, и Слепухин мигом очистил посуду.

— Вот и хорошо, педераст Слепухин. — Красавец ухмылялся прямо в лицо. — Веди его, воин, в «ноль-три».

— Ты что вытворяешь, начальник? Побойся Бога!

— Так ты же зашкварился, — щерился в лицо Красавец. — Ты же из петушачьей шлюмки петушачью баланду доедал... Тебя же мужики теперь к себе в хату не примут...

— Ах ты, вонючий выкидыш! Кто же тебе поверит, псине, что ты зашварил меня?!. Кому ж ты это сказать успеешь?!

Слепухин не успел качнуться к Красавцу — налетевшие из прохода прапора и солдаты сбили его с ног и, пиная куда ни попадя, пытались вытолкать из дежурки. Слепухин уцепился в порог и выхаркивал из себя самые отборные ругательства, пересыпая их проклятиями и угрозами.

— Ты ведь сдохнешь, псина... Сегодня же сдохнешь... Ночь эту не переживешь... Не допустит Господь, чтобы такая падаль жила... Будет тебе, как и мне сейчас... похуже будет...

— Похоже будет, — хохотал Красавец и раздумянно оглаживал топорщивые усы. — Похоже, но не совсем... Тебя сегодня отдолбят за милую душу, и я сегодня телку одну отдолблю за милую душу... Правда, похоже? — Красавец мелко захихикал.

Солдаты умудрились все-таки оторвать Слепухина от порога и потянули по коридору, истаптывая его руки, ударяя по пальцам, которыми Слепухин цепко хватался за сапоги своих мучителей, за неровности в бетонном полу, за многочисленные запоры тяжелых дверей с примолкшими сейчас камерами. Какой-то жуткий обруч стянул непереносимой болью голову Слепухина, мешая ему соображать, выдавливая наружу налившиеся кровью глаза, заполняя тошнотным шумом и гулом уши.

— Максим! Максим! Ма-ак-сим! — заорал Слепухин на весь проход, и звериный его вопль, пронесшись по подвалу, вымел своим взвоем все остальные шумы, обрушив сразу же оглушительную тишину в проход. Даже шумная свора, пыхтевшая над Слепухиным, замерла на мгновение, но, сразу же очнувшись, поволокла сопротивляющееся тело дальше.

— Мак-сим! Мак-сим, — колотилось в бетонные стены.

Красавец дернулся в испуге, когда прямо под ноги ему шархнула из-под Слепухина здоровенная крыса, и в раздражении прицельно засадил сапог по маячившему впереди копчику упрямо сопротивляющейся мрази. Однако и это не помогло, и все нешуточно упарились, пока доволокли Слепухина до нужной камеры.

Слепухин углядел налитым кровью глазом пляшущие на дверях цифры и снова завопил, вкладывая все свои оставшиеся силы в напряженную гортань и чувствуя, как разламывается обруч на голове, разламывается прямо с головой, вместе с болью.

Он попытался еще помешать откручивать запоры, над которыми плясал номер 3, но и это у него не получилось — дверь распахнулась, и продолжался невыносимый вопль «Ма-а-а-а-ак-си-и-и...», захлебнувшийся запираемой вслед за вбитым в камеру Слепухиным дверью...

...

С самым началом нового дня местный шнырь совком, смастеренным из лопаты-шахтерки, выгреб Слепухина в грязный коридор и там — этим же совком — собрал в кучу.

Сам же Слепухин никак этому не помогал. Дробить свое сознание на никчемные ноги-руки — значит уменьшать его могучую силу, и Слепухин смотрел только куда смотрелось, снизу, чуть в сторону, не переводя даже взгляда.

— Это цветочки еще, — побуркивало рядом, — еще наплачешься.

Показался урезанный невидимым пространством шнырь — наискось голова и плечо с дергающимся обручком руки. Оказалось, и не шнырь вовсе, а он же — Слепухин, вернее, какой-то кусочек его, проживший жизнь этим вот шнырем — понятный и чуть ли не родной. Шныря-Слепухина занимало одно только: обрезать еще пайки хлеба перед раздачей или оставить? нагрянет сегодня какая-нибудь псина или обойдется? И чего неймется им? То сами орут «поменьше-поменьше», то — про нормы вспоминают и душу трясут за каждый съеденный кусок, то «нечего этих мразей кормить», то вдруг — «почему, мразь, у своих же товарищей кусок воруеть?», пробуй угадай им, одно слово — псы бешеные...

Можно бы помочь ему, посоветовать, что сегодня опасаться нечего, но Слепухин чувствовал, что вмешайся он только — и пропадет вся чудесно обретенная сила его всепроникающего ума, что сознание его, вольно пульсирующее сейчас на свободе и даже не на свободе, а свободно и где угодно, сознание это может в любой момент скрутиться и упрятаться обратно в поганую тесную оболочку, уже не пульсируя, а судорожно сжимаясь, утискиваясь, перемалывая само себя.

Слышно было тупотение по коридору какой-то тяжелой сороконожки, вместо шныря обрисовался белесенький лейтенантик, и сразу же много-много сапог начало обминать где-то далеко от Слепухина его вялое тело.

- Разлегся дерьмом.
- Нет, каков пидер, а? Накаркал, падаль... Получай.
- А ведь точно накаркал — как грозил; ночью и скопытился Красавец...
- Ну, вставай, блевотина вонючая.
- Эй, ты чего смотришь? смотришь чего??
- Не трогай его — вона как вылупился. На Красавца тоже так смотрел, вперед как приговорил его...

И вовсе не этот испуганный лейтенантик пытается выскользнуть из-под взгляда Слепухина, а лейтенантик-Слепухин, всполошенный до подергивания губы, метается, умоляя судьбу к милости. Только бы не узналось никем про его участие в залете Красавца. Ну не змеюка ли, так обштопал? и все равно — не впрок. Бог хоть и далеко, но — шельму метит. Это же не Красавец, а лейтенантик-Слепухин присмотрел бабу. Да и что там присматривать было, когда сама заявила к нему: к мужу на свиданку приперлась, а муж-то в его отряде, и хоть конченный паразит, пробу некуда, но снизошел бы, поспособствовал бы им, чтобы через это бабе его глянуться (ух, хороша, паскуда), только вот и он не во власти помочь — на киче ее супружник. Вот тогда и возникла вороватая мыслишка — обкрутить: и как пошел тропки протаптывать, как запел! — вспомнить смешно, — и про досрочное, и про то, что сил не жалеет, а тут и вовсе не пожалеет, и из графинчика водички, и про то, что, может, выгорит еще со свиданкой — пусть, мол, не уезжает, пока он все опробует, и что выплакивать такие глаза не надо — также и узнал, где остановилась на квартире (поселочек весь — с гулькин нос, и все надо аккуратненько, чтобы и слушок не зазмеился — сживут ведь, здесь рисковать — себе дороже, но баба-то, баба — как с журнала зарубежного). Черт дернул с Красавцом по-корешковски поделиться (нет, какое там по-корешковски! хотел и предупредить, что, может, попросит на кичу передать чуток чего-нибудь и записочку от муженька взять, что, мол, отрядный — человек, все загнал по уму и чтобы, значит, не сомневались. Опасно, но и сейчас как вспомнишь ее — неважно)... Каково же было сегодня спозаранку услышать, что лярву эту вытащили с Красавцом вместе из машины! — угорели в гараже. А может, и впрямь петух этот приговорил?.. А что — все может быть. Надо поосторожней. Лейтенант-Слепухин о чем-то убеждающе просил, и, конечно же,

не было нужды в его просьбе отказывать, тем более что вроде получалось, что сам же Слепухин и просил себя, но не отказывать — это значит шевелиться, вставать, начинать управлять ненужным совсем телом...

— Ну вот так, правильно, чего же на стылом бетоне лежать? так и очко застудить недолго... Пошли... пошли живее.

Теперь и в самом деле стало холодно, и главное — сам Слепухин начал втискиваться обратно в свое прежнее логово, чтобы оберегать его и сторожить. А чего его сторожить? К черту!

Слепухин расслабился и с легкостью прекратил всасывающее вселение себя самого в ненасытные потребности лишнего ему тела (обойдется оно и само по себе). Выяснилось, что всякие простые надобности передвижений могут не Бог весть как, но выполняться самыми малыми вмешательствами. И не изнутри даже, а снаружи, и Слепухин опять воспарил свободно, почти и отделившись (или отделавшись?) от тесного узилища в обрешетке ребер, от ненасытной прорвы махоньких желаний и претензий всякой клеточки, всякой косточки, от цепей привычек и удавки памяти, что каждым толчком крови раздирали его могучее сознание в хаосе мелочей...

Он струился над заплыванным полом жарко натопленной подвальной дежурки, тесной сейчас от набившихся перед сдачей смены таких разных и таких родных в понятности своей работников лагеря (псов? волчар? зверья? — глупости: обычных слепухиных). Пятеро солдатиков и трое прапорщиков обступили в углу самого Слепухина и с боязливым любопытством рассматривали, подавая при этом советы, как тому управиться с грудой тряпья, полученного взамен рваного комбинезона. Труднее всего было со штанами, которые сидя надеть никак не удавалось, а что делать с оставшимся в лишних деталях бельем? — тут все советовали разное, пересмеиваясь, но пересмеивались тихонько и боязливо, за спинами друг друга.

Слепухин просигналил омертвелой руке откинуть к чертям лишние тряпки (откинуть не получилось — удалось сдвинуть только) и оставил ее с мелко подрагивающими пальцами опять без присмотра.

— Смотри, фарами своими залупал.

— Выдавить бы ему совсем штифты его, чтобы не сму-

шал, — тихонечко бормотнул черненький прапорщик-Слепухин прыщавому прапорщику-Слепухину.

Не трудно было спокойненько впитать их всех, что Слепухин и сделал тут же, но вчерне, не утруждаясь особенно деталями...

Двое молодых солдат заранее тосковали возвращением в казарму (не разжились чаем и, значит, быть битыми); еще один колготился, как бы достать черные петлицы к уже припасенным погонам (предстояло ехать в отпуск, и не лишнее примаскироваться — береженому и Бог дает); четвертый сооружал хитроумные ходы, чтобы смотаться в поселок за два километра от казармы (библиотекарша, конечно, никудашинка, но других-то и вовсе нету); пятый — все прикидывал: загонять в хату пачку сигарет или оставить себе? (зеки ведь такие мрази, еще и сдадут... но не возвращать же обратно пятак, что взял за услугу! опять же не загонишь — больше не разживешься); все трое прапорщиков исходили одним негодованием: псина офицерская, уселся бумаги рисовать, и, значит, накрылся завтрак, который всегда готовил шнырь перед концом смены, а всего досаднее, что сегодня козлы из лагерной кухни отвалили по-щедрому, видно, после прокурорского наезда от показушной кормежки наакопилось у них продуктов (эти трое были неженатики и обитали в общежитии, поэтому завтрак для них — кровная забота, а не прихоть с жиру да жадности, как у других, как, к примеру, у этого же псины, который свое все равно урвет где-нибудь — если не в комнате свиданок, то и прямо на кухне...).

При этом лейтенант-Слепухин о завтраке и не помышлял, полностью занятый исправлением в бумагах на упрятанных им сюда мразей (на всякий случай надо переделать рапорта, нарисованные второпях и как Бог на душу... формальность-то она формальность, а вдруг, например, начнут теперь проверять — за что он мужа лярвы этой закрыл? всем-то понятно, что здесь ему — самое место, но в рапорте лучше заменить «недозволенные сапоги с теплой подкладкой» на «сапоги неустановленного образца» или даже так: «нарушение формы одежды», нет, пусть будет просто «нарушение режима содержания»... Теперь не забыть — полкану на подпись постановуху с новым диагнозом, и с этим рогоносцем покончено... впрочем, есть еще его объяснения, ну да кто же писуль-

ки их читает?.. нет, лучше в постановухе нарисовать: «от объяснительной отказался»... теперь следующий...).

Слепухин оставил их всех и, раздвигая границы своих способностей (или осваивая эти неизвестные границы), единым духом просквозил по всему упрятанному в камень строению, в котором сейчас 197 измерзшихся слепухиных накручивались нетерпением в ожидании утренней шлюмки кипятка, а еще шестеро из самой дальней буровской хаты о кипятке не вспоминали. Этим сейчас было не до того: пятеро загоняли в угол шестого, пока только словами, но слова все больше тяжелели — малейшие промахи раздувались до непростительных «косяков», а испуганные попытки оправдаться самой своей испуганностью вызывали справедливое презрение и выхлестывали в открывшемся направлении изрядно накопившуюся злость. При этом все пятеро бедолаг слепухиных старались заглушить праведным гневом немаловажные соображения о другом разделе маленьких ежедневных паек, если этого чертяку загнать в стойло, а шестой бедолага Слепухин на глазах терял всю силу отпора именно потому, что более всего скорбел об утреннем наперстке сахара, который может сейчас вот потеряться безвозвратно... Слепухин и в других хатах БУРа и кичи усмотрел бы много интересного для все возрастающей своей любознательности — не одну только жажду согреться крутым кипятком, — однако оставленное в углу дежурки обмякшее существо чем-то еще держало его, не пускало вырваться в совсем уж свободный полет, и Слепухин вновь закружил в накуренном пространстве дежурки.

Не имея иной пищи для себя, кроме заполнивших дежурку слепухиных, он с менее рассеянным вниманием принялся перебирать что есть...

Маета серой казармы со всепроникающим ароматом хлорки ничем не зацепила его, а именно этой маетой уже и начинали подергиваться солдатики. Прапорщики тоже все неотступней переносились на пару часов вперед, в задрипанное свое общежитие, в котором они, оказывается, тоже жили семейками — по семейке в комнате, и были у них свои авторитеты, свои черти и даже — свои козлы. Расхристанные комнаты с залежным бельем на кроватях и журнальными красотками по стенам (в основном из журналов мод — где ж достанешь иные? да и достань — замполит-волчара сорвет тут же, может, и с погонами вместе;

пришивай потом наново). Остатки еды на столе, куча мусора, загороженная веником, фантастические мечтания о какой-то начавшейся внезапно красивой жизни в каком-то большом городе, и все эти мечтания вперемешку с боязнью выездов в соседний город, с растерянностью на шумных улицах, по которым ходят как попало слишком много людей и у всякого руки вольно болтаются, а не в безопасной сцепке за спиной... А над всем — задерганная нужда, потому что триста с гаком — какие это деньги? чего на них купишь? даже выпить — не каждый день, а не выпить — так что же делать в поселке этом, который ведь тот же лагерь?.. вот из-за вечной бедности этой и шныряет по комнатам неистребимая ревнивая зависть к тем, кто умудряется половчее на лагерных мразях свое урвать, свои макли навести — в зоне ведь тысячи под ногами лежат, только умей взять и умей следы замести... Задержавшись немного в комнате черненького прапорщика, который обнаружил вдруг за собой склонность мочиться в постель и боялся оставлять без себя комнату, чтобы не открылось... углядев в чемоданчике прыщавого прапорщика зоновские поделки, припрятанные от семейки для единоличной нужды... осмыслив напирющую горячку третьего, который вызвался сторожить в красавцовом гараже совсем голенькую (го-о-оленькую!) телку, пока начальство решит, как там с ней дальше (не брать же ее в дом на один стол с Красавцом!)... — Слепухин оставил их добивать смену без себя и переместился к лейтенанту.

Лейтенант-Слепухин одновременно с наведением марафета в бумагах пытался угадать: испортит хозяин предстоящие выходные дни или даст отдохнуть? Впрочем, еще неизвестно — что лучше... В город смотаться не выйдет: жена устроилась наконец-то в школу домоводство преподавать, а ему из-за ее дури придется этим же домоводством дома заниматься... Некогда любовно оборудованный кабинетик сейчас уже не согревал сердце. Письменный стол с налетом пыли, ковер, утыканный наполовину заброшенной коллекцией значков, груда книжек, так и не ставшая домашней библиотекой... Зевнуло нутро письменного стола, оборудованного крепкими запорами (жене пояснено, что от детей, что оружие, а откуда бы оружие взялось?) — несколько колод игральных карт в фотографиях, но не для игры, конечно, а для укромного глядения, финки-ручки, пистолеты-зажигалки, всякая иная зоновская продукция — это для подар-

ков и продажи, но не здесь, а в отпуск, случайным людям как неплохое подспорье... Можно бы и рискнуть и развернуться с этим товаром, но не с лейтенантскими звездочками — хотя бы одну большую сначала выслужить... Нет, дома делать совершенно нечего... А если еще выплывет что-нибудь про всю эту бодягу, Красавцом попорченную?.. Вот — зар-раза! Как же он раньше не вспомнил: Марина-то теперь из поселка уедет, и что же ему делать? А как хорошо этот год все было, и Красавец, лопух, ничего не подозревал: корешки, и вроде все — шито-крыто. Теперь же совсем никакой отдушины не будет — одна только бессмысленная серота...

Тоска вытеснялась злостью, а та, в свою очередь, искала, на кого выплеснуть, искала виновника такой вот непрахуи... Все с роносоца этого пошло и бабы его... Ну я ему заделаю!.. Он у меня покорячится...

Тут прояснилось, что виновник лейтенантских бед ведь и не знает ничего еще — вот где возможность сладостной мести, чтобы покрутило его, чтобы и ему жизнь маслом не стелилась...

— А бедолага этот и не знает ничего, — (раздумчиво, негромко и никому лично), — все же горе у человека, может, хоть вывести — покурить дать?.. Оно, конечно, нарушение, но ведь и горе какое...

— А в какой он хате? — встрепенулся солдатик, так и не решивший еще про измятую в кармане пачку сигарет (Слепухин, невольно следуя голосам, опять погрузился в себя-солдатика)... Вот ведь удача повернулась. Хата — по соседству с нужной. Ничего, передадут сами, а я вроде сделаю, как обещался...

В коридор за солдатиком Слепухин поленился и, покружив еще немного над лейтенантом, с прощальным сожалением нахватался частями от пышных прелестей Красавцовой жены...

Все вроде бы в дежурке этой было просвечено (мелькала и шебуршилась разная живность в углах и под половицами, но слишком уж резво — не угонишься). С ленивой скукой Слепухин несколько отстраненно просыпал сквозь себя в разных комбинациях все те же живые свои осколки — такие разные и такие одинаковые.

Да, да — одинаковые, и не только тем, что все они, хотя и каждый по-своему обмятый и обточенный, не что иное, как он сам. Как бы ни блистали отдельностью своей и непохожестью эти слепухины, ясно высвечивала их общая грань, общая осно-

ва — работа. Все, что искрилось, пузырилось, металось, все это размещалось в строгом узоре магнитным действием их единой основы. (Под окаменелостью слежавшихся лиц, тел — в основном женских, — под киношными обрывками, страницами рекламных красоток где-то в задушенном детстве лейтенанта отлистнула страничка школьного учебника — железные опилки правильными линиями улеглись возле магнита.)

Работа всем этим слепухиным вывернулась даже не самой существенной частью их жизни, а единственно содержательной ее частью. Остальное все — ломтики времени после работы или до работы. Никаких не было особо мудреных соображений по этому поводу, никаких фанатичных загибов и воспарений о труде, долге или ответственности перед народом (хотя при случае, приняв чрезмерно или после фильма соответственного и непременно трогательного, бывало, и цеплялись не слишком шибкие языки за слово «органы», вытягивая из него что-то такое... волнующее). Просто-напросто — работали они свою мужскую серьезную работу. Можно даже сказать, что это — их ежедневный праздник, хотя бы потому, что во все почти календарные праздники приходилось работать (зеки ведь в неистребимой испорченности своей норовят именно всенародные праздники изгадить чем-нибудь, поэтому — дополнительные наряды, специальные меры, особая бдительность)...

Слепухина явно не насыщали впечатления, которыми он здесь прозябался. Покопавшись поглубже в подвернувшемся солдатике (в том, что последние дни пролистывал кипами журналы, подбираясь к библиотекарше), отыскал Слепухин и похожую со своей ситуацией: здоровенная акула, не видя, что она распорота почти поперек, продолжает жадно пожирать все, что можно ухватить, и все сожратое — ясное дело — вытряхивается обратно без задержки...

Нетрудно было и осознать, что всему виной разделенность его с небольшой, но, видимо, необходимой частью себя, которая упорно цеплялась в жалкую грудку тряпья и костей на полу дежурки. Тоненькой связи с недостающей этой частью не хватало, и если не удастся выманить необходимое ему из этих ненужных обломков, то великодушный (или заскучавший) Слепухин готов сам сделать благородный шаг к единению. Почему бы временно не передохнуть в прежнем при-

станции? (Заодно и привести в относительный порядок это рассыпающееся тело.)

Слепухин понял, что именно его личной маленькой памяти и не хватало для полного завершения себя (заткнулась дыра, куда безудержно проваливалась всякая новая пища). Но память эта, ухватившись цепкими щупальцами, готова размять все чудесные его способности: тянет лабиринтами каких-то неисчислимых ошибок, узкими потемками всяких желаний, расплющивает тупиковыми стенами неисправных уже уверток, предательств и подлостей, зализывает тут же ушибы липким обманом самооправданий, обклеивает пластырными путами и неудержимо тянет дальше по разным перепутанным ходам одновременно, раздергивает дальше в крохотные колотящиеся кусочки, бессильные в своей крохотности...

Ужас предстоящего существования вздыбил каждый его ошметочек единой яростью. Нет! нет! нет! Назад! Скорее назад! Пусть лучше бездонная усталость ненасытности! Пусти же, пусти! Пропади пропадом это мятое тело! Пусти, драный мешок! Ну, отцепись же! — я не оставляю тебя совсем... помогу... я даже больше смогу помочь снаружи, чем отсюда... Нет! нет! нет!..

— Нет! Нет! Нет!

— Чего это он заходится?

— Двинь его...

— Я тебе что — камикадзе? Сам двинь.

— Может, сигарету ему дать?..

— А он не берет...

— А если водой облить?

— Это уж ты сам попробуй...

Слепухины поглядывали на обмякшее опять тело и отходили от переполошивших их воплей...

Совсем оставить эти кости не получается, и придется теперь присматривать за ними постоянно, но главное — не забывать о безопасном расстоянии...

— А как глазами-то засверкал...

— Припадочный.

— Вот это — в точку. Припадочные, они все — с дурным глазом.

— Вот приручить бы его, чтобы по указке: кого тебе надо — того он глазом своим и приговаривает.

— А тебе кого надо?
— Да уж нашел бы...
— А, может, все это еще и ничего такого?.. Совпадение просто?
— Ты слышал, как он вопил? Почти целый час без передыха. Ты смог бы так?
— Не пробовал.
— А вот попробуй — тогда и говори... Совпадение ему...
— У нас, помню, кабана кололи в деревне — так тот дольше вопил.
— То — кабан... этого же — не колют...
— Может, его уже закололи?
— Чего ж он сейчас именно завопил, а не раньше?
— На тебя посмотрел — и завопил.
— Он вчера тоже громко вопил, а потом морг глазом — и нету Красавца.
— Ты эти смехуечки оставь, а то — сам завопишь у меня...
— Какие ж это — смехуечки? Догадался, что ты бабу сторожить напросился, и вот — вздумал порешить тебя...
— При чем здесь баба?
— Так они с Красавцом бабу эту и не поделили.
— При чем тут он?
— Вот, пень!.. Это ж его баба — на свиданку приехала. Тебе лейтенант говорил, что горе у него... чтобы закурить дал...
— Лейтенант это не про него... Что ты мне мозги компостируешь?
— Про него, про него... Ты растащился, как бабу его обтравивать станешь, и не усек... А он — усек...
— Ну, я с тебя в общаге за базар этот спрошу...
— Поздно уже — теперь он с тебя спрашивать будет.
— А ну — прекратить ржачку! Давай... на вахту его...
— Эй, ты... давай... поднимайся...
— Подогни коленки-то, чучело...
— Ну, вставай-вставай — хозяин, он ждать не будет...
Уже на выходе почти из длинного прямого прохода, что соединял дверь подвала и толстую, будто от сейфа, дверь в зону (много-много мелких шажочков: качнулся — шорк, качнулся — шорк...), у самой этой сейфовой двери Слепухин чуть было не метнулся назад, увлекаемый порывистым разворотом лейте-

нанта, неожиданно остановившего вереницу слепухиных: «Я — сейчас... забыл взять...» (и не взять забыл лейтенант, а забыл посмотреть в глазок — как там рога носец этот корежится...). Плохо соединенный в разболтанных сочленениях Слепухин норовил оплыть вдоль стены, и пришлось поддержать его, подвздернуть слегка, пока лейтенант управится со своей заботой, — тут уж особо не пометаешься...

— Опять забыли?

— Что забыл?

— Взять забыли.

— Что взять?

— Ну то, что забыли. («Никак у него крыша поехала».)

— Перечифирил, что ли? («Может, у него крыша поехала?»)

— Кто перечифирил?

— Кто-кто? Пушкин — вот кто. («Ну его к черту!»)

— Ну и черт с ним, с Пушкиным. («Ну его к черту!»)

Выравшись из-под подвальных плит, Слепухин никак не мог совладать с собой — открывшийся простор тянул его распластаться повсюду, но приходилось сдерживаться, помогая своему же обрубку колыхаться, проталкиваясь по чуть-чуть сквозь снежную крупу к могучему строению, которое замыкало неохватное объятие высокой лагерной ограды. Из середины его торца ограда начинала свой путь, дальше — пряжка ворот, потом ребристая вышка заворачивала ограду в первый изгиб, дальше другая вышка изгибала ее еще, дальше — и не углядеть уже, а в конце пути ограда утыкалась в другой торец здания. Представлялось полным совершенством картинке, что и сквозь кирпичную трехэтажку ровненько по серединке ее проходит каменная высокая кладка с колючкой поверху и фонарями через равные промежутки. Внутри каменной ограды еще несколько змеистых колец: дощатое, опять каменное, из железной сетки; все это укрепление — обруч запретки, вбитый на готовую разорваться зоновскую бочку — все оно, если охватить его так вот, единым взором, покоряет своей серьезностью и продуманностью (видно, немало умных голов поработало, чтобы специальными инструкциями единообразно улучшить везде и всюду простую и древнюю идею забора).

Слепухин покружил вдоль кирпичных стен здания, куда вечно держала свой путь ограда и куда (может, тоже — веч-

но) слепухины, утепленные шинелями и тулупами, сопровождали изодранного Слепухина. Повсюду на стенах, и со стороны зоны, и в сторону от зоны, — плакаты, лозунги, портреты... в общем, похожее на то, что везде... вот разве только подозрительно много выписок о гуманности и справедливости закона, власти, партии всей и отдельных ее представителей... вроде художник старается упредить возможные сомнения по поводу, например, справедливости лично того вон козла на втором портрете (упаси Боже сомневаться в справедливости вообще...) и вот как раз этим старанием упредить, этим вечным шныревским угодничанием и возбуждаются те самые сомнения, которые...

Пришлось все-таки ему поднимать Слепухина из снега, оживлять наново — с этим мешком под ногами и не оглядишься как следует...

Медные звуки вострепинули Слепухина подняться повыше, насколько хватало, не упуская в растяжке норвящее ускользнуть обратно в колени плечо.

За железной решеткой зоны набухала, разрастаясь, темная масса и, подчиняясь оглушительным звукам, втягивалась плотным комом в открытое горло калитки, а калитка ровно перекручивала этот кусок в одинаковой ширины изгибистого червяка. Чуть дальше, за несколько метров от калитки, размеренным ножом руки, охваченной повязкой ДПНК, офицер-Слепухин разрубал грязного непрерывного червя в маленькие части отдельных бригад. Но червь не погибал под рубящим ножом, и тянулись себе дальше, извивались отдельные кусочки его бесконечным движением — исшинкованный червяк полз, как полз бы и целый, слепо и бесконечно, тянул тысячу маленьких слепухиных в своем мерзко извивистом теле. Каждый клочок выскребывал в воздухе своим проползанием пустой коридор, и вот в него уже втягивается следующий обрубок, и пустота заполняется плотно злобой и ненавистью... Вот эти выделения уже готовы выхлестнуть в стороны, искорежить все вокруг, но медным бичом бодрый марш захлестывает липкую ненависть обратно внутрь, и там она ядовито разъедает ее же выделившую плоть. Сама выедает эту плоть до острых зубьев бессильного страха и снова — зубьями страха — выскребывается в пространстве пустой коридор... Не скоро иссяк материал, из которого вылеплась доводящая до тошноты

мутная живая лента, но втянулся в нее последним огрызочком последний слепухин, и уполз, подбирая хвост, грязный червяк. Стоял только в умолкшем сразу мире длинный извивистый шрам с липкими краями — желоб, по которому оживленный новыми звуками, проползет другая (или, может, та же) пресмыскающаяся тварь... А сам желоб останется подгнивающей по краям осадной навсегда...

Слепухин помог вконец умаявшимся сопровождающим поднять себя на крыльцо, втиснуть в дежурную часть и затолкать в боксик, который и приспособлен в дежурной части для таких вот надобностей. Теперь-то Слепухин мог и передохнуть — за крепкой дверью, наглухо зажимавшей бетонный стакан, ничто не грозит ослабшим до непрерывного дрожания костям. Можно и вообще оставить их тут осыпавшейся поленицей на самом тоненьком пригляде.

С поспешной жадностью изголодавшегося Слепухин набросился на капитана ДПНК, вернувшегося к основному месту своего дежурства — за пульт.

— Видел, как вы нянчились с этой мразью, будто с дитенком родным... Что, нельзя было побыстрее? Не могли на сапогах прифутболить эти отбросы?.. Развели тут телячьи нежности...

Капитан-Слепухин ни о чем не мог думать спокойно и хоть сколько-нибудь продолжительно. Сейчас придет хозяин, и то ли все обернется дружной ржачкой, то ли — сто шкур одним только холодным потом сдерет... Черт, обещал младшенькому тоже наручники принести и совсем забыл, теперь поздно, дома будет море слез, ревности, обид... Дернул старшому эту игрушку подарить — ни минуты спокойной... В штабе вроде порядок — шнырь сегодня навел марафет как положено — только петух этот в боксике уделаться может... погонят ведь кобелине готовить место на кладбище... ну, гроб там и венки с лентами — на промзоне свои умельцы сляпают... вот наказание... А еще с подстилкой его разбираться... везти куда-то... нет, сегодня точно не отдохнешь... Я бы кобелю этому собственноручно яйца оторвал, если бы наперед знать... А что, если точно, как эти слухи шепчутся? если петушара приговорил?.. Хорошо, что с ним уже валандаться другой смене — ну его к черту. Посмотреть, что ли, как там упрямый знахарь в хозяевом кабинете?.. Может, загнулся уже в бок-

сике? или изгадил все? А ну его, — там в боксике унитаз — не обделаешься, а если загнулся, так хозяин сам его определил, с субботы еще, без питья и хавки... подопрет — и из унитаза напьется... До чего же залупистый старикан этот дед Савва... ничего, наш и не таких удельывал... обломается...

Занудливый капитан все прокручивал и прокручивал тот же бесконечный ролик: хозяин... кобелина... петушара... наручники... Изредка мелькала новая деталь: сожаление о недостижимой к близкому уже профессиональному празднику майорской звезде, но и в этой новой детали прежним оставалась все та же унылость сожаления. Один раз промелькнуло сожаление о неудачно выбранной подруге жизни, хоть выбору этому и не упомянуть сколько лет, но спутница жизни обязана была делить... нести (ничего вразумительней по поводу того, что же надо было делить и нести, не обнаруживалось). И опять закружилось прежнее в бесконечном повторении: петушара — наручники — хозяин — кобелина...

В дежурку набивались окончившие смену и подходили заступающие на смену. Огромное пространство за отгораживающим капитана барьером заполнялось тулупами, сапогами, валенками, полушубками, шинелями. Но все, что шевелилось в дежурке, виделось только в промельке, будто с карусели, — шелестели бумаги, долетали обрывки слов — капитан все мотал и мотал Слепухина неостановимым круговым маршрутом, измочалив и выпотрошив неузнаваемо, — не было сил, да и не хотелось выскальзывать уже из убаюкивающего: к сожалению... к сожалению... к сожалению...

Внезапно в дежурке стало трудно дышать, будто весь воздух разом выпили и будто в придачу от этого питья все разом забалдели. Неожиданное разрежение подобострастия и идущая следом волна трепета сорвали капитана с его гипнотического верчения и одновременно вырвали из-под того же гипноза Слепухина — совершенно измудоханный, он шлепнулся прямо под зеркально сверкающие мягкие полусапожки совсем не военного образца и поэтому вызывающие какой-то отдельный трепет. Далеко вверху, у потолка, кучерявилась серебристая папаха.

Слепухин нашел силы подняться и, подтягивая обморочно обвисающие части, всплыл к самой папахе, намереваясь на ней и угнеститься. Однако хозяин-Слепухин испускал вол-

нами такую густую злобу, что от одного запаха с ее резко выделенной кровинкой Слепухина все время сносило в сторону. Хозяин совсем не был высок, пожалуй, он был и пониже всех здесь, но сейчас все как-то пригнулись, умялись, и этот исполнительный изгиб плюс к торчком вздымающейся папахе давал хозяину возможность возвышаться в великолепии набухающего гнева над всеми этими... над этими... (в штрафбате им место! в говнороях им место!).

Мутный гнев бурим потоком накрыл хозяина с головой, выше глаз пузырясь, начал заполнять папаху, и та выторкнулась еще выше, еще на несколько метров возвысив приземистого полковника. Хозяин снял папаху, выплеснул в дежурку ее вонючее содержимое, пристально глядя, не ухватится ли кто-нибудь за нос, не начнет ли сдергивать противогаз со стенда на стене, как раз о таких атаках предупреждающего. Никто не шевельнулся, и хозяин, пригладив остатки сивых волосинок, открыл рот.

Предыдущая тишина была тишиной перед артподготовкой. Из могучего дула загрохотали безостановочные залпы, и если не хозяин, то Слепухин точно видел, как все в дежурке попадали, вжимаясь в грязный пол, прикрывая затылок руками, спасаясь от яростного минометного огня.

Сам Слепухин вначале взлетел, распластавшись на толчке, припечатанный к нему снизу, и никак не мог проскользнуть в безопасное место сквозь плотный поток снарядов. Потом он все же провалился в случайную паузу между залпами, но не спасся, а попал в суший ад — его мотало по дежурке, растирало по стенам, тянуло вдоль всех плитусов, плющило под ногами остальных слепухиных, попавших с ним в одну беду, и наконец-то, сжавшегося в комочек, затолкало его за огнетушитель, где он долго еще вздергивался от звонких попаданий по красному цилиндру...

Когда дежурку залепило оглушительной тишиной, Слепухин попытался выбраться из своего укрытия, но это оказалось совсем не просто. Все пространство дежурки было плотно утыкано разнообразными и кошмарными детородными органами самых неожиданных млекопитающих в самых невозможных сочетаниях. Все они, выпущенные сюда в залпах полковника, шевелились, поскрипывали, перемещались по дежурке, соединялись в невообразимых комбинациях — обживались и не со-

бирались никуда деваться. Поднявшиеся с пола и отряхнувшиеся слепухины тыкались в какой-нибудь пупырчатый снаряд под ехидным взглядом хозяина и готовы были сами подхихикнуть этому взгляду (ведь, право, это уже не страшно, это вроде отцовского шлепка... самое страшное позади...).

Наконец-то и Слепухин достиг необходимой ловкости в передвижениях по плотно заселенному на всех уровнях помещению.

Хозяин, стоя рядом со стулом, где раньше сидел ДПНК, быстро расправлялся с утренними обязанностями. Слепухин подрагивал рядом с ним и в своей затравленности не успевал ни на чем серьезно сосредоточиться.

Одной рукой хозяин брезгливо переключал бумаги, а другой — расправлялся с находящимися в комнате. Не глядя, он ухватывал первый попавшийся под эту руку из ранее выпущенных снарядов и запускал в ожидавших своей очереди на этой планерке. Уже ушли солдаты и прапора, сдавшие смену, и готовились к выходу — заступившие. Хозяева бомбардировка, к этому времени весьма ленивая, не производила на заступающих в наряд никакого впечатления — грозные и все еще довольно меткие удары отскакивали от них без малейшего вреда, и теперь уже вторично использованные и потерявшие убойную силу заряды из хозяевской обоймы жалобно опадали на пол.

— И никакой поблажки зекам!.. Помните! обцифренный зек прыгает на семь метров в любую сторону!..

Наконец вывалилась толпа с утреннего инструктажа, придавливая скрипящие под ногами и совсем не страшные уже останки хозяева гнева.

Бравому оперу досталось несколько больше других и самое неприятное: именно ему и была поручена вся гнусная каша с Красавцом для расхлебывания. Опер ничем не выразил своего неудовольствия под пристальным взглядом хозяина, но, уходя, так засаживал сапогами по валяющимся кучками ошметкам недавней стрельбы, что ошметки эти вновь взлетали почти с прежней скоростью, рикошетили в стену, возвращались кружить вокруг опера да так, дымясь над ним, с ним вместе и исчезли в дверях (пожалуй, этого позаимствованного оружия оперу хватит на всю предстоящую смену, да и для дома, может, останется).

Теперь-то Слепухин осмелился подняться повыше в освободившейся комнате, правда, все еще произвольно поддрагивали разные его части, мешая отдаться давешнему ровному и свободному пульсированию.

Хозяин все так же стоял рядом со свободным стулом, а перед ним (перед барьером), вытянувшись «смирно», но не застыв, а продолжая внутренне вытягиваться, исходил отрядный Боря. Слепухин, оглядывая лейтенанта Борю со стороны и решая, стоит ли им заниматься, видел, что снизу до пояса лейтенант и вправду стоит «смирно», а верхняя его половина чуть изогнута в сторону хозяина и от этого движения и без того немалый зад сейчас совсем растопырился, раздвигая шинель и привлекая веселое внимание остальных здесь офицеров.

— Никакого такого колдовства... я не потерплю, а разговоров — тем более, — вдалбливал хозяин отрядному. — Или, может, по науке что не так? Скажи свое мнение, медицина, чего примолк?..

— Ну какое может быть колдовство? — махнул рукой майор со змейками в петлицах.

— А, да что твоя наука понимает? Ты мне болячку вон простую извести не можешь... Значит, так! — Хозяин снова уставился в отрядного. — Получи на петуха своего валенки и что там еще есть для теплоты и пристрой куда-нибудь.

Совсем уж лениво хозяин уцепил, наверное, последний из жужжавших возле искривленный придаток и шлепнул его совершенно беззлобно в лейтенанта, но тот и стряхнуть не посмел даже — так и выпятился с прилипшим к уху ошметком.

В комнате, кроме Хозяина, остались трое офицеров, и по расстегнутым шинелям и относительно вольным движениям было понятно, что никакой особой стрельбы более не ожидается. Хозяин присел на самый краешек стула и как начал морщиться, приседая еще, так и продолжал, уткнувшись уже в бумаги. Майор-медик, стараясь не помешать полковнику шумом, там же за барьером наливал себе чай. Оставшиеся двое уселись ожидать хозяина от его бумажных занятий.

Слепухин совсем уже отошел и сначала медленно — пробно, — а потом, входя в прежний ритм, закружил по комнате.

Длинный майор все никак не мог пристроиться, все скрипел стулом, не в силах выдержать такое вот томительное пус-

тое время. Слепухин качнулся к нему, привлекаемый его нетерпением. Однако обжиться в этом прелюбопытнейшем экземпляре было не так уж просто. Заместитель хозяина по режиму, дедушка-Слепухин более всего походил на до предела захламленный дом из каких-нибудь негритянских трущоб (по крайней мере как сам же дедушка эти трущобы представлял) — многочисленные клетушки, никак не связанные друг с другом, глухие чуланы с неожиданными дырами в трухлявых стенах, все время натыкаешься совершенно неожиданно на совсем неожиданное... Можно только восхищаться, чего не понатаскал режимник в себя за долгие свои годы, продолжая и сейчас ту же таску с неутомимостью прыщавого курсанта...

Главное, что тут же захватило Слепухина, — неумная фантазия режимника, которая нисколючки не поистрепалась за почти уже сорок лет энергичной службы, а наоборот, поистрепала, поизмотала всех и все своим молодцеватым сквозняком. Сейчас майор всей штормовой силой своей фантазии пытался вылепить замечательный подвиг с обязательным воспитательным и назидательным окрасом. Это не был первый подвиг в его жизни, но это должен был быть подвиг в духе времени (как и прежние — в духе своего времени), подвиг, который так и притягивался на цветастый разворот иллюстрированного журнала. И название большими буквами, что-то вроде: Краткий рассказ о том, как заместитель начальника ИТУ по режимно-оперативной работе, который за сорок лет беспорочной службы... ну и так далее, в общем, спас жизнь неисправимому и отторгнутому от общества отбросу, проявив истинное милосердие пламенного чекиста... — ну и дальше в том же духе. А потом мелким шрифтом и подробно, как заместитель начальника ИТУ по режимно-оперативной работе (здесь можно портрет в строгом плане, впрочем, лучше — полустрогом, с улыбкой... не забыть зубы вставить...). В общем, авария там или просто драка... сам принес на руках в медчасть (желательно, чтобы мразь попала маленькая и жалкая), отдал свою кровь... нет, кровь — это слишком, пусть лучше кожу после ожога с моей задницы ему на морду... нет, в этом и вправду что-то есть: с задницы чекиста на рожу преступной мрази... даже символ, пожалуй?..

— Ты чего это развеселился?

— Да нет, Васильич, это я вспомнил тут, — утихомирил себя майор-Слепухин.

— Вспомнил он... — Хозяин еще раз с подозрением глянул на своего зама. — Весело ему...

В общем, майор-Слепухин хорошо себе представлял эту статью в журнале, ну, детали разные он, конечно, недодумал сразу все, но в целом — поучительный должен быть матерьял и как раз в духе нынешних призывов к милосердию и заодно как бы смыывает разные мерзкие намеки на всю их службу, в которой, конечно, встречаются тоже всякие... вернее, встречались...

Где-то в замороженном закоулке уже долгие годы лежал непогребенный и даже не оплаканный еще единственный сын. Его нашли по весне, когда сошел снег, искромсанного, видимо, в предупреждение отцу (или в отместку), но в то время режимник был занят каким-то очень важным соображением по полному искоренению преступного мира с помощью остроумного психологического воздействия с помощью остроумия... В общем, главное — раздавить всякие их о себе воображения: мол, я! я! Я те и то! я те и это! раздавить и выдавить всю эту гниль, но не голой силой, а по-умному... так сделать, чтобы они этот гнойник сами себе выдавливали, а здесь лучше всего — смех... Здесь надо так обсмеять, чтобы они и не замечали сразу, что шута играют по указке, чтобы прижать чуть-чуть и отпустить и тут — смехом, потом еще прижать посильнее... В общем, тут наука и даже искусство, и не всякому доступно...

Столкнулся Слепухин в путанице насыщенного майорского воображения и с его женой, которая в основном жила себе отдельно и незамечаяемо для мужа в каких-то своих глупостях. После гибели сына майор впервые за несколько десятилетий обратил на жену внимание и занялся ею исключительно из альтруистических соображений, впрочем, эгоизм ему и вовсе был несвойственен. Тогда он устроил ее в лагерную школу преподавать физику (только это место и оказалось свободным, а премудростей для целеустремленной натуры, каковой должна быть жена чекиста, ни в чем особых таких быть не может). Сначала старушка боялась своих учеников как чумы, а потом все больше начала приставать к мужу, угаривая послаблять им, лопоча что-то о том, как им трудно и какие они жалкие, но майор-то точно понимал, что мрази эти ее попросту запугали. Никакого внимания он на просьбы жены не обращал, да и забыл о ней вскоре, и опять она переселилась в разную свою ерунду, до которой майор и не касался

совсем. Беспokoило именно то, что непонятно было — с чего это вдруг жена влезла в мысли и, как ей свойственно, все искамкала? А... вот оно... Тишком вздумала его обойти.

— Надо сообщить на КПП, — захихикал майор — моя дура попрет сегодня две плиты чая. — Об этом режимнику сообщили его личные мыши из школы. И, поймав удивленный взгляд хозяина, пояснил: — Ей там в школе какую-то ерунду делали, чинили что-то, вот она и пообещала. В общем, пусть ее обшмонают...

— Смотрю я на тебя, медицина, — хозяин перевел глаза с майора-режимника — в бумаги и оттуда — на майора-медика, — совсем ты у нас бардак развел. — Голос его начал вибрировать, угрожая возможным залпом. — Что ни день — больше двадцати человек освобождены от работ. Здесь что — санаторий? Здесь что — клиника?!

— Но ведь все по нормам, все по нормам, — зачастил, забеспокоился медик. — Не больше одного процента... ведь у меня — не больше...

— Сморкал я на твои нормы! Ты что, газет не читаешь?! В стране идет революционный подъем... — (погромыхла неприцельная пальба). — Сколько у тебя мест в изоляторе?

— Шесть шконок.

— Вот и все. Шесть человек в день — и все. Кто не может работать — лежат в медсанчасти... А то развел тут... понимаешь... Здесь лагерь, и жрать не работая могут только сторожевые овчарки... и я еще. — Хозяин дождал смеха на свою шутку. Потом дождал тишины. — Так-то, медицина...

— Нет, это тебе Васильич правильно указал, — повернулся всем туловищем подполковник. — А то ведь что получается? Человек на воле не может больничный получить, вот дочка моя, к примеру, — полдня отстояла — так и не дали... А тут — пожалте тебе... чуть болячка и уже — освобождение. У нас в стране как? — Толстый обволосенный палец направился в потолок. — У нас кто не работает, тот не ест, так то — в стране, а здесь и не страна даже, а трудовой, — палец вздернулся выше, — трудовой лагерь. Тут даже если ногу тебе, к примеру, отрубило как-нибудь — ползи все равно на работу, потому что...

— А мне вот мысль пришла, — прервал подполковника режимник. — У тебя, Петрович, они в основном чем болеют?

— Да всем... Ну и много гнойных — витаминов не хватает, вот и получается так: ранка там или что... и гниет, потом и по всему телу...

— Это пустяки: что сгниет, то не сгорит... Я вот думаю, что лечить их всех без разбору нечего. Кто выйдет, тот вылечится... А надо нашему Петровичу повышать свое мастерство и, значит, поднимать авторитет нашего учреждения... В общем, надо ему что-то такое сделать... ну, там сердце пересадить... Ну или еще что... В общем, надо Петровичу подумать над этим...

Слепухин, кружась над беседой, приостановился, вбирая в себя раздергивающегося до жалости майора-медика.

Тот обтирал платком плешивую голову и нутро шапки, стараясь не вздергивать пальцами. На режимника лучше не смотреть. Точно «фронтальная лоботомия». ...Петрович вспомнил, что прозвище пошло от этого упрямого дурака — Долотова. А Долотов лежит у него в изоляторе, вчера доставили из ШИЗО после вскрытия вен... И ничего он для него сделать не в силах — сегодня же хозяин погонит обратно в ШИЗО. В подвале, конечно, загниет... Но ведь он ничего сделать не может, у него никакой нет власти... и зря дочка его так... Тоже нашла моду! возмнила про себя черт те что... Приедет на два дня и ни слова, только книжки и журналы всякие подсовывает... Она, видите ли, его осуждает. Его? Родного отца? А откуда она сама, такая умная и такая хорошая, взялась? На какие такие шиши она все эти новомодные журналы и книги покупает?! И еще всякие подметные и нелегальные книги таскает в дом! Вчера подсунула засаленные листки... «Звезда утренняя, звезда светлая». Теперь ей, значит, такие звезды светят... Дрянь всякую читает и смеет отца родного осуждать!.. А кому-то надо и здесь работать! Да, надо! Кому-то надо, засучив рукава... Господи, доченька моя... ведь я ни на что другое уже не способен... ведь я уже давно и не врач никакой: мой фельдшер больше меня понимает... Куда же я пойду? Где мне еще будут столько платить? Да ты же сама, мерзавка сопливая, без моих денег первая, как подстреленная, закружишь...

Петрович уже плотно закопался в теплых мечтах, в мягком домашнем кресле, среди милых ему филателистических причиндалов перед кипой кляссеров, и это навевало на динамичного Слепухина зевотную скуку. В то же время толстый

палец подполковника, колбасно перетянутый дважды тугими складками, сулил не Бог весть какое, но развлечение. К сожалению, сам подполковник напрочь забыл, для какой надобности выторкнулся его многозначительный перст.

Слепухин вместе с ним хмуро глянул на режимника, сбившего тонкую мысль своими попрыгучатыми фантазиями, потом медленно снял шапку и запустил оставшийся не у дел палец вместе с остальными четырьмя в густую седину. Эта красивая седина была особой гордостью замполита, и мысли его привычно перепрыгнули к сожалению о том, что совершенно несправедливо такое положение вещей, когда полковник обладает папахой, а подполковник вынужден носить позорную шапку. По управлению среди множества разных слухов пробивался и милый сердцу слухок о скором изменении формы, и вот тогда-то, возможно... Ох, уж эти слухи... большинство из них были тревожными и неприятными даже, вернее, непривычными, и замполит побаивался, что окажется не слишком ловким в усвоении этих новых формулировок, и здесь-то на последнем шаге к все той же папахе кто-то более языкастый его успеет обойти... Ведь вся эта шумиха только и устроена языкастыми для более быстрого продвижения...

Тут уж совсем кстати всплыло недавнее раздражение на этого, ну как его... на мразь эту из этого отряда... в общем, на баптиста этого... или не баптиста? вроде какой-то адвентист? В общем, неважно — все они баптисты. И тут же раздражение перекинулось на хозяина: это ведь он приказал со всей религиозной мразью без него ничего не решать — тоже прикладывает свое волосатое ухо к новым слухам... Да не будь приказа этого дурацкого, сидел бы уже поп затруханный на киче... Но ничего, все равно я его туда упеку — такое оскорбление стерпеть невозможно... Ведь он не меня оскорбил, он в моем лице оскорбил органы.

Замполит-Слепухин с клокотанием где-то пониже желудка вспомнил, как в ответ на самые проникновенные воспитательные слова трухлявый поп так несправедливо лягнул его тогда. Нет, не его, а всю родину рупором этого попа лягнуло антинародное мракобесие.

В субботу пригласил замполит в кабинет свой обтерханного этого... этого баптиста, и внимание ему оказал, как равному даже. Усадил через стол от себя и хотел отечески на-

ставить на истинный путь, прояснить его одурманенные мозги, прочистить... Да, именно отечески! И неважно, что он и не старше баптиста. Дело не в возрасте, а в мировоззрении.

Замполит долго рисовал на листке, сопя в напряжении непривычного дела, а потом принялся объяснять вполне получившийся рисунок недоразвитому попу.

— Это вот кремлевская стена и дорогие каждому человеку кремлевские звезды (ну, право, на рисунке можно бы узнать и без пояснений, но темный этот и недоразвитый только после объясняющих слов протянул равнодушное «А-а... понятно»). А это вот лебедка... Видишь? вот здесь — в уголочке... И вот этой лебедкой враги всего прогрессивного человечества пытаются тебя утянуть от наших звезд. Враги — они ничем не брезгают и готовы одурманить даже религиозным опиумом — им главное утянуть тебя, оторвать от своего народа. (Слепухину самому, например, очень даже нравилось, как он сумел наглядно и убедительно все это растолковать, и пожалелось даже, что никто не видит и надо будет самому про этот вот опыт рассказывать в управлении. Лучше бы, чтобы кто-то другой рассказал, и если бы сразу сообразил, то вызвал бы своего зама... пусть бы и поучился, малец. Нет, зам может и украсть идею — они теперь все такие... Абсолютная бездуховность — не то что в их времена...) Нет, ты понял? понял? А советский человек должен быть всегда начеку и любимым проискам отвечать решительным «руки прочь». Тебя вот подловили, но надо найти в себе силы и... в общем, решительно... Вот у тебя, я слыхал, на воле и машина даже была... А это все те же вражеские происки — откуда у простого человека может быть машина? У меня вот нет — я пешком хожу. Ты думаешь, если бы я захотел машину — мне бы враги ее не подсунули? Но я говорю им решительно «нет»... Ты скажи, скажи — почему у меня нет машины, а тебя есть?..

— Пьете, наверное, много, — разлепил губы баптист. — Пить не только вредно, но и накладно очень...

Разве можно такое простить? Такой вражеский выпад?!

Слепухин осознал, что обида, нанесенная этим выродком, была много глубже, ударила, можно сказать, в самое сердце... Еще в начале своей безоглядной деятельности замполит вылепил свой собственный образ пламенного борца с чистым сердцем, то есть нет, — это руки чистые, а не серд-

це... В общем, сильно помог тогда замечательный писатель Лев Шейнин... Вот ведь и среди еврейского племени могут быть по-настоящему замечательные люди... Одним словом, почти всю жизнь выстроил замполит по-начертанному. Только одно никак не получалось — не писали ему бывшие зеки благодарственных писем... Да что с этих мразей взять! разве у них могут быть настоящие понятия?! Однако письма для образа были очень нужны... Пришлось самому натренироваться в письмописании. Сначала он освоил совершенно разные подчерки (или почерки? нет, конечно — подчерки), писал и на машинке, по-разному подписывал, насобачился в описаниях трогательных историй и обязательно с поклонами и благодарностями от «любящей вас жены и маленьких детишек»... Письма эти замполит посылал себе из каждого встреченного в отпуске почтового ящика, а потом часто их перечитывал сам и жене, и гостям. Случалось, в исключительно воспитательных целях, читал и зекам с маленькой надеждой намекнуть им, как они должны поступать, с этой же воспитательной целью хотел в конце беседы зачитать некоторые особенно удачные и баптисту этому, тем более ходят слухи, что таких, как он, могут скоро отпустить... И после всех его планов — «Пьешь много»... Таких не выпускать надо, а уничтожать полностью, чтобы не заражали здоровое общество!.. это же мразь конченная!..

Расставшись с замполитом, Слепухин стал примериваться к хозяину, все еще не решаясь к нему подступить. Вроде и замполит, приподняв веками тяжелые складки, наползающие сверху, караулит лицо начальника.

— Я вот тут хотел посоветоваться, — подкрадываясь, начал он одновременно с шелестом отодвигаемых хозяином бумаг.

— ?

— Может, я уже и устарел, может, меня пора уже и в сторону? я лично всякие новшества понимаю... убей меня! но заигрываний нынешних с поповскими мракобесами никак не могу понять. Выходит, нам уже не надо вести непримиримую борьбу с этим дурманом? Пусть, значит, отравляют... Вот растолкуй мне, Васильич, по-простому...

— Тут, Андрей Павлович, ты правильно вопрос поставил. Тут никак нельзя шарахаться не разобравшись. Наша политика была, есть и будет всегда одна — никаких уступок! ника-

кой сдачи позиций! Но сейчас, — хозяин закатил зрачки вверх, — сей-час сложный мом-мент. А уже не раз в сложное время партия шла на временный — вот чего нельзя забывать — временный союз с попами. Ты вспомни войну — был союз даже со смертельным врагом. Ты вспомни Гитлера — был союз... Так-то, а еще замполит. Историю надо повторять постоянно — там все ответы.

— Это все понятно, но меня интересует практически... у нас... я думаю, никаких уступок и послаблений. А то взяла себе моду: Бог им, видишь ли, в один день разрешает работать, в другой — не разрешает... Здесь у нас закон — единственный бог, и других не будет. Правильно я говорю?

— Я тебе вот что даже скажу... — Хозяин разулыбался, и Слепухин решился сразу же спикировать на него... подождал, пока остальные размягчатся встречными улыбками. — Ни во что они на самом деле не верят! Это такие подлые лицемеры — свет не видывал! Им главное — навербовать побольше народу, особенно молодых и смазливеньких, а потом — оргии свои учинять. Читали, наверное, как это у них бывает: кого среб, того... — Хозяин-Слепухин подмигнул подчиненным, и те залоснились встречно понимающими ухмылочками.

— Так это вроде только в некоторых сектах, — влез Петрович.

— Чушь собачья! Это у них — повсеместно. Везде у них — одно и то же. Ты вона слухами кормишься, а я это все с риском для жизни прошел и по своему опыту досконально знаю. — Убедившись, что слушатели последними словами заинтригованы, хозяин выждал значительную паузу. — Я тогда только начинал в органах, и не где-то там, а сразу в областном управлении МГБ. Вот мне и поручили: внедриться в одну секту, чтобы, значит, вывести их на чистую воду. Лег я в больницу, где лечился о ту пору их главный баптист, и слово за слово — клюнул он на меня. Выписали нас в один день, а я, по легенде-то, вроде бездомного — он меня к себе и потащил. Собирались в разных избах, а я все их явки, конечно, запоминаю, терплю эту нудятину их и стараюсь во всем как все, главное — не выделяться, и еще главнее — не слушать, что они там тебе вешают, а не то — мозги совсем вспухнут... Жду, значит, когда они мне поверят и разоблачат себя пол-

ностью. Дождался: собрались как-то — даже в большой избе тесно стало, ну, там, целуются, как всегда, «брат», «сестра»... опротивели, честное слово, с поцелуйчиками своими, хотя, надо признаться, сестрички встречаются — ого-го!.. В общем, как раз рядом с такой вот задастенькой молодухой я и люблю себе, а сам — все на нее... Вот тут-то, как мне и объясняли на инструктаже в управлении, свет погас и пошло-поехало... я, конечно, задастенькую свою сразу и уцепил... Так-то, а ты говоришь мне... А там же еще и дети совсем малолетние... Ну, на суде я все их делишки выложил перед народом — люди в зале плакали, честное слово. Я на суде весь в бинтах был — меня ведь разукрасили они — будь здоров: я же совсем зеленый еще, а они — твари прожженные, в общем, разоблачили меня, но им это не помогло.

Неожиданно Слепухин отковырнул под бинтами больше, чем рассказывалось. В молельной избе свет погас, оказывается, сам по себе, что в деревне — совсем не редкость. Какая-то девчонка заголосила впотьмах, хлестнув по напряженным нервам разведчика. Как-то так получилось, что крик этот Слепухин и принял за начало той самой оргии, которую ему так обстоятельно обрисовали в управлении. А еще молодуха эта в тесных потемках, вспугнутая тем же криком, уцепилась за его руку — вот тут юный чекист и схватил ее... В суд ему и действительно пришлось явиться в бинтах: братья (кровные молодухины братья) избили его зверски (а еще чешут про милосердие... «подставь щеку»... — сволочи лицемерные). Но все равно никто не ушел от возмездия... Слепухин искривился болью, которая совсем даже не утихла...

— Ну ладно, свободны все. — Хозяин насупился, и, вытолкнутый опасной этой хмуростью и волной боли, Слепухин завис у плаката, где раскормленный мужчина, вытарачив все зубы, тряс руку офицеру с несгибаемо-плоской спиной. Поверх их голов пламенело: «Геройским трудом я вину искупил и в братство народов, как равный, вступил!»

— Ты, медицина, зайди ко мне, — остановил хозяин Петровича. — А где это ДПНК шляется?

— Он все еще в подвале... со шмоном... — пояснил режиссер, выходя след в след за полковником, который все оглядывался, все норовил еще что-то сказать.

Покряхтывая и раскорячивая короткие ноги, хозяин вы-

ступал из дежурки, утягивая следом майора медицинской службы. Слепухин нацелился за ними следом в кабинет хозяина, но грохот сапог в узком коридорчике между хозяевым кабинетом и помещением дежурной части отшвырнул его обратно. Отрядник Боря грукал сапожищами почти с той же значительностью, что и шедший впереди ДПНК Долдон, сменивший прежнего занудного капитана. Следом за ними пыхтел шнырь из банной obsługi, угадывая невидимую дорогу за ворохом тряпья, расползающимся в руках.

Майор Долдон на минутку замер в раскрытых уже дверях дежурки, вроде бы решая, стоит ли трудиться, надо ли протискиваться в этот дверной проем. Все на нем было внатяжку, и если тугой перехлест ремней кое-как удерживал огромное тело от неуклонного расползания, то растянутая до невидимости кожа щек не могла уже сопротивляться дрожжевому напору розового содержимого. Отрядник Боря все пытался взглянуть из-за спины Долдона в дежурку, все выворачивался в какую-нибудь щелочку и, углядев наконец, что в дежурке хозяина нет, развернулся пошире и повыше, упрятывая чуть отставленный почтительный зад. Теперь вот Боря вполне походил на Долдона, и хотя его нос не упрятывался полностью в розовой щекастой упругости, но совсем не из-за длины этого носа, а только по временной малости двух лейтенантских звездочек в сравнении с сияющей майорской.

Слепухин отшатнулся, уступая место в ставшей сразу маленькой дежурке, но его откатывало все дальше, прижимая к рассыпанному на пороге распахнутого боксика костям.

Пришлось Слепухину заняться своими останками, приводя их в жизнеспособное состояние под понукания Долдона, и не хватало уже внимания ни на самого Долдона, ни на старательно повторяющего его отрядника Борю. С трудом удалось Слепухину сгрести в обхват тонких рук истрепанные ватные штаны с вываливающимися пучками рыжей ваты, валенок с дырявыми ожогами, телогрейку и другой валенок все с той же левой ноги, и тут выяснилось, что колени свои Слепухин перекрутил не в ту сторону, и никак они теперь не разогнутся. Теперь только все выпустить обратно на пол, рассыпать следом за шмотьем по этому же грязному полу неправильно собранные кости и заново приниматься за работу, уделяя ей

все большее внимание во избежание возможных просчетов.

Слепухин сосредоточился в тщательных заботах почти целиком и только кусочками ухватывал движения жизни, для которых абсолютно не существовал ни он сам, ни возня его с неуправляемым колючим мешком.

Долдон покровительственно поглядывал на отрядника, готовый брызгливо лопнуть сознанием своего скорого над отрядником торжества (сегодня дорогой на службу он столкнулся с пухленькой женой этого задолбана и, чуть свернув, провожая ее к городскому автобусу, умудрился легонечко ущипнуть румяную щечку... а как умненько и как мило она хлопнула его по руке и как обещающе сморщилась, хохотнув «Ух, противный!»... нет, что за булочка!.. надо придумать какой-никакой повод и зазвать их в гости, а там уже...).

Боря все пытался что-то придумать с несделанными контрольными, о которых и вспоминал только перед самой сессией... а теперь совсем некстати Долото упекли на кичу и как быть с контрольными этими? Но и неприятное начало скорой уже сессии перекрывалось радостью отъезда на целый месяц из опостылевшей квартирki, от растрепанной и вечно брюзжащей жены (а попробуй тронь ее! тесть хоть и в отставке, но давний корешок хозяина — весь кислород перекроет, падлюка... ну черт с ними... целый месяц будет он сам себе без обрыдлых указов и нравочений... снимет квартирку в городе и тогда заживет!..). А вдруг приедет он с сессии, а за это время жена его вместе с тестем запнется? вот так, например, как Красавец с лярвой этой... впрочем, нет — не будет же она с отцом родным в гараже долбиться, да и зачем в гараже, если его дома не будет?.. ну, неважно: например, бунт в зоне и вооруженные зеки вырвутся в поселок — тогда всем кранты, а он на сессии себе отсидится, и — порядок... а что? вполне может быть...

Долдон и Боря дружно защелкали бичами команд вокруг Слепухина, не решаясь хлестануть прицельно, режимник затарабанил свое, помогая остальным вытолкать Слепухина из дежурки:

— Раньше-то, раньше-то с колдунами как? Чик-чик — и на костер, на костер... А теперь — все для вас, все, что можно... валенки вот и забота... не цените — не цените заботу, не довольны, все залупаетесь, а если бы на костер — запрыгали бы, запрыгали, да поздно...

Слепухин прислонился в коридоре, не решаясь оттолкнуть стену и качнуться к выходу, вывалить себя в колючие рывки снежной завихри.

Стена за спиной Слепухина выгибалась и вибрировала напиряющими изнутри голосами, и теперь уже оторваться от нее было просто опасно — без упора с этой стороны толстая кирпичная кладка лопнет, засыпая узкий коридор тяжелыми кирпичами и погребая Слепухина каменным обвалом.

— Я тебе, Савва Семенович, честно скажу — не верю я во все эти знахарские штучки, — уговорливо журчал голос майора медицины, — но если ты действительно можешь облегчить страдания — твоя первейшая обязанность...

— Нету у меня никаких обязанностей. Не-ту. Я за свои врачевания срок тяну. Ваши умники то самое облегчение страданий назвали преступлением, а ты меня, Петрович, значит, на преступление толкаешь.

— Но ты же все равно, как я слышал, лечишь тайком.

— Я людей лечу. Лю-дей. Не ветеринар я.

— Ах ты, гниль вонючая... — заколотилась стена под голосом хозяина. — С тобой, значит, по-человечески говоришь, а ты, значит, совсем забылся... Людей он лечит! А ну прекрати дурочку валять, а не то у меня нахлебаешься дерьмом по самые ноздри.

— Уже нахлебался.

— Это ты про боксик, что ли? — Хозяин засмеялся, пофыркивая. — Тебе этот боксик раем покажется, если за ум не возьмешься. Воровского духа набрался, пердун старый... Я тебе этот дух вышибу так, что кости станут наперегонки из очка выпрыгивать...

— Ну сам подумай, — снова зажурчал майор, — зачем тебе на неприятности нарываться? Место у тебя — любому на зависть. Сидишь себе тихо, дай Бог каждому, а отсидишь — и расстанемся по-доброму.

— Ты, может, воображаешь себе, что нам про твои макли ничего не известно? — Стена снова предельно выгнулась. — Думаешь, никто не знает, как ты чай в своей конуре распиваешь, как ты метлой метешь, что взбредет? Или думаешь, закон не для тебя писан? Забыл, как на киче? Новый срок хочешь схлопотать?

— Вот и я говорю, Савва Семенович, брось ты эти глупос-

ти, — вступил в паузу Петрович, — тебе о воле думать надо. Выйти надо отсюда живым и здоровым и забыть все: ты нас не знаешь, мы — тебя...

— Эх, было бы куда деться, чтобы вас не знать!.. Есть ли где место, чтобы забыть вас всех и в глаза не видеть и слыхом не слышать!?

— Вот то-то... Таким, как ты, нет и не будет места на нашей земле. — Хозяин начал закручиваться в воспитательный вираж. — Ты против народа пошел, а мы не позволим тебе — против народа, мы защитим народ от тебя потому, что народ — это мы, и поэтому мы всюду, мы — везде...

— Не-ет, вы — не народ. Эдак, пожалуй, и глист может подумать о себе, что он и есть человек, и дерьмо, которое в каждом накапливается, может возомнить, что для этого лишь накопления живет человек... Вы везде, но вы — не народ. Вам, конечно, хочется захватить все тело, заполнить все, что можно, собой, но есть предел в теле и для глистов и для дерьма, дальше уже — смерть.

Затрещали, задвигались кирпичи, зашуршала штукатурка, а изнутри все стучались в стену удары неясных звуков и еще какие-то мягкие, будто мешком колотили. Один лишь голос Петровича пытался спасти стену от разрушения, увещевая и смягчая напор. Слепухин попробовал бежать, но стена вспучивалась по всей длине, не выпуская его из коридора, и не о том, как выбраться отсюда, колотился уже Слепухин, а о том, чтобы не расплющило его между двумя кирпичными стенами...

— Ну вот и хорошо, вот так — и хорошо, — скороговорочно суетился через стену Петрович. — И не будем поминать этого, не будем... самое скверное — пустое упрямство. Посмотри давай, посмотри...

Циркулярно складываясь, выкрутился из дежурки режимник, глянул на вжавшегося в покачивающуюся стену Слепухина и приоткрыл дверь хозяева кабинета, всовывая туда голову.

Прямо в двери торчала красная, в липких пузырях задница, и ниже ее, сверху спущенных форменных штанов, редкими волосьями книзу пунцовело, наливаясь кровью, в рамке раздвинутых ног лицо хозяина. Вверху над задницей висел на стене под стеклом вождь и весь светился лукавой улыб-

кой, скашивая глаза в сторону к неулыбчивому соратнику на другой стене и приглашая его порадоваться вместе: «Как хорошо все это устроили, батенька, архи-архи-хорошо...» Однако козлобородый соратник на улыбочки не отвечал, а смотрел себе из-под мятого козырька мимо, сквозь стены, в зону или даже дальше, уверенный, что самое важное и самое интересное там, впереди...

— Ох, как вас обожгло, — изумился режимник. — Может, подуть?

— Во-о-он! — заорал хозяин, не распрямляясь, и звук, сгустившись в замкнутом пространстве среди естественных преград, отраженный ногами, задницей, негодующим лицом, вырвался в направлении режимника мощной волной, захлопывая дверь кабинета. — Во-о-он!

— Во-о-он! — заорал режимник на Слепухина, вытащив голову из-за захлопнувшейся двери. — Не слышишь, что ли? Или приказ начальника колонии для тебя не указ? Во-о-он!

На крыльце Слепухин упал, но остаться лежать здесь ему не получилось: Боря, выросший внезапно громадной горой, все зудел сверху, осторожно сталкивая Слепухина носками сапог с крыльца. Потом, брезгливо измарщивая пухлые губки, Боря подвздернул Слепухина за шиворот и, установив на ноги, сразу построжел.

— Немедленно в отряд, — вытолкал Боря из-под уголка верхней губы, глянул на часы и захрустел по медленно засыпаемой дорожке прочь.

Слепухин качнулся следом и еле удержался. Никак нельзя было угадать, в какую сторону потянет порыв ветра, и, значит, не успеть туда же вялыми ногами. Ни на что уже Слепухина не хватало — только следить и управлять неисчислимыми суставами, подчиняя их самостоятельные верчения общему замыслу. Впрочем, общего замысла, кажется, не было.

Ничего не было. Времени тоже не было. Оно не остановилось — оно исчезло совсем. Было только незнакомое пространство, взвихряемое колючими иголками снежной крупы с неровным покровом из той же крупы, и еще было тело, постоянно норовящее ускользнуть из-под Слепухинской власти. Чем больше Слепухин занимался своенравными своими частями, тем больше проникался ко всем к ним жалостли-

вым участием. Наверное, этого самого участия и не хватало раньше, и сейчас вот Слепухин все успешнее управлялся с разболтанным содержимым своей оболочки и все ловчее покорял незнакомое пространство — единственную оставшуюся реальность.

Теперь его уже не раздражало, что большая его часть или даже почти весь он целиком вынужден заниматься бессмысленной заботой — ведь бессмысленность эта была пронизана участием, а при таком раскладе все становится вроде бы и не бессмысленным совсем. Только все еще оставалось непонятным, зачем ему, собственно, нужно покорять это неуютное пространство? Однако ноги исправно переступали, сгребая снег впереди себя, прошоркивая неровную дорожку, продавливая рваную ссадину в снежном покрове.

Иногда Слепухин замечал, что мир вдруг сгущается непроходимо, вылепляя впереди какую-то зыбкую фигуру, однако сосредоточиться на этом феномене он не успевал — только поднимет глаза, и препятствие сразу размывается, удаляясь и расползаясь в исштрихованном снегом воздухе. Странно это... но путь оказывался свободным, и Слепухин шоркал дальше, не переставая восхищаться ладностью устройства всех своих суставов и соединений.

Двигаться было все легче, и только смутно беспокоило все большее сгущение белой мути в не очень четкие фигуры справа по ходу. Слепухин спешил быстрее миновать это сгущение (хорошо еще, что возникало оно не на пути, а поодаль), но вскоре возникало новое и вроде даже большее, чем прежде. Смотреть туда Слепухин не решался, боясь отвлечься от главной заботы и рассыпать бесполезно в снег так ловко налаженное движение.

Позади осталось много-много шагов, прежде чем Слепухин настолько уверовал в себя, чтобы осмотреться.

В плотном снегу, у самой запретки, на продувном пятачке, он вытоптал дорожку. Собственно, и кружился он почти вокруг себя, поэтому, даже остановившись, он все еще продолжал вращать пространство, примериваясь, в каком месте наступить теперь? где придавить, останавливая уплывающую снежную поверхность?

Заботы удержания уже не требовали всего Слепухина целиком, но и алчное любопытство не будоражило больше, не

подзуживало унести и метаться за сокровищами впечатлений. Недалеко от него толпилось несколько слепухиных. Красные пятна погон то заносило снежной крупой, то обдувало ветром. Они переминались, напряженно ожидая, когда Слепухин ринется напрямик на запретку (с чего бы другого ему кружить там столько времени?), но и опасались этого дурика, не желая связываться (кто его знает, что он может?). Лучше всего было бы, чтобы он побыстрее рванул к колючке, и тогда слепухин, внимательно наблюдающий этот цирк с ближней вышки (и имеющий свои виды, и даже мечтающий уже, даже подгоняющий уже «ну! ну!»), разом оборвет все эти томительные неудобства (колдун? не колдун? — надоело...).

Всех их, до тошноты знакомых и до отвращения понятных, Слепухин впитал одним вздохом и тут же выплюнул обратно на обочину своего существования. Он осторожной ногой оттолкнул от себя площадку, где крутился почти всю жизнь, еще шаг, еще, и совершенно необжитый, да и не приспособленный для жизни мир принял его в себя. Слепухин нащупал наконец-то путь, с которого трусливо свернул давным-давно. Не в трудовом, а в пионерском лагере сверкнул ледовым великолепием далекий полюс, и тогда еще мелькали перед глазами лохматые собаки, за которыми едва поспевал Слепухин со своими спутниками... Собак захватили злобные чужаки, спутники растерялись или погибли, а самого Слепухина завернуло зачем-то в уродливое поселение, где он и крутится до сих пор в одном колесе с остальными слепухиными, пытаясь выкрутить уголок поуютнее. Вернее, крутился и пытался, потому что теперь-то он снова на верном пути. Жалко, что без припасов и без верных друзей, но он дойдет...

Неожиданно Слепухин воткнулся в толстую стену и, обогнув ее, оказался в затишке, куда не доставал колючий ветер. Глупо было отказываться от такого удобного для привала места, тем более что в руках своих он обнаружил насквозь промерзшие валенки (только их и спас от вероломного набега росомах, уничтоживших все последние запасы). С левой ноги даже не пришлось снимать ботинка — столь огромным оказался валенок, но потом, сколько он ни возился, правую ногу удобно уместить в тепле не удалось...

Угревшись в тихом закутке, Слепухин начал испытывать неясное беспокойство. Не должно было быть тепла на его

трудном пути. Хорошо, если эта толстая стена за спиной — всего лишь заброшенная фактория, которую соорудили добравшиеся сюда мальчишки из того детского пионерского лагеря. Но разве им под силу было бы выложить в стену эти тысячи кирпичей? И откуда бы вдруг взялся кирпич среди ледовой пустыни?

Слепухин заставил себя не вскакивать в панике, хотя страшная догадка уже воткнулась в него своей безысходностью. Конечно же, он все еще крутится в прежнем поселении и никак не может выбраться отсюда. Значит, положение его много хуже, чем ему казалось. Хоть он сам и придумал этот уродливый мир, хоть сам и населил его недоделанными слепухиными, но придумал, оказывается, добротню, и все это живет уже независимо от его авторской воли, и более того — уродцы-слепухины, конечно же, знают, что, сколько бы он ни притворялся статистом, на самом-то деле он — автор, и так просто не выпустят его отсюда, ведь без него вся их отлаженная беличьим верчением жизнь рассыплется в прах. Прежде всего — успокоиться и искать выход. Он лепил этот мир без замысла, без общего плана, как получится, стараясь обуздать каждую маленькую минутку, и теперь необходимо самому понять, на чем все это держится? где получилась главная ось этого верчения? Ему предстояло разрушить мир, созданный по его вине, сляпанный сумасшедшими уродцами-слепухиными. А как он радовался недавно еще, находя в каждом уродце что-то родное! Стыдно-то как, Господи... Но он найдет выход.

Более всего Слепухина укрепляла мысль, что вынужденная задержка для всего его предприятия может оказаться полезной — ведь если созданный его кошмарами мир живет сам по себе, во что, конечно же, поверить трудно, но и от упрямых фактов никак не отмахнуться... в общем, если все его кошмарные фантазии обрели реальность в, так сказать, реальных туземцах этого мира, то, возможно, ему удастся заодно с поисками выхода отсюда обзавестись всеми необходимыми припасами, и тогда уже он точно дойдет до полюса, и давние мальчишки встретят его там, на самой вершине жизни, и простят наконец-то... Главное — объяснить им, что он не нарочно выдал их планы, что он доверился пионервожатой Оле, в которую был безнадежно влюблен, а она уже разболтала ночью в лесу вожатому Алику, когда тот ее тра-

хал у погасшего костра... Он расскажет, как там же отомстил, как, подкравшись, шуранул на них кучу красных углей, когда они опять приспособились долбиться... Ну и визгу было! в суматохе эта сучонка раздавила задницей очки своего хахаля, а он все тыкался пугливым ободранным котом по кустам.

Так вот почему в жизни этих его уродцев слово «нечаянно» никогда не охраняет их оправданием и всегда — наоборот даже, всегда повод для большой расправы. Нечаянно — значит дурак, значит — совсем тупорылый, значит — попросту опасен для остальных, если можешь упороть что-то нечаянно. Вот ведь как втиснул Слепухин свое давнее «нечаянно» в эти создания... вот как выкрутил по давешнему своему «косяку»...

Слепухин двинулся дальше вдоль стены и, свернув еще раз, признал это место. Здесь каждую зиму чьим-то неизбывным упрямством возобновлялось бесконечное строительство новой бани. Однако всем было понятно, что бане этой не суждено выбраться из развалин стройки, во-первых, потому, что всегда оказывалось — получается она много меньше необходимой из-за опять возросшего числа туземцев, а во-вторых, и нужна-то эта баня только во исполнение изредка вспоминаемой инструкции, ведь никому и в голову не придет, что в бане той туземцев будут мыть — что им здесь, «санатория курортная»?.. Ну, а во исполнение инструкции вполне достаточно и не самой бани, а ее стройки... Сейчас снова с сотню туземцев, вытянувшись пунктирной линией, прирывали к старым стенам траншеею нового фундамента. Издали казалось, что все они заняты в страшноватой пантомиме — ни одного звука не выплескивало в стороны от них. Но хотя копохалась в траншее вторая смена и весь трудовой день еще поджидал их нераспечатанным за воротами промзоны, хотя это вот строительство было всего лишь общественным трудом и вроде бы и не очень обязательным, все равно — люди зарывались все глубже в траншею прямо на глазах. Не было им никакого дела до будущей постройки — хоть скажи, что стоять здесь чему-то остоленительному, чего и не придумать сразу, ни децела лишней силы не отдаст никто. Поразительный секрет, выворачивающий сейчас перед Слепухиным груды мерзлой земли трудового энтузиазма, совсем не в сознательности аборигенов, жаждущих отгрохать баню для будущих по-

колений. Скорее всего, прыгающий журавлино вдоль траншеи режимник — которому до всего есть дело и на все всплывают идеи — отмерил бедолагам урок по длине и глубине и устроил гонку «без последнего»...

Слепухин радовался, что ему так легко удается все схватить и во всем разобраться, хотя и смущало то обстоятельство, что от схватчивости его не проясняется то главное, в чем теперь-то ему и нужда... Он двинулся мимо ледокопов у самой стены, незаметный здесь для порхающего с заткнутыми под ремень полами шинели режимника.

Впритык к стене распаренно вкручивались в землю обстоятельный прагматик с прикипевшим к рукам ломом и изгибистый романтик, джигитующий штыковой лопатой. На Слепухина туземцы не отвлекались, но успели подосадовать, что никак не выходит послабить себе, приставив взамен к работе этого очумелого шкварного (вот убрался бы режимник, тогда бы...).

Двеыцтристатри — двеыцтристачетыре... — не сбиваясь, отщелкивал Прагматик, не утруждая губ, глубоко внутри за подернутыми мутью глазами. Кто-то забытый рассказал ему, что, если от завтрака отсчитать семь раз по четыре тысячи — настанет обед, а от обеда отсчитать четыре раза — дадут ужин, а потом еще пять раз — конец работы во вторую смену (можно было и еще как-то считать, чтобы сначала на полсрока, потом до звонка, но этого уже не вспомнить). Прагматик считал все время и, дощелкав до четырех тысяч, переключивал специальную палочку из левого кармана телогрейки в правый. Сейчас в правом ровненько лежали, согревая душу, пять палочек и, значит, до обеда сегодня он доживет.

Слепухин посочувствовал бедолаге, которого так подло обштопал какой-то прибабахнутый слепухин в незапамятный день. Ведь и те, кто приставлен командовать обеды, ужины и съем с работы — они тоже прекрасно осведомлены о возможности такого счета и нарочно каждый день изматывают душу, заставляя досчитываться до одной, двух или даже трех лишних палочек. Нет, отдых и еда так вот запросто не дается, так и любой дурик сумеет: считай себе и поплеывай... Ты сначала истерпи до донышка отпущенные на сегодня силы — тогда заслужишь. А если палочки переключиваешь, вот тебе — истерпи на одну лишнюю — не взвыл еще? тогда опять на одну...

Романтик понравился Слепухину больше, хоть и ошпарил неожиданно расплывшимися на весь глаз шальными зрачками. Не было ни земли этой, ни лопаты — он жил вперед, изживая всю малость отпущенного ему запаса души. Жил он после звонка и до конца под щедрым солнцем кавказского пляжа — загорелый, мускулистый, в суеде красивых и холерных тел. Там он не только жил, но и работал, потому что после этого всего никто ни к какой иной работе его уже не приставит. Романтик пристально высматривал среди отдыхающих одинокого командировочного лопуха с приличным лаптем бумажника и, выждав необходимое (а ждать он умел, чему иному — нет, но ждать его научили), главное — выждав, подплывал к нему в море и увлекал дальше (плавать Романтик тоже умел — потому и выбрал на будущее такую вот жизнь). Утопить дурика — дело плевое, не булькнет даже, но вот как потом упрятывать? Что-то надо привязать и, значит, брать с собой свинцовые грузы, а лучше всего мастерить сразу пояса из свинцовых пластин — на плавках даже красиво, и никто не допрет, а потом пояс этот на лопухе застегнуть — и готово. Вечер в ресторане, конечно — ух... здесь Романтик начинал задыхаться и побыстрее выворачивался к деловым соображениям. Ночью пояса соорудать — живи да радуйся!..

Слепухин и ему посочувствовал, увидев, как расслабившись от месяца красивой жизни, потеряв ярость, которая большей частью по этим же траншеям и расплескается (хотя и из них же вспенивается сейчас) в синем сказочном море, Романтик позволит себя утопить как слепого котенка... Да и то ведь надо отметить, что перепивший накануне Романтик ошибочно наметил в лопухи туземца, выдолбленного в этих же траншеях...

Беззвучно мелькала лопата, беззвучно опускался и поднимался лом. Только слепухинское дыхание хрипло раздирало кисею мелкой снежной завеси. Слепухин раздумывал, куда направиться дальше, чтобы не торкаться попусту и извлекать максимальную пользу своему замыслу.

Из-за сугроба, упрятавшего груду кирпича, высунулся грязный шкварной и поманил Слепухина за собой. Может, это судьба посылает ему проводника? Шкварной все время обгонял Слепухина и, дождавшись, пока он приблизится, прилускал дальше до какого-нибудь следующего укрытия.. Они

миновали задами столовую — у Слепухина закружилась голова от гнилостного запаха вокруг, и обогнули барак расконвойников — теперь-то было понятно, куда тащит его крысиными перебежками юркий провожатый.

Кислый запах отходов облеплял Слепухина с каждым шагом. Низенькое дощатое строение распласталось на непроходимо грязной земле, где и снег-то не угадывался вовсе. Слепухин протопал валенками, выбирая места, надежно схваченные морозом, и следом за проводником нырнул в хлипкий тамбур. Когда-то этот свинарник (а именно в свинарнике оказался Слепухин) стоял на земле, но постепенно обрастая мусором и отходами, как бы погружался в землю, вернее, в выгребаемую из него же грязь и теперь уже казался землянкой.

Далеко впереди в мутноватой непроглядности манила теплом живая возня, но Слепухина его провожатый подтолкнул к закуточку у самой двери, к клетушке, выгороженной, видимо, для содержания какого-нибудь особо авторитетного борова.

В клетушке на низко установленной старой двери, снятой с петель какого-то барака, сидел лешачий уродина. Глаза, независимые от сознания Слепухина, норовили ускользнуть в сторону — лишь бы не видеть невозможного, будто все из той же засаленной телогрейки наискось выкроенного лица.

Перед Слепухиным раззявил гадостную пасть жуткий провал, и только тоненькая пленка изгибалась внатяг, удерживая его от падения туда. А герой самых отвратных сновидений, будто бы слепленный наспех из комьев разноцветнобурого пластилина, все тыкал и тыкал в эту пленку, норовя прорвать. Ни слова не сказал Слепухину глав-петух зоны — пригласил только присесть рядом, что Слепухин и сделал, не прекращая блуждать лабиринтами еще одного замкнутого мирка, где правил этот король обиженных, пахан омертвевших заживо.

Между всем зоновским мирком и этим, упрятым в нем, не змеилась ограда из колючек или камней, но невидимая, сотканная презрением и страхом с одной стороны, ненавистью и страхом — с другой, оказывалось даже более непроницаема, чем каменная. За каменную и заглянуть можно, и перекричать — здесь же само любопытство к мутному копошению в царстве обиженных могло быть наказано низвержением туда.

Слепухина не удивляло общее устройство владений глав-петуха: именно таким оно и должно было быть, именно такое и могли только вылепить уродцы-слепухины, очутившись здесь. Иерархия тут была куда сложнее, чем в объемлющем мире зоны (но и та, в свою очередь, много подвижнее и сложнее, чем в том мире, где разместились сами зоны, и не в этом ли секрет прочности созданного слепухинского кошмара?).

Обиженные могли здесь быть просто зашкваренными, и эта вот опасность «зашквариться» висела над каждым в зоне: поел с петухом по незнанию — готов, обцеловал тебя петух по злобе — готов; этим страхом, если умело управлять им, любой петух будет держать от себя мужика на почтительном расстоянии. Были здесь и одноразово торкнутые при сведении счетов или еще как... Были и те, кого постоянно использовали, были и такие, которых использовали с дичайшим непотребством, были и мальчики, прирученные исключительно для личных чьих-то надобностей, нередко и офицерских. Работ, поручаемых шкварным, тоже было немало: от чистки снега до обхаживания выгребных ям, от уборки штабных сортиров до obsługi зоновских свиней... Все это шевелилось, подчиняя друг друга высотой положения, страхом оказаться в положении худшем или совсем уж крайнем, грызлось за удобную работу и уже удобством работы пыталось подчинить других, ну хоть одного кого... а плюс еще и запутанное переплетение ниточек и напрямую, и вперехлест к ушам режимника, опера, самого хозяина, любого отрядника, и к каждому зоновскому авторитету, и к бывшему земляку... И надо всем этим хозяйством — уродливый хитрован, упырь-пахан, глав-петух, принимающий сейчас Слепухина у себя в гостях...

Человека, идущего по лесу, конечно же, не могут сбить с дороги многочисленные паутинки между деревьями, но рвето он их, только если не в себе или если явно мешают, а чаще склоняется, обходит, пригибается, не задумываясь даже о противеньких паучках, заставляющих его двигаться так вот изгибисто. А если человек не знает дороги? если он просто гуляет себе в свое удовольствие? в свое ли или в пауциное? Какой мощной силой выгибает всех в зоне этот упырь-слепухин?! как выгибают зоновские туземцы-недоделки заградных слепухинных?.. как заставляют извивисто трепетать всех вокруг опогоненные слепухины и как сами они постоянно из-

виваются вздергами отсюда, от этого упыря! Как гениально проста скелетная основа обжитого слепухиными мироздания!.. или изжитого? изжитого и обгаженного?..

— Ты чего носом крутишь — или не подходит тебе моя компания? — Пахан все тыкал глазками, все выгибал тонюсенькую пленочку, удерживающую Слепухина над вонючей преисподней. — Так я тебе не навязывался...

Совсем замутило Слепухина, когда он попытался разгрести искривленные ключья, забившие жизнь уroda-пахана. Зажмурившись даже, он проталкивался сквозь десятки испрошенных слепухиных, среди которых, если кому и позавидовать, то одному только — проткнутому насквозь электродом за неосторожное слово — отмучился и лежит грудой тряпья, сдвинутый в угол уличной уборной... Но, растолкав еще нескольких, Слепухин застыл вдруг беспомощно в тюремной бане, пытаясь укрыться за других от клыкастой овчарочьей пасти. Четыре откормленных зверюги в ответ на требование горячей воды ворвались в предбанник. Слепухин метнулся в моечную под защиту ледяных потоков, но поскользнулся на втопанном обмылке, и совсем не повезло, что собака, рванувшая к нему, была не слишком ловка, не успела клацнуть впритык, а хватанула совсем не шутейным серпом... прежде этого события внутри пахана не было ничего — абсолютная пустота, будто и жизни прежде этой овчарки не было, будто отхватила ее та же клыкастая пасть...

Вкуснейший запах плотным потоком сгонял в сторону устоявшийся помойный дух свинарника. На двух кирпичах, перетянутых раскаленной до белых прожилок спиралью, поджаривались на железном листе свиные уши и какие-то скомканые кусочки. Над стряпней колдовал шкварной адъютант, приведший Слепухина.

Так вот что задумал глав-петух: принял Слепухина за кишкодава беспонятного, заманил на еду и так вот собирается зашкварить, так вот тупорыло надеется подчинить Слепухина себе... Даже обидно было, что пахан отверженных оказался много глупее, чем Слепухин о нем навоображал. А, может, он еще что задумал? (Преграда между Слепухиным и петушатными владениями опять истончилась). Но что у него может быть еще? Нет, он просто-напросто дремучий мудака и, наверное, многих так вот по-мудацки подловил на самый

простой крючок. Сейчас начнет шоркать, что никому не расскажет, что все тишком будет...

Слепухин подозрительно глянул на жаровню и еле сдержался, чтобы не потянуть шумно восхитительный аромат.

— С непривычки, может, кажется несъедобным, но ты не кривись. Французы вон, говорят, лягушек хавают и — ничего, долбятся себе как ни попадя... А на мой вкус — ничего лучше хвостов и ушей свиных быть не может, только прожаривать надо получше...

А почему бы Слепухину и вправду не отведать этой по всем признакам великолепной пищи?

Желудок его просыпался неудержимо от долгой летаргии и заявлял о своих потребностях крикливо, загоняя разные вымученные рассуждения в тупик и даже помогая тут же выкрутиться из тупика.

Разве возможно Слепухину зашквариться совместной едой с петухами? Ведь именно Слепухин — автор всего этого кошмара, а автор волен как ему вздумается вмешиваться в игру разных там занятых в эпизодах паханов и прочих слепухиных. Да и вообще, какое ему дело до этого ошибочно сооруженного мира?! Это все — брак, печально, конечно, но — брак, и должно ему рассыпаться, исчезнуть, развеяться... Почти нащупан уже секрет слепухинского мироустройства, а дальше — выход, дальше — его путь, и, кстати говоря, неплохо бы запастись для этого пути свиными ушами и хвостами — мало весит и хорошо сохраняется в дороге.

— Так что вчера-то было? — попробовал еще раз тыкнуть пахан. — Ты ешь себе и рассказывай...

Нет, и вправду ошибся Слепухин: недоумок король этот... так вот и держат они всех в страхе потому, что — издали, а глянь на него вблизи — дурухан дуруханом... И самое глупое в вопросе его, самое с головой его выдающее — это понятие мифическое «вчера». Нету ведь никакого вчера — объяснить ему, что ли?.. Ну прямо как Прагматик тот с ломом — посчитай до скольких-то там тысяч, и обед дадут... Это только в цирках псам дрессированным обеды дают за никчемные умения — посчитай или пролай слово «вчера». Нету ни вчера, ни завтра — если и есть что-то — это всегдашнее сегодня. Когда ты, конечно, своей жизнью живешь, своей дорогой идешь. А вот если свернул, закрутился в задумках — тут пе-

рерыв, тут, может, и есть это вчера — то самое место, с которого свернул... Тогда, выходит, вчера было и у Слепухина. Была лихорадочная любовь к потаскушке Оленьке, был костер в ночном лесу, Слепухин, высматривающий из-за деревьев... А что было потом? Да ничего не было, ни-че-го, только каждую минуту вышпокивал Слепухин своими однобокими фантазиями, мечтами, злобами или еще чем какого-то недоделанного слепухина — вон уже сколько нашпокал их, и живут себе, не тают, хоть и из фантазий одних выдутые или из другого столь же непрочного матерьяла... В какую-то совсем кошмарную ночь выдул и этого упыря, который корчит из себя черт те что, а на самом деле из одного только липкого слепухинского страха сплетен... Может, объяснить ему все популярненько? Врезать спокойненько так между глаз правду о том, кто он? и откуда? и что такое «вчера»?.. А что, если как в сказке — вся прочность, которой его недоделки сляпали свою жизнь, от одного только правдивого слова и рассыплется?.. Нет, вряд ли — надежно сляпали, на века... Не стоит себя выдавать, а то и не выбраться отсюда... Может, на самом-то деле его и проверяют — знает ли он свою роль во всей этой круговерти или не знает еще? Может, они и дают Слепухину жить и шпокать им дальше пополнение, пока он не догадывается ни о чем, а поймут, что догадался, — сразу в расход, чтобы не разрушил их постройку? Нет, вроде не сходится: ведь если его в расход — все само рассыплется... Неважно, главное при любом раскладе — не выдавать себя.

— Молчишь?.. Ну ладно — успокойся пока, а потом у меня к тебе будет предложеньице... Ты и не представляешь, как с твоими способностями и с моим опытом мы можем все здесь завернуть!.. — Пахан залоснился, как бы смазываясь мечтами. — Эх, да и не только здесь... Мы с тобой... мы с тобой, брат...

Слепухин примеривался ко второму уху, с обидой сознавая, что глазами-то съел бы все на этой жаровне, но отвыкший от пищи желудок напрочь разучился умению с пищей этой обращаться. Всего-то и съел одно не очень большое ухо, а желудок задумчиво выжидает, не решив, что с этим ухом дальше делать, и напрочь отказывается принимать следующие, не разобравшись с первым. Можно, конечно, настоять, но потом того и опасайся, что в обиде подгадит брюхо в какой-нибудь ответственный момент...

— Не лезет больше? — заметил пахан терзания гостя. — Не огорчайся — это бывает, это всегда после того, как рванет тебя внутри... Пройдет... Иди отдохни пока в тепле, а за жратву не переживай — это все твое. Отдыхай — потом до базарим.

Слепухин предпочел щедро дарованную пищу забрать сразу, не рассчитывая особенно на постоянство посулов. Он тщательно припрятал в карманах телогрейки и за пазухой все содержимое жаровни и выбрался из клетушки глав-петуха, все еще ощущая его оценивающий взгляд. Пользуясь указаниями давешнего шкварного, Слепухин двинулся в глубь старого барака, толкая впереди себя хрюклый переполох немногочисленных обитателей. У самой дальней стены в настоящем тепле Слепухин и уместился в блаженстве на слежавшейся соломенной подстилке.

Всполошенные соседи быстро утихали, возвращаясь к привычной возне, и Слепухину было приятно, что возня их ни с какой стороны его не цепляет, не требует вздернутой его настороженности.

Однако умиротворяющее шевеление вокруг на самом деле оказывалось только верхушечным впечатлением о настоящей жизни в этом бараке. Чем более забывался Слепухин, тем глубже погружался он во все те же отвратительные знакомые бурления воспаленных страстей. Этапы втискивали сюда новых обитателей дважды в неделю, но на расправу уволакивали двоих-троих ежевечерне, когда остальные обитатели зоны, наоборот, успокаивались в относительной безопасности до утра. Здешние старожилы начинали исходить смертной тоской задолго до вечерней расправной поверки и все нанизывали хитроумные планы, как вытолкать подальше наружу тех, кто подурехливей, но и здесь ведь основное — не переусердствовать, палачам-то не особо хочется валандаться со строптивцами, для палачей вся эта возня — постылый будничный труд, поэтому выторкнутый слишком далеко мудила может вдруг зайти в психовке, и его уже нипочем не возьмут, оставят на другой раз...

Так и жил приютивший Слепухина барак от одной поверки до другой, ненавидя все время остальных зоновок обитателей, для утехи желудков которых и устраиваются смертные эти потехи. (Слепухину показалась забавной эта лютая нена-

висть, не имевшая под собой никакой основы, кроме всегда изумляющего доверия вечно лживым лозунгам, и теперь вот тем из них, где кого-то пытаются убедить, что зонавских обитателей кормят соответственно нормальным потребностям. Впрочем, в поддержании такого вот напряжения немотивированной ненависти обнаружилось еще одни прочные скрепы, попрочней даже, чем три наивных кита...) Часто в барак являлись разные представительные двуногие и выбирали себе кого-нибудь, и тогда обгаженная обслуга стелилась перед ними пошуршистей соломенных подстилок. По поводу этих посещений у старожилов не было общего мнения: одни считали, что являются такие палачи, перед которыми свои — просто милые неумеки, другие мечтательно предполагали, что представительные посетители забирают отсюда счастливых для какой-то расчудесной жизни, сытой и полной ласковых почесываний. Вели себя обитатели при этих посещениях каждый соответственно своему представлению, Впрочем, посетители выбирали сами и сколько там ни выталкивай или ни выталкивайся, скорее всего, это на выбор влиять не могло, что не мешало, Впрочем, и выталкивать, и выталкиваться.

Слепухин пристроился совсем уютно, да и соседи пообыкли и доверчиво прижимались к нему теплыми подрагивающими боками. Он бы, может, и наслаждался здесь вволю, но очнулся оттого, что какая-то сволочная свинья, воспользовавшись его доверчивостью и благостным расслаблением, норовила оттяпать у него ухо. С недовольным хрюканьем порскнули в стороны куцые хлюпики, но Слепухин успел-таки выхватить из воругиных зубов свое ухо и успел врезать кулаком прямо в розовое дрожащее пятнышко. Ухо Слепухин обкусал, подравнивая, и, разгладив, сунул обратно в карман.

Слепухин не мог не восхищаться открывшимся ему устройством и крепежом приговоренного к разрушению здания. Вот и недоделанные! вот тебе и уродцы!.. недоделанные, конечно, но каждый добавил в общее строение именно необходимое от своей личной недоделанности, и как же ловко все скрепилось! как жестко прочно и просто!.. Главное, разделить все перегородочками, запретками и колючками, пропахать бороздами страха и ненависти, выделить побольше неприкасаемых друг для друга и по всем полученным закуточкам пустить гулять липкие потоки нескольких лжей — пусть себе ползают

ужами насквозь: во-первых, что везде все справедливо и гуманно, во-вторых, что в каждом следующем закутке каждый лично уж наверняка узнает, почему раки зимуют и где фунт лиха у кузькиной и иной матери, в-третьих, что всюду одно и то же, всюду плохо, нигде нет правды, и вообще идеалы недостижимы. Но главное при этом ограничение общения между разными загородками, запрещение общения между все большим числом разгородок этих, глухое запрещение! и тогда ползущая ужаками ложь тут же оборачивается правдой. Если же при этом временами пропускать обитателей самых заразгороженных, самых заразрешеченных узилищ обратно в менее разрешеченные, выпускать вместе с ними и испарения кошмаров, что клубятся в тех загородках, чтобы и на других дохнуло, если еще и так — мироздание незыблемо. Строение неистребимо, потому что все постепенно становятся одинаковыми его скрепами, гвоздями и скобами. Слепухин попытался вспомнить давнее, из школы еще, что-то про гвозди, которые надо из кого-то делать, и — не вспомнил. Вспомнил другое и разулыбался на удивление все еще обиженно хрюкающих соседей: известный символ дома слепухиных — матрешку. Вот оно, вложение закутков друг в друга и неотличимость в конце концов обитателей этих закутков. Поэтому и кривится самая подневольная идиотской улыбочкой, оказавшись вдруг на свету, что не рассказать, как там — в ее боксике, не поймут и отвернутся. Поэтому и заляпан рот самой вроде бы свободной перед удивленными иностранцами, заткнут идиотской улыбочкой, знает, как там у нее внутри устроено, и догадывается, каково там... и ручки у всех на привязи, за пояском...

А всего и делов-то — разрушить стены, чтобы не упрятались в темени и незнании поразгороженные норы... всего-то и делов, чтобы каждый мог свободненько заглянуть в любой угол по своему желанию... всего и забот, чтобы не направляли уготовленные запретки каждого, куда именно ему смотреть, а тогда уж не направят и куда думать... всего-то... самую малость надо поднапрячься Слепухину, и рухнут ограды... чуточку поднатужиться и — смотри насквозь, дыши насквозь... всего и делов...

Ничто уже не задерживало Слепухина в этом бараке, душа его рвалась наружу, и приходилось сдерживать ее, чтобы не выплеснули преждевременно его замыслы. Сейчас остава-

лось только экипироваться в дорогу; утеплиться понадежнее... А приготовившись по-умному, он взламывает стену этого свинарника, столкнет его обитателей с туземцами зоны, переплавится разделяющая их неприязнь в негодование следующей стеной, и дальше затрещат все ограды по очереди...

Слепухин проверил надежность упряжки съестных запасов и двинулся к дощатому тамбуру...

Глав-петух спал в своей загородке, мечтая, как он приспособит новенького шкварного к своим замыслам о переустройстве неудачно построенного мира, как пристегнет его к своей упряжке и пропахнет с его помощью невиданные прежде рвы животного страха буквально между всеми, и тогда уже... тогда... Всего-то и делов оставалось — приручить эту шквароту... всего-то и делов...

Тусклая лампочка из паханской клетушки не доставала дощатого тамбура, и Слепухин долго тыкался, прежде чем попасть в дверь, а на выходе очень удивился, что в зоне почему-то та же темнота, пятнисто залитая светом фонарей. Желтые фонари еле доставали сюда своими щупальцами, и пришлось покружить, выбираясь из нагромождения отбросов. Почему же это вдруг стало так темно? Может, пронюхали все-таки о его замыслах и стараются сбить?

Додумать Слепухин не успел, выцепленный тут же неутомимым режимником.

Майор, как всегда, весьма энергично провел рабочий день и чувствовал приятную усталость, но неунывающее его существо все выискивало возможности для полезной работы, не поддаваясь и усталости даже.

— По каким делам бродишь-ходишь, педерастик любезный? Ну не ерзай, не ерзай, долбить я тебя не собираюсь... отдолбил я свое... как говорится, были мы когда-то давно рысаками... я теперь все силы — на вашу, мерзавцы, пользу. Вот те на: это же уши... Интересно, чьи же это уши?

Режимник вытаскивал из карманов Слепухина его припасы, и тот старался не шевелиться, чтобы не выдать припрятанное за пазухой. Майор приставил свиное ухо к своему, потом к слепухинскому.

— Мои вроде на месте... твои — тоже на месте... Чьи же это? Пойдем со мной, паразит ты мой конченный... пойдем-ка в дежурную часть, спросим: может, из офицеров кто потерял?..

Слепухин поспешал впереди режимника и все не мог окончательно решить: знают или не знают? специально для него все это устроено с темнотой и с дедушкой-режимником или совпадение? рискнуть сейчас вырваться неподготовленно-моу еще или не суетиться и переждать?

Режимник все подталкивал, подталкивал Слепухина в спину и втолкнул наконец в дежурку. Там малость притомившийся с утра отрядный Боря втолковывал что-то хмурому мужику, а тот все кривился, едва успевая разгонять в стороны проникновенные слова охваченного воспитательным угаром отрядника.

— Мы тебе, выродок, яйца-то прищемим... ты у меня выше головы обносишься... Ишь, возомнил себе, ишь, бледво, хвост задрал.

— Я не бледво, — встрепенулся мужик.

— Бледво-бледво, — успокоил Боря. — А, может, ты хочешь спросить с меня за слова? — Боря развеселился. — Так спроси, спроси... — На всякий случай он пододвинул к себе деревянную дубинку, что всегда была под рукой у ДПНК, и глянул на режимника, который, чуть склонив голову к плечу, с веселым любопытством и даже с наслаждением слушал весьма воспитательную беседу.

— Это кто? тот самый твой клязник?

— Так точно, он, товарищ майор... Ему, видите ли, жратвы мало, боится, наверное, что избессилеет и по выходу бабу трахнуть не сможет.

— Так и не сможет, — поддержал режимник, — если выйдет еще. Не для того мы сюда поставлены, чтобы эти мрази плодили себе подобных. Скоро и вообще мы первым делом трахалки оттрахивать здесь будем. А глянь-ка на этого шкворня — полные карманы свиных ушей, и щетет себе прямо из свинарника. Это же додуматься надо — прокрался на свиноферму и у живых поросят уши отчищал!..

— Так они же вроде жареные, — засомневался Боря.

— Вот и я говорю: отчищал и изжарил... Смотри-ка на эту милую блевотину — ни паспорта на нем, ни вида положенного — чей же такой будет? Ты слышишь?! Тебе-то уши еще не отчищали? Из какого отряда?

Слепухин злорадно ждал, когда же толстошкурый отрядник допрет, что грозный рык режимника «Из какого отряда?» одинаково грозен сейчас и Слепухину, и его отрядному Боре,

даже, пожалуй, Боре-то погрознее. Ага, допер-таки, начал объяснять что-то... вон уже и уши запылились...

— Что, точно он? — переспросил режимник. — Пусть тогда катится к чертям. Слышишь, ты, — это уже к Слепухину и погромче. — Ты, ты, чего заоглядывался? чего завертел гребнем?.. то есть... в общем, иди себе и пойми, что нехорошо живодерствовать... прямо-таки стыдно за тебя: воспитываешь вас, воспитываешь, а ты вдруг до такой, можно сказать, жестокости... уши с живых поросят обкорнать... иди себе...

Выходя из дежурки, Слепухин слышал, как режимник наседает на оставшегося мужика:

— Так тебе жратвы не хватает, блевотина занюханная? так ты не об том болеешь, чтобы вину искупить, а об том, чтобы брюхо набить, кишкоблуд вонючий?.. Тут вот от петуха хвосты свинячьи остались — на, пососи, может, тебе и хватит, бери, пожалуйста, в последний раз предлагаю: возьмишь — в отряд отпущу...

Обошлось, не дотумкали недоумки, выпустили себе на погибель. Запасы, к сожалению, ополовинили, но выпустили все-таки... Слепухин шел к выходу из коридора дежурной части медленно, наполняя всего себя сознанием значительности этого момента — еще немного, и исчезнет коридор этот, здание это, режимник и отрядный, исчезнет все...

На зону валил пушистыми хлопьями белейший снег. Он опускался непроглядным пыльным сугробом и, может, даже не опускался, а наоборот — наполнившаяся воздушными пузырьками свежая земля с тихим шипением поднималась к небу. Только вот вряд ли земля могла быть такой ослепительно чистой, значит, все же опускалось небо... Нет, скорее всего, белая пряжа снегопада сшивала землю и небо в одно, заштопывала эту вот рану, расковыренную здесь уродами-слепухиными, сшивала кошмарную прореху.

За ровным снежным шорохом вскрывался в уши тяжелый надрыв больших жестяных лопат — шкварные в жилой зоне начали борьбу со снегом, принялись ковырять заново еще и не затянувшуюся рану.

Перед Слепухиным выросла здоровенная шинель с красной повязкой ДПНК на рукаве.

— Ты что здесь прохлаждаешься, петушачий отброс? Эй, воин, дай-ка ему лопату — пусть крылья поразомнет...

Кто-то сзади ткнул в спину Слепухина лопатой, и Слепухин взял ее. Перед ним махали руками, объясняя, что расчистить ему надо все дорожки в штабной зоне. Наконец, надоедливые голоса и тыркающие со всех сторон сапоги потонули в еще более загустевшем снежном обвале.

Слепухин отошел от крыльца дежурной части, пока все здание не проглотил снегопад (да и отойти для этого понадобилось на каких-то пару шагов). Он стоял, чуть навалившись на лопату, отдаваясь на волю стихии, согласный быть погребенным в одном сугробе со всем этим местом, лишь бы занесло все это по самые верхушки сторожевых вышек. Ему стало смешно от трусливой суеты ДПНК. Заиграло очко, забегал... Лопату сует... ну, не баран ли? Лопатой против такой небесной атаки? — все равно что ложкой горе вычерпать...

Было тепло, и Слепухин все стоял, не меняя позы, обрастая снежными навалами по плечам, по голове, по рукам, скрещенным на черенке лопаты. Немного грустно было оттого, что так и не дойдет он до полюса, так и не встретит преданных вчера друзей, но ведь, можно считать, что он уже в пути, а значит, судьба его завидна — не всем дойти туда, но он все-таки попробовал... Главное, что ему удалось заручиться поддержкой небес, и он исправит свою ошибку, и даже очень правильно, что засыплет вместе с собой... каждый должен искупать свои грехи...

Очнулся Слепухин, когда проступили вновь зоновские фонари и зачернела за поредевшей снеговой пряжей ограда с различимыми уже ажурными стропилами вышек. Господи, как же огромна эта рана, если даже в небесах не хватает снежного матерьяла для заживления ее!..

— Ты все еще отдыхаешь, пидер ленивый?

Слепухина начали пинать сразу и не менее пяти сапог и шести кулаков, но замутившиеся слезами глаза не могли рассмотреть эту диковинную шестирукую пятиножку. Он принялся шоркать лопатой — только бы отстали от него, только бы оставили в покое и тишине для того, чтобы мог он хоть что-нибудь сообразить...

Хорошо, пусть небеса оставили его, но ведь у Слепухина есть еще и свой план... он и сам знает, как взорвать все это... Засыпать эту гниль снегом, конечно же, было бы лучше, эстетичнее, но если не хватает снега, то черт с ней, с эстети-

кой!.. Все равно Слепухин все это разрушит и, может, еще дойдет до вчерашних друзей... Все равно разрушит... все равно... все-рав-но-все-рав-но...

Слепухину удалось в запаренности работы растопить обиду на обманувшие надежды, укрепиться в прежних замыслах и даже повеселеть от того, как ладненько у него планируются ровные дорожки штабного городка, как ловко этими искусственными дорожками он замазывает любые возможные подозрения на свой счет.

Снег уже совсем прекратился, и небо очистилось, поглядывая россыпью зорких глаз за Слепухиным. Шварные в жилых зонах управились со своей работой, но сюда, на помощь Слепухину, их не вызвали, видимо, решили, что он справится и сам — вон ведь как красиво у него получается.

Слепухин расчистил большую площадку перед зоновскими воротами и стоял, оглядываясь и соображая, надо ли еще где приукрасить. Очень уж хотелось на виду у многочисленных глаз сверху все сделать наилучшим образом. Пока же Слепухин даже подмигнул в сторону одной близкой совсем звездочки. Он был уверен, что она глядит на него не равнодушно, как остальные, а с теплым сочувствием. В чем другом, но в сочувствии Слепухин обмануться не мог — именно этого напрочь лишен уродливый мир, по которому протянул он сейчас несколько изумительно ровных дорожек.

Появившийся рядом майор — начальник роты охраны что-то гудел в самое ухо, что-то приказывал про дорогу от шоссе к воротам лагеря, что-то сулил за быструю работу и совсем уж надоедливо шоркал про особую ответственность и про его, Слепухина, сознательность, на которую майор рассчитывает. Заткнулся бы скорее, псина, и не отвлекал... Глаза не могли оторваться от жалостливого ласкового взгляда сверху.

Пока майор шуровал у себя в дежурке, а потом колдовал над железным ящиком на стене, пока раскрывались от его манипуляций зоновские ворота — Слепухин все стоял столбом, не отрываясь от своей звезды.

— Сейчас я вызову наряд, — снова отвлек начальник охраны Слепухина, — и открою наружную дверь шлюза. Только ты там без глупостей, а то воины тебе все кости переломают. А расчистишь по-шустрому — с меня плита чая. (Ах, как он волновался, рискнул нарушить инструкцию... даже не

облаял ни разу за столько длинных слов... Но ведь и не хотелось вызывать расконвойников и караулить потом за ними из ворот шлюза почти два часа кряду — этот-то петух вон как быстро управляется... а попробуй не расчистить хозяину дорожку к утру — сживет...)

Слепухин догадался, что небеса не отвернулись от него, не зря ведь звездочка эта так долго ободряла и утешала, да и сейчас еще подмигивает... Вот и пришло его время вернуться на свою дорогу, и не надо пробивать стену, ее и открыть можно, да так и оставить открытой — результат будет тот же, рухнет... Главное — решиться и прикончить этого вот недоделку, этот брак, пока он не вызвал других уродцев — с целым нарядом слепухиных не справиться... Но ведь это ничего, он ведь не человека прикончит, а уродца недоделанного, самим Слепухиным и выдуманного уродца... это ведь ничего, это можно.

Слепухин зажмурился и поднял лопату. Даже с закрытыми глазами он видел толстую шею майора, спешащего запереть железный ящик прежде, чем бежать в дежурку для вызова наряда. Широкий разворот — тяжелая лопата гильотинным ножом поднялась на уровень багровой шеи и ухнула, разгоняемая шумным выходом Слепухина.

Не глядя на казненного уродца, Слепухин торопливо разбирался в рычагах на пульте ящика и по скрипу наружных ворот понял, что шлюз открыт. Он торопливо прогрукал по шлюзу, боясь, что звездочка — его спасительница и поводырь — исчезнет куда-нибудь, потеряет к нему интерес или попросту затеряется безвозвратно среди тысяч других.

На выходе из шлюза Слепухин боязливо глянул вверх и сразу узнал ее — светлую и родную. Посеревшее утреннее небо безжалостно гасило звезды вокруг, закрывало любопытные взгляды с далеких небес, припрятывало небесные богатства от земли, но звезда Слепухина, казалось, только разгорается в светлеющем небе... Похоже, что она даже спустилась пониже, чтобы Слепухин ее случайно не спутал с другой какой...

Да ведь это и на самом деле его поводырь... Слепухин старался шагать побыстрее, хотя валенки проваливались в глубокий снег и приходилось с силой вырывать их обратно... Чьи-то давние слова шелестели на губах Слепухина вперемешку с его нынешними словами.

«Звезда моя, звезда светлая и утренняя, ты да я только, ты да я вместе... позади остались псы, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду».

Снег впереди Слепухина брызнул фонтанно, запорошив лицо и глаза.

«Звезда светлая и утренняя, — бормотал Слепухин, отфыркиваясь от еще одного снежного фонтана, — ... позади остались... позади».

Он оглянулся, уверенный, что позади сейчас все рушится: подламываются вышки, бесшумно рассыпается ограда, проваливаются внутрь крыши зоновских строений и гаснут медленно фонари.

Но зона по-прежнему вздымалась над его плечами мощной крепостью до самого неба. Совсем ясно увидел Слепухин напряженное лицо уродца на ближайшей вышке, недоделка, для стрельбы только и приспособленного... во все небо разрастался его серый глаз, перечеркнутый по зрачку автоматной мушкой. Глаз прищурился, и Слепухин разом потерял все трудноприобретенное умение в управлении сложным механизмом своего тела. Он завопил, но и это не помогло — тело его продолжало складываться, плечи проваливались вниз, подламывались колени и весь он стремительно ссыпался кучей костей, запутавшихся в тряпье. Запрокинутая голова бессильно моталась в падении, а глаза все еще старались зацепиться за спасительницу и поводыря, но и она — звезда светлая и утренняя — с шипением тонула в снегу...

Содержание

| | |
|---------------------------|----|
| <i>От автора</i> | 3 |
| ДО ПЕТУШИНОГО КРИКА | 5 |
| ЗВЕЗДА СВЕТЛАЯ И УТРЕННЯЯ | 73 |

Ним Наум

Н 67 **Оставь надежду... или душу: Повести.** — М.: Совершенно секретно, 1997. — 256 с.

Повести Наума Нима — о мире за колючей проволокой. О мире, существующем сегодня и здесь — рядом с нами и совершенно нам неизвестном. В этот мир он и переносит читателя, потому что его прозе удастся пробиться сквозь привычно облегающий нас панцырь собственных забот и тревог.

Автор не довольствуется расхожей мудростью — «не существует чужого горя». Все гораздо хуже — нет и чужой вины. Незнание того, как разрушаются человеческие души, — это тоже форма соучастия, со-виновности.

ISBN5-85275-147-2

УДК 82/89
ББК-44

Наум Ним

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ... ИЛИ ДУШУ

Повести

Редактор *О. Василевская*
Технический редактор *Л. Самсонова*
Корректор *А. Лазуткина*
Компьютерная верстка *Л. Фирсовой*
Изготовление диапозитивов *Д. Поликова*

ЛР № 070882 от 26.02.93.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 11.07.97. Формат 84x108/32.

Бумага тип. № 1. Гарнитура ариал. Печать высокая.

Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5000 экз. Заказ 886. С 73.

Набор и верстка выполнены ТОО «Совершенно секретно».
109004, Москва, ул. Земляной вал, д. 64, корп. 1.

Отпечатано на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати.
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.



По вопросам оптовых закупок обращаться:
109004, Москва, ул. Земляной вал, д. 64, корп. 1, комн. 405;
офис: (095) 915-55-34, 915-55-39;
тел./факс: (095) 915-34-92;
оптовый склад: (095) 465-12-00.

Вы можете приобрести наши книги
по издательским ценам в отделе реализации
Тел.: (095) 915-55-34, 915-55-39

НЕВЕДЕНИЕ ОБЕРЕГАЕТ НАС
ДО ПОРЫ ДО ВРЕМЕНИ.
НО СПАСТИ МОЖЕТ
ТОЛЬКО ЗНАНИЕ.

